



ЛИТОВСКИЙ ЭДУКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский городской педагогический университет»
(ГОУ ВПО МГПУ)

РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

Сборник научных статей

Выпуск VI

edukologija

Вильнюс-Москва, 2011

УДК 811.161.1
Р88

Обсуждено и рекомендовано к печати на заседании совета филологического факультета Литовского эдукологического университета 21 ноября 2011 г. (протокол № 3).

Ответственные редакторы:

Е. Ф. Киров (лингвистика, Москва), **Г. Кундротас** (Вильнюс),
М. Б. Лоскутникова (литературоведение, Москва)

Составители выпуска VI

Е. И. Белова (Вильнюс), **Д. Сабромене** (Вильнюс)

Редакционная коллегия:

Е. И. Белова (Вильнюс), **И. А. Беяева** (Москва),
С. В. Власова (Вильнюс), **Е. Ю. Геймбух** (Москва),
А. В. Громова (Москва), **С. А. Джанумов** (Москва),
В. В. Кириллов (Москва), **Г. С. Петкевич** (Вильнюс),
М. В. Романенкова (Вильнюс), **Д. Сабромене** (Вильнюс),
Л. Сельмистрайтис (Вильнюс)

Рецензенты:

Э. Рачене – профессор кафедры немецкой филологии и
дидактики ЛЭУ,
А. Баранов – профессор кафедры польской филологии и
дидактики ЛЭУ

© Литовский эдукологический университет, 2011
© ГОУ ВПО МГПУ, 2011

ISBN 978-9955-20-733-7

TURINYS / CONTENTS

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERARY CRITICISM

Т. А. Алпатова

Английская литература на страницах
«Писем русского путешественника»
Н. М. Карамзина (Дж. Томсон и Карамзин)....8
The English Literature in the Letters of a
Russian Traveler by N. M. Karamzin

И. А. Беляева

Портреты «русской Беатриче» в прозе
Н. В. Гоголя и И. А. Гончарова16
Portraits of 'Russian Beatrice' in Gogol's and
Goncharov's prose

С. А. Валюлис

Л. Улицкая «Медея и её дети»: диалог с
античностью.....26
L. Ulickaya's 'Medea and Her Children': Dia-
logue with Antiquity

Т. В. Вологодина

Город как герой в романе Ю. Кунчина
«Тула».....36
City Like a Hero in Novel 'Tula' by Jurgis
Kunchinas

С. А. Джанумов

А. С. Пушкин о М. В. Ломоносове (к
300-летию со дня рождения М. В. Ломо-
носова).....47
A. S. Pushkin about M. V. Lomonosov
(Dedicated to the 300th Anniversary of
Lomonosov's Birthday)

- Т. Г. Дубинина
Пушкинские претексты в лирике И. С. Тургенева60
Pushkin's Lyric Pretext in the Poetry of I. S. Turgenev
- М. П. Жигалова
Мультикультурная картина мира в русскоязычной поэзии Брестско–Подляшского пограничья72
Multicultural Picture of the World in Russian-Speaking Poetry of the Brestsko-Podl'yashsky Border Zone
- О. С. Качеревская, С. А. Валюлис
С. Довлатов. Цикл рассказов «Чемодан»: онтология и поэтика вещей.....92
A Cycle of Short Stories 'The Luggage' by S. Dovlatov: Ontology and Poetics of the Things
- М. Б. Лоскутникова
Принципы и приемы иронического мировидения в русской и английской литературе XIX-XX веков104
Principles and Methods of Ironic Vision of the World in Russian and English Literature of the 18th-20th Centuries
- А. Н. Неминуций
Чеховские «гамлеты»114
Chekhov's 'Hamlets'

ФОЛЬКЛОР / FOLKLORE

- Г. С. Петкевич
Былинная география» в семантической оппозиции «свой – чужой».....122
Geography of Bylinas in Semantic Opposition *Own – Alien*

ЯЗЫКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS

Н. Авина

О составных наименованиях в современном русском языке (на материале рекламных объявлений)133
 On Compound Naming Units in the Contemporary Russian Language (On the Basis of Advertising Material)

Э. Андриевская, Г. Кундротас

Сопоставительное лингвокультурологическое исследование русского, литовского и турецкого речевого этикета (на материале базовых формул приветствия и прощания)141
 Comparative Lingua-cultural Analysis of Russian, Lithuanian and Turkish Speech Etiquette (Basic Forms of Greeting and Farewell)

Т. В. Белошапкина

Когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистического знания и литературный перевод (на материале категории аспектуальности)161
 The Cognitive-Discourse Paradigm of Linguistic Knowledge and Literary Translation (On the Material of Category of Aspectuality)

М. В. Беляева, Е. Ф. Киров

О синтаксической позиции в тексте172
 On Syntactic Positions

С. В. Власова

Категория определенности / неопределенности и формы прилагательных, называющих материал, в церковнославянском и литовском языках (исторический аспект)..180
 Category of Definiteness / Indefiniteness and the Form of the Adjectives Naming a Material in the Church Slavonic and Lithuanian Languages (Historical Aspect)

Л. П. Гарбуль

К вопросу о межславянской миграции лексики (о происхождении некоторых слов в русском языке).....191
 On the Problem of Interslavonic Migration of Lexemes (On the Origin of Some Words in the Russian Language)

А. В. Жаркова

Русские зооморфизмы – названия домашних животных (на фоне литовского языка).....202
 Russian Zoomorphism – the Names of Domestic Animals (Against the Background of the Lithuanian Language)

С. В. Лихачев

Мировоззренческая концептуальность эпитафии212
 The Conceptual World Outlook of the Epitaph

В. В. Макарова

Концепт «Россия» в дискурсе Б. Акунина (на материале цикла об Э. Фандорине.....220
 The Concept of “Russia” in the Discourse of Boris Akunin (Based on the Cycle of E. Fandorin)

И. Масойть

Литовские и русские лексические вкрапления в польском региолекте в Литве как отражение социокультурной интерференции.....227
 Lithuanian and Russian Lexical Parentheses in Polish Regional Dialect of Lithuania as Reflection of Socio-Cultural Interference

Ю. Юркенас

Явление пересечения онимических рядов...238
 The Phenomenon of Intersection of Onomastics Series

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ / ABOUT AUTHORS..... 249

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERARY CRITICISM

Т. А. Алпатова

*Московский государственный областной университет
(Москва, Россия)***АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ПИСЕМ
РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н. М. КАРАМЗИНА
(ДЖ. ТОМСОН И КАРАМЗИН)**

Проблема взаимодействия Н. М. Карамзина – автора «Писем русского путешественника» – с английской литературной традицией неоднократно привлекала внимание исследователей как в связи с постановкой и решением общих вопросов биографии и творчества писателя (Сиповский 1899: 35–48 и др.; Лотман 1995; Лотман, Успенский 1987), так и в связи с уточнением конкретных аспектов рецепции творчества отдельных английских писателей, в первую очередь В. Шекспира и Л. Стерна (Первушина 2004: 244–252; Атарова 1978: 133–145; Канунова 1975: 258–264). В данной статье специфика решения вопроса об отражении английской литературы на страницах «Писем...» определяется в первую очередь тем, что факты обращения к ней Карамзина и его героя-путешественника анализируются как своеобразный прием построения карамзинского повествования. Главная его особенность может быть определена при этом как динамика, осознанная самим автором установка на свободу повествовательной композиции (ср.: Топоров 2006: 29–34 и др.; Anderson 1974: 4–8). Она создавалась благодаря параллельному развитию, помимо собственно сюжета путешествия как пространственного перемещения, иных, дополнительных сюжетных планов, связанных со всем разнообразием жизненного материала, который был представлен в книге.

В ряду таких параллельных «сюжетов» оказались и размышления Карамзина об английской литературе, которая и сама по себе как эстетический феномен, и в лице отдельных своих ярких представителей входит в более общий «литературный сюжет» «Писем...» и наряду с другими, ему подобными, позволяет Карамзину понять самого себя как личность и как писателя, самоопределившись самому и дать возможность некоего «самоопределения» собственному тексту.

Английские страницы «Писем...» начинаются с целого ряда реминисценций из «Сентиментального путешествия» Л. Стерна (именно по его следам идет путешественник во время своего пребывания в Кале, перед самым отплытием на пакет-боте в Англию (Карамзин 1987: 323–326)). Потому-то, определяя общий «дух» Англии, карамзинский герой, пытаясь оценивать мир вокруг сквозь призму чувственных впечатлений, подобно стерновскому Йорику видит Англию «землею красоты» (Карамзин 1987: 327) и уподобляет Британию острову нимфы Калипсо: «Ваш остров есть остров волшебства, очарования. Горе бедному страннику!» (Карамзин 1987: 327).

Однако стилизация стерновского подхода к изображению довольно быстро уступает место иному, более ориентированному на уже знакомую по французской части книги стилистику путеводителя (популярного описания достопримечательностей страны). Ю. М. Лотман отмечал насыщенность «английских» страниц «Писем...» литературными реминисценциями и ассоциативными припоминаниями сравнительно известных сведений. По мысли исследователя, это было связано с относительно небольшим временем пребывания Карамзина в Англии (Лотман 1987: 525–606). И пусть реальную датировку путешествия Карамзина точно установить, по-видимому, невозможно, несомненная насыщенность этой части книги литературными аллюзиями нуждается в оценке не только как прием тайнописи, но как художественное явление, имеющее более глубокий смысл.

Английская литература существует для карамзинского путешественника в «Письмах...» и как целостный контекст, и в виде отсылок к конкретным произведениям отдельных авторов, творчество которых, по мысли Карамзина, может рассматриваться как наиболее показательное для характеристики того специфического начала чувствительности, умения понимать «жизнь сердца», что внесла Англия в мировую литературу. Именно в этом ряду оказываются содержащиеся в книге Карамзина многочисленные реминисценции из произведений Л. Стерна и В. Шекспира. Несколько менее изученными оказываются при этом Дж. Томсон и А. Поуп (см.: Левин 1990; Соловьева 2008), связанный с которыми реминисцентный ряд также вписывается в общей литературный «сюжет» и позволяет выявить не только литературно-эстетические симпатии Карамзина как «чувствительного» автора, но и проследить, каким образом в диалоге с «чужим» текстом выстра-

ивается поэтика динамичного, «становящегося» повествования в «Письмах...».

Имя Дж. Томсона было очень важным как для развития русского сентиментализма в целом, так и для творческого самоопределения молодого Карамзина (выполненный им прозаический перевод-пересказ поэмы Томсона «Времена года» был опубликован в журнале «Детское чтение для сердца и разума» в 1787 г.). И в «Письмах русского путешественника» линия, связанная с поэмой Томсона, неожиданно оказывается более глубокой и значимой, нежели просто упоминания английского поэта как одного из первых, кто умел чутко отзываться на состояние природы («Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ея») (Карамзин 1987: 39). Для Карамзина Томсон интересен и как мыслитель-историк; данная линия вводится в текст в связи с размышлениями об исторической роли Петра I.

Символично-мистический взгляд на Петра входит в «Письма русского путешественника» благодаря развернутой цитате из поэмы Дж. Томсона «Времена года», которую Карамзин приводит как в подлиннике, так и в собственном переводе. Смысл столь развернутого включения «чужого» текста – необходимость «достроить» понимание земной миссии Петра-преобразователя до некоего высшего небесного призвания, которым отмечена эта личность.

«Чего не может произвести деятельное Правительство, преобразуя человека? Одна великая душа, вдохновленная небом, извлекла из готического мрака обширную Империю, народ, издревле дикой и грубой. Бессмертный Петр! Первый из Монархов укротивший суровую Россию с ее грозными скалами, блатами, шумными реками, озерами и непокорными жителями! Смирив жестокого варвара, возвысил он нравственность человека. О вы, тени древних Героев, устроявших веками порядок гражданских обществ! Воззрите на сие, вдруг совершившееся чудо! Воззрите на беспримерного Государя, оставившего наследственный престол, на коем дотоле царствовала могущественная тень неутвержденной власти - презревшего пышность и негу, проходящего все земли, отлагающего свой скипетр в каждом корабельном пристанище, неутомимо работающего с искусными Механиками, и собирающего семена торговли, полезных художеств, общественной мудрости и воинской науки! Обремененный сокровищами Европы, он возвращается в свое Отечество и вдруг среди степей возносятся грады, в печальных пустынях улыбаются красоты сельския, отдаленные реки соединяют свое течение, изумленный Евксин слышит

шум Балтийских вод, гордые флоты переплывают моря, которые доколе не пенились еще под дерзостными рулями, и многочисленныя воинства в блестящих рядах на врагов устремляются, поражают неистового северного Александра и ужасают сынов Оттомана. Удаляется леность, невежество и пороки, коими прежде варварство гордилось. Везде является картина искусств, военных действий, цветущей торговли: мудрость его вымышляет, власть повелевает, пример показывает – и государство благополучно!» (Карамзин 1987: 199–200). Примечательно, что этот фрагмент отсутствовал в публикации прозаического перевода томсоновой поэмы, выполненного Карамзиным в 1787 г. для журнала «Детское чтение для сердца и разума». Возможно, что отсутствие темы Петра в это время было значимо для молодого переводчика. Карамзин 1787 г., близкий Н. И. Новикову и московским масонам, мог отказаться от строк о Петре-преобразователе, считая принципиально недостижимым просветительство «в государственном масштабе», просветительство «сверху», по аналогии с официальной концепцией и Петра-преобразователя, и Екатерины II - покровительницы искусства. Карамзинская концепция Просвещения в то время, скорее, была связана с идеей нравственного совершенствования отдельного человека, личного просвещения души. Включая в «Письма русского путешественника» перевод размышлений Томсона о преобразовательном подвиге Петра, автор по сути декларирует уже иное отношение.

Для передачи эмоциональных обертонов Карамзин использует здесь разнообразные приемы: это и риторические вопросы, и восклицания, и инверсии, и «знаковая» лексика. Особое место среди них занимает и отличное от Томсона употребление курсивов. Если в английском тексте выделены имена собственные и понятия, становящиеся аллегориями: «варвар», «человек», «праздность», «невежество», «порок», «пример» (см: Карамзин 1987: 199), то Карамзин оставляет курсив лишь в двух ключевых, по его мнению, понятиях: *варвар* и *человек*. Подчеркивание именно этой антитезы не случайно и позволяет говорить о важном аспекте взаимодействия историософии, отразившейся в «Письмах...», с воззрениями на историю Дж. Томсона, в этот период интересовавшими Карамзина. В «Письмах русского путешественника», как и во «Временах года», по существу, переплетаются две, на первый взгляд, взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, это характерная для сентиментализма (и для Карамзина генетически восходящая прежде всего к идеям Ж.-Ж. Руссо) концепция «простоты», «золотого

века»: некогда на земле царил гармония природы и человека, эпоха братской любви и согласия, когда в сердцах людей была жива чувствительность, способность восхищаться красотой мира, сострадать ближнему и приносить живую благодарность Творцу, но эпоха эта с течением времени сменилась всеобщей раздробленностью, враждой, эгоизмом и кровожадностью, глухотой к живому зову природы и бессердечием по отношению к окружающим людям. Однако Томсон как в поэме в целом, так и в той части «Зимы», которая посвящена рассмотрению личности и деятельности Петра, не ограничивается лишь однозначным предпочтением прошлого нынешнему веку «упадка». Эта мысль оказывается лишь одним из мотивов поэмы, наряду с которым не менее сильно звучат оптимистические по существу историософские размышления о благотворном влиянии цивилизующей деятельности человека. Исследовательница творчества Дж. Томсона П. М. Спакс пишет о поэме «Времена года» как о сложном философском целом, в котором описания природы становятся средством, помогающим выразить и теософские, и научные, и исторические воззрения поэта. По мнению исследовательницы, как и Поуп в «Виндзорском лесе», Томсон отнюдь не игнорирует человека; многие фрагменты поэмы несут в себе гуманистическое начало. Поэт видит человека в центре универсума и нередко переносит внимание с созерцания космического порядка как такового на сферу человеческой жизни, истории и морали. В поэме присутствует своего рода синтез концепций примитивизма, «естественного» начала, с одной стороны, и с другой – идеалов прогресса и цивилизации. Человек ничтожен перед Универсумом – но он изобретает машины, чтобы убирать с полей урожай, строит города, создает произведения искусства, и в этом его величие, равно как и в способности к слиянию с природой, в преклонении перед нею как высшей гармонией, свидетельством бесконечной благодати Творца (Spaks 1959: 30-34). Подобный историософский оптимизм не противоречит и характерному для жанра описательной поэмы своеобразному слиянию природы и чуткого к ней «естественного» человека. Природа величественна, многообразна и изменчива, она несет в себе божественное начало, как прекраснейшее и гармоничнейшее создание Творца, но в пейзаже органично существует и человек – тот «зритель», для которого создан этот мир, тот единственный, кто способен оценить дары Божества. «Золотой век» Прошлого и благотворность Просвещения, величие природы и гармоничная включенность в нее человека находятся у Томсона в неразрывном единстве; думается, именно

эта сложность, отсутствие однозначного предпочтения того или иного начала более всего привлекли Карамзина и отозвались в «Письмах...», где, по существу, создавалось то же многосоставное историософское целое, в котором есть место и признанию прелестей простоты – и восторгу перед культурой, и глубочайшему интересу к прошлому – и осуждению средневекового «варварства».

Естественность и цивилизация существуют для Томсона как вечная дилемма; присутствие этой философской проблемы в поэме определяет и своеобразие осмысления темы Петра. Она появляется во «Временах года» неслучайно и органично вписывается в многосоставную философскую и историческую проблематику четвертой части поэмы – «Зима». Зима для поэта – символ старости и в жизни человека, и в самом универсуме, и воплощение стихийных сил хаоса, разрушения, умирания; поэтому она, с одной стороны, отнимает у природы жизненные силы, а человека делает жестким, холодным, бесчувственным. Но в то же время борьба с изнурительным холодом закаляет людей и становится залогом успешного развития государств. И в природе Зима – колыбель жизни, она подготавливает мир к приходу весны. Это сопоставление разрушительных и созидательных начал проходит через всю четвертую часть томсоновой поэмы; хаос и гармония в его изображении борются в универсуме, как и в человеческом обществе. Не случайно, описывая зимние развлечения, поэт относит к ним занятия историей, «беседы» внимательного читателя с героями прошлого, перечисляет целый ряд исторических персонажей, имена которых связаны с идеей борьбы света – и мрака невежества, хаоса – и гармонии законов и государственности: Сократа, Солона, Ликурга, Аристиды, Нумы, Фабриция, Регула, Катона, Брута. Мечтая философствовать с друзьями, он так рисует содержание совместных занятий: *«Из темного ли хаоса вызвано все неизмеримое мироздание, или в вечности произошло от Предвечного духа? Какая жизнь его, законы, продолжение и цель? – Тогда нашим взаимно искренним душам открылись бы обширные виды сего прекрасного целого, и каждая частная гармония сливалась бы с ним во всем совершенстве пред изумленным взором. Тогда исследовали бы мы нравственный мир, могущим перстом Премудрости движимый, согласуемый и правимый в возвышенном порядке, хотя он и кажется расстроенным, пока изо всего не произойдет всеобщее благо»* (Томсон 1798: 456–457; пер. Д. И. Дмитриевского). Размышления о Петре, вырвавшем страну из «готического мрака» – хаоса, безвластия и распада – и создавшем гармонический государственный орга-

низм, оказываются, таким образом, тесно связанными с философской концепцией «Времен года» в целом, и именно в этом аспекте тема Петра входит и в карамзинское произведение.

Таким образом, фрагмент поэмы Томсона «Времена года», включенный Карамзиным в «Письма русского путешественника», как в оригинале, так и в собственном прозаическом переводе, выполняет несколько важных для Карамзина художественных задач. Прежде всего, он дополнительно подчеркивает иллюзию документальности, спонтанности и свободы движения мысли и чувства (в этом функционально сближаясь с самой эпистолярной формой произведения). Кроме того, звучащее поэтическое слово расширяет культурный фон “Писем...”, что было принципиально в отношении Карамзина к цивилизации и человеку: человек творит и описывает мир, ибо способен чувствовать и, главное, откликаться истинному чувству другого. И потому дух других народов можно уловить в его наиболее органичных воплощениях, одним из которых и является поэзия. Стихотворные фрагменты связаны и с формальными поисками Карамзина – свобода поэтических форм, включенных в прозу, помогала созданию более свободных повествовательных интонаций. Для Карамзина – это своего рода ключ к самой возможности живого дыхания текста и поиска новых путей к читателю, так важных в русской литературе рубежа XVIII – XIX столетий.

ЛИТЕРАТУРА

- Атарова К. Н. Лоренс Стерн и жанр путешествия в русской литературе конца XVIII века (на материале творчества Радищева и Карамзина) / К. Н. Атарова // Писатель и жизнь: Сборник историко-литературных, теоретических и критических статей. – Москва: Советский писатель, 1978. – С. 133–45.
- Канунова Ф. З. Карамзин и Стерн / Ф. З. Канунова // XVIII век: Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. – Москва: Ленинград: Наука, 1975. – С. 258–264.
- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Н. М. Карамзин. – Ленинград: Наука, 1987. – 716 с.
- Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания) / Н. Д. Кочеткова. – Санкт-Петербург: Наука, 1994. – 280 с.
- Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России / Ю. Д. Левин. – Ленинград: Наука, 1990. – 285 с.

- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и их место в развитии русской культуры / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. – Ленинград, 1987. – С. 525–606.
- Соловьева Н. А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании эпохи / Н. А. Соловьева. – Москва: Формула права, 2008. – 272 с.
- Первушина Е. А. Н. М. Карамзин как читатель Шекспира в «Письмах русского путешественника» / Е. А. Первушина // XVIII век: искусство жить и жизнь искусства. – Москва: МГУ им. М. В. Ломоносова; Экон-информ, 2004. – С. 244–252.
- Томсон Дж. Времена года / Дж. Томсон; пер. Н. М. Карамзина // Детское чтение для сердца и разума. 1787. – Ч. 9. – С. 195–205; Ч. 10. – С. 193–207; – Ч. 11. – С. 193–207; – Ч. 12. – С. 193–206.
- Томсон Дж. Четыре времени года / Дж. Томсон; пер. Д. И. Дмитриевско-го. – Москва: В университетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1798. – 516 с.
- Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения / В. Н. Топоров. – Москва: Русский мир; ОАО «Московские учебники», 2006. – 432 с.
- Anderson R. B. N. M. Karamzin's prose: The teller in the Tale^ a study in narration technique / R. B. Anderson. – Houston, Texas, 1974. – 256 p.
- Cross A. Karamzin and England / A. Cross // The Slavonic and East European Review. – 1964. – December. – Vol. 43. – N 100. – P. 110–112.
- Spaks P. M. The Varied God. A Critical Study of Thomson's "The Seasons" / P. M. Spaks. – University of California Press, 1959. – 257 p.

The English Literature in the Letters of a Russian Traveler by N. M. Karamzin

Summary

This article focuses on problems of reflection of English literature of the 17th–18th centuries in N. M. Karamzin's **Letters of a Russian Traveler**. Karamzin's evaluations of English writers from W. Shakespeare to poets-sentimentalists of the beginning of the 18th century were analyzed. The meaning of the quotes and reminiscences from the works by J. Thomson in the creative structure of "Letters of Russian Traveller" are defined and the role of Karamzin's statements about English literature in the formation of a holistic image of England in the Russian culture of the late 18th– early 19th centuries is identified.

Keywords: *Karamzin, English literature of the 17th–18th centuries, sentimentalism, Thomson.*

И. А. Беляева*Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)*

ПОРТЕТЫ «РУССКОЙ БЕАТРИЧЕ» В ПРОЗЕ Н. В. ГОГОЛЯ И И. А. ГОНЧАРОВА

Русская литература XIX века своим стремительным расцветом и подъемом на поистине недостижимую высоту немало обязана отечественному классическому роману, который в своем содержательно-жанровом объеме и стремлении к наиболее масштабному, всеохватному взгляду на мир и человека во многом равнялся на европейский опыт в области художественного универсализма (см.: Беляева 2011: 20–31). К числу таких книг, которые были интересны русскому роману как «общие образцы созерцания универсума» (Шеллинг 1966: 451), в полной мере можно отнести «Божественную Комедию» Данте Алигьери.

Для русского романа исключительно ценным оказался не только «дантовский человек», находящийся в середине своего жизненного пути и стоящий перед обретением истинной дороги жизни, но и мотив всепобеждающей надмирной красоты, воплощенный в образе земной женщины, которая, как мудрость Небесная, путеводительствовала герою. Русский классический роман невозможно представить без героини, стоящей, как правило, выше центрального романного героя уже хотя бы потому, что она была красавицей, удивительным образом соединяющей в себе красоту духовную и телесную. Ее архетипом нередко оказывалась дантовская Беатриче. Многие в структуре главных женских персонажей русского романа восходило и предопределялось образом дантовской совершенной красавицы. Мы обратимся только к одному из элементов этой структуры, но весьма и весьма показательному – к портрету. Рассмотрим портреты нескольких «русских Беатриче». Одной из них является героиня романа И. А. Гончарова «Обломов» Ольга Ильинская, а другими – женские персонажи книги Н. В. Гоголя «Мертвые души», причем как ее завершенной первой части, так и нереализованной второй.

Хронологически и логически первыми в обозначенном нами ряду русских красавиц идут героини Гоголя. Здесь мы должны оговориться, что несколько не причисляем «Мертвые души» в объеме первого тома безоговорочно к русскому классическому

роману (поэма есть поэма), однако признаем, что становящийся, но нереализованный во всей своей полноте замысел этой книги не мог миновать и так называемой романной стадии, о чем в науке говорилось неоднократно (см.: Бахтин 2000: 219; Недзвецкий 1997: 122, 126, 128). Романный потенциал «Мертвые души» в себе содержали, и во втором томе писатель вряд ли мог уйти от создания сложного в своей психологической противоречивости романного типа героя и идеально-земной его спутницы. В целом образ женщины-красавицы, путеводительствующей своей любовью, светом и красотой потерявшему истинную дорогу герою, был интересен создателю «Мертвых душ». Другое дело, что он в итоге был только намечен и реализован, скажем так, лишь пунктирно. Причины отказа писателя от создания образа «русской Беатриче» сложны и требуют особого разговора. Мы в рамках настоящей статьи только обозначим факты: как художественно реализовывалась Гоголем исключительно в портретных характеристиках его героинь идея воплощения небесной красоты в образе земной женщины, которая была столь важной и для становящегося в те годы русского классического романа.

Известно, что уже в первом томе был намек, чрезвычайно важный для общей архитектоники «тройственной поэмы» Гоголя, на изображение красоты мира в явлении женщины. Это дочка губернатора, которую едва не полюбил Чичиков. Правда, как отмечает повествователь, господя, подобные Чичикову, «весьма сомнительно» чтобы могли полюбить, но «шум» и «говор» бала, то есть суета жизни, стали от него в тот момент, когда он увидел красавицу, как будто дальше. *«Из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхваченные во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы»* (Гоголь 1951: VI, 169).

Однако в целом в первом томе женщина как провозвестница высших света, любви и красоты у Гоголя все же скорее травестируется. Не случайно рядом с дочкой губернатора, шестнадцатилетней девушкой, все время изображается ее мать-старуха, они всегда идут рука об руку, как нечто неразрывно-

единое. Да и собственно губернские дамы – лишь пародия на идеальную, абсолютную красоту: *«Дамы тут же обступили его (Чичикова. – И. Б.) блистающею гирляндю и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху и нюхал»* (Гоголь 1951: VI, 163). Гоголь умело использует здесь этикетные значения цветов, символизирующих разные стороны любовного чувства: красота и совершенство ассоциировались с розой, верность и память в разлуке с любимым – с фиалкой, а пылкая страсть – с резедой. Не случайны и дальнейшие перечисления деталей нарядов дам и материй: чепчики, батисты, атласы, кисеи, длинные перчатки и проч. Все эти детали нагромождаются одна на другую и создают какой-то адский танец, определяемый Гоголем как *«галопад»*: *«Галопад летел во всю пропаляю: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзе, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребердовский – все поднялось и неслось... “Вона! пошла писать губерния! – проговорил Чичиков...”»* (Гоголь 1951: VI, 163).

Травестируется и то, как выглядят дамы, и собственно то, какие они – *«тонкие», «неуловимо тонкие»*. Так что Чичиков скажет *«сам в себе»,* что *«“женщины – это такой предмет...”* Здесь он и рукой махнул: *“просто говорить нечего!”*. И даже последующее периодическое, время от времени, переключение регистра повествования с иронического на серьезный лирический лад принципиально не меняет ситуации, более того, направляет читателя в сектор не света, а *«блеска»,* скорее губящего человека, чем спасающего. А в заключении пассажа – опять резкая ироническая *pointe-концовка* про *«галантёрную половину человеческого рода»*: *«Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегают на их лицах, все те излучинки, намеки, а вот, просто, ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек – и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный: бог их знает, какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще нежели в неге, так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»* (Гоголь 1951: VI, 164).

Вот такой диапазон колебания: от дочки губернатора с ее «светом», «белизной» и «тоненьким станом» – до «галантёрной половины человеческого рода» с ее «блеском» и почти с той же шириной талии: «Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно отметить, что вообще все дамы города *N.* были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было заметить)» (Гоголь 1951: VI, 163). Все это своего рода амбивалентная сущность женщины: одна сторона, светлая и сияющая белизной, всегда как бы перетекает в свою ложноблестящую противоположность.

Во втором томе миссия Беатриче возлагается писателем на Уленьку Бетрищеву (ее фамилия напоминает имя Беатриче!): именно она должна была пробудить к жизни тридцатитрехлетнего, то есть почти достигшего возраста «дантовского человека», Андрея Ивановича Тентетникова, во многом напоминающего Илью Ильича Обломова. Однако если рассуждать о прямых параллелях или же о дальних типологических аналогиях, то правда заключается не в прямых заимствованиях у Гончарова из Гоголя, а в общем дантовском влиянии на обоих писателей, которому во многом способствовали исследования о «Божественной Комедии», принадлежащие профессору С. П. Шевыреву.

Именно встреча с Уленькой призвана «разбудить» Тентетникова, «произвести переворот в его характере» и сказать герою наконец «всемогущее слово: вперед» (Гоголь 1951: VII, 23). Не случайно Гоголь исключительно ответственно отнесся к созданию образа своей Уленьки-Беатриче. Она предстает перед читателем скорее «каким-то фантастическим видением, чем женщиной», «существом дотоле невиданным»: «если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сильно сзади лампами, одна она бы так не поразила внезапностью своего явления, как фигурка эта, представленная как бы затем, чтобы осветить комнату» (Гоголь 1951: VII, 145, 23, 40). То есть писатель вначале подчеркивает надмирность Уленьки, ее исключительность, абсолютность, но в то же время понимает, что одной констатации этих качеств, одного названия сущности недостаточно. И Гоголь пишет ее портрет, который уже разительно отличается от портрета дочки губернатора.

В первом томе последняя, тоже гоголевская Беатриче, выписывается прежде всего в доброжелательно-иронических тонах: она была «с золотистыми волосами, весьма ловко и мило пригла-

женными на небольшой головке. Хорошенький овал ее округился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какую-то прозрачную белизною, когда, свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает через себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом» (Гоголь 1951: VI, 90). Головка, ушки, личико – все эти уменьшительно-ласкательные формы венчаются роскошным сравнением с «яичком», и Гоголь словно забывает, о ком ведет речь, – и уже устремлен мысленно не к объекту сравнения, а к самому сравнению. Несомненно, яйцо – символ глубокий и важный для Гоголя, но ирония все же, думается, подавляет серьезные смыслы его.

Портрет Уленьки, особенно это очевидно в так называемом первоначальном слое автографа второго тома, начинается уже не ироническим, а едва ли не драматическим признанием автора: «необыкновенно трудно изобразить портрет ее». И далее следует возвышенно-лирическое описание: «Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была милевидней, чем красавица: лучше, чем ум; стройней, воздушней классической женщины» (Гоголь 1951: VII, 145). А в продолжении – удивительный образец гоголевского портрета красавицы с элементами пластики, который в деталях во многом созвучен с портретом гончаровской Ольги Ильинской. И хотя несколько позже на страницах второго тома «Мертвых душ» писатель признается, что с Уленьки «портрета не написал бы никакой знаменитый живописец» (Гоголь 1951: VII, 25–26), все же сам он попытался это сделать – написать ее портрет.

Красота Уленьки в изображении Гоголя скульптурна, подобно красоте героини романа «Обломов». У Гончарова Ольга Ильинская, «если б ее обратить в статую, <...> была бы статуей грации и гармонии» (Гончаров 2001: 192). Однако, проведя подобное сравнение и возведя свою героиню в стан античных богинь, писатель далее на его фоне-фундаменте создает детализированный живой портрет земной женщины: с маленькой складкой над бровью – пушистой полоской, в которой покоилась мысль, с немного наклоненной вперед головой, с ничего не пропускающим взглядом серо-голубых глаз. Гоголь же более увлечен надмирной величественной скульптурностью, божественной монументальностью своей Уленьки-Беатриче, останавливаясь в ее описании преимущественно на этом: «Прямая и легкая, как стрелка, она как бы возвышалась над всеми своим ростом. Но это было обольщение, она была вовсе не высокого роста. Происходило это <от> необыкновенно

согласного соотношения между собою всех частей тела¹. Платье сидело на ней так, что, казалось, лучшие швеи совещались между собой, как бы получше убрать ее. Но это было также оболыщение. Оделась она так сама собой; в двух-трех местах схватила игла кое-как неизрезанный кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и расположился вокруг нее в таких сборах и складках, что, если бы перенести их вместе с ней на картину, все барышни, одетые по моде, казались бы перед ней какими-то пеструшками, изделием лоскутного ряда. И если бы перенести ее со всеми этими складками ее оболынувшего платья на мрамор, назвали бы его копиею гениальных» (Гоголь 1951: VII, 41). Удивительно, что Гоголь, будучи иногда так скрупулезен в живых и конкретных деталях этого описания (чего стоят упомянутые в ранней редакции второго тома «пальчики»!), достигает эффекта нежизненности своей героини: она предстает перед читателем именно как возвышающаяся над всеми богиня в античном одеянии. Земного в ней мало.

Тем не менее Гоголь не проходит и мимо того, чтобы воссоздать черты лица, живые движения свой героини, ему важно передать малейшие колебания чувств, которые она испытывает. Она может быть своенравной, как ребенок, гневливой – при этом «гнев собирает вдруг строгие морщины» на ее «прекрасном челе». Подчеркивается, что в ней было что-то «стремительное», и, как оказывается, вместе с ее внутренним «я» стремятся вперед и «выраженье лица, выраженье разговора, движенье рук» и даже «самые складки платья». У нее была «особенная, принадлежащая одной ей походка» (Гоголь 1951: VII, 23, 24). Все эти элементы портрета – в целом все же несколько романтически отвлеченного, о чем, например, свидетельствуют языковые формулы типа «прекрасное чело», – говорят об определенном инерционном желании Гоголя изобразить конкретными, живыми красками красоту, свет и любовь, явленные в образе земной женщины.

Однако этот план образа героини остался в «Мертвых душах» неразработанным. Думается, что в данном случае нельзя говорить о том, что Гоголь не смог справиться с задачей изображения пластическими средствами красоты и любви в явлении женщины, как это блистательно сделал впоследствии Гончаров. Скорее всего, это не так: Гоголь – великий художник, мастер портрета, создатель интересных и живых образов. А здесь он не то чтобы не

¹ В первоначальном слое автографа у этого предложения было интересное продолжение: «...от головы до пальчиков» (Гоголь 1951: VII, 163).

сумел, а не счел нужным, потому что это, возможно, не вполне отвечало в тот момент его творческой задаче. Линия Беатриче им была оставлена, и восстановление павшего человека, видимо, должно было разворачиваться несколько в другой плоскости, вне поля женственности и земной телесности. Однако в любом случае мы вынуждены ограничиваться лишь предположениями по причине незавершенности общего замысла «Мертвых душ».

Обратимся к Ольге Ильинской, героине Гончарова, которая является, по нашему глубокому убеждению, одним из самых ярких воплощений «русской Беатриче».

Подобно Вергилию, передающему Данте в руки Беатриче в Чистилище, потому что сам он как обитатель ада дальше идти не имеет права, Штольц для пробуждения Обломова передает его в руки Ольги. Именно она должна вывести героя к свету. Дантовская Беатриче, напомним, небожительница и спускается в Чистилище только для того, чтобы спасти Поэта. В романе Гончарова Ольга Ильинская также нередко напоминает сошедшего с неба ангела. В. А. Недзвецкий верно заметил, что «мы практически ничего не знаем ни о детстве, ни о юности героини. Больше того: Ольга дана в романе как бы вообще вне быта. Духовно-нравственная сущность героини вполне мотивирована – однако не внешними, но внутренними обстоятельствами» (Недзвецкий 1996: 36). И сам Обломов впоследствии хорошо скажет об идеальности Ольги: «*Она поет "Castadiva", а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыплятами и с грибами не сделает!*» (Гончаров 2001: 436).

Однако надмирность Ольги, хоть и является доминирующей чертой ее образа, находится в гармонической соотнесенности с ее жизненностью, можно даже сказать, телесностью. Это великое открытие, достижение Гончарова-романиста. И едва ли не решающую роль в этом играет удивительный портрет героини.

Если для Гоголя «необыкновенно трудной» оказалась задача изобразить живыми красками красоту, явленную миру в образе женщины, и его Уленька-Беатриче, возникающая во всем своем совершенстве, оставалась какой-то надстоящей миру богиней, то Гончаров сумел соединить в портрете Ольги земное и небесное. Как и у Гоголя Уленька, его героиня представляет собой статую – «статую грации и гармонии». Она тоже высока ростом, но не потому что *кажется таковой*, возвышаясь над всеми, как гоголевская героиня. Ольга действительно высокая и крупная женщина: «*Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине*

головы – овал и размеры лица; всё это в свою очередь гармонировало с плечами, плечи – с станом...» (Гончаров 2001: 192).

Пластический портрет Ольги призван подтвердить основной тезис, что она есть воплощенная грация и гармония, что создана она «строга», «обдуманно» и «артистически». И читатель принимает этот тезис доверчиво, хотя черты лица Ольги и ее крупное сложение порой говорят об обратном. Достаточно присмотреться к деталям, которые едва ли свидетельствуют о правильной или общепризнанной красоте или, скорее, красивости.

Так, нос ее «образовывал чуть заметно выпуклую <...> линию» – значит, как бы мы сказали, был с горбинкой. Но Гончаров «трактует» это отступление от нормы не как изъян, а совсем иначе: он подчеркивает выпуклую грациозность носа! Брови Ольги также едва ли совершенны: «...они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками – нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль» (Гончаров 2001: 192). Если вдуматься в подобную характеристику, то едва ли какая красавица хотела бы иметь несимметричные (да еще настолько!), «пушистые» брови и морщинку на лбу, даже если в ней и могла покоиться мысль, да к тому же обладать головой большой величины, пусть и соответствующей высокому росту. Собственно и сам высокий рост может являться скрытым намеком на некрасивость: здесь есть опасность того, что его обладательница имеет слишком крупные формы. То есть, создавая портрет своей идеальной земной красавицы, писатель все время идет словно по лезвию ножа, потому что совершенство его героини то и дело ставится под сомнение новыми и новыми «отступлениями» от общепринятых представлений о красоте. Помимо носа с горбинкой, пушистых бровей и морщин, а также крупного сложения, которыми обладала Ольга, героиня Гончарова была лишена важнейших «знаков» принадлежности к стану общепризнанных красавиц: у нее не было «ни яркого колорита щек и губ», «ни кораллов на губах», «ни жемчугу во рту», «ни миньютюрных рук». То есть она не только не подпадала под стандарты красоты, но и во многом слишком далеко отходила от них.

Вывод из портрета Ольги при детальном его рассмотрении вроде бы можно сделать один: это была крупная женщина вовсе не идеальной внешности. Однако ни одному читателю никогда и в голову не придет усомниться в том, что героиня Гончарова иде-

альна, потому что все в ней *гармонично* и *грациозно*. И «детали», свидетельствующие якобы о некрасивости персонажа, несколько не колеблют общего ощущения от ее удивительной красоты и даже более того – работают на эту красоту. Так Гончаров совершил практически невозможное: создал портрет живой, земной, вовсе не классической красоты женщины, которая при этом *была, а не казалась* совершеннее, выше и прекраснее других. Осмелимся предположить, что парадокс Ольгиного портрета – некрасивой и в то же самое время идеальной красавицы – в индивидуальности, неповторимости облика героини, в свете и музыке, которые стоят за ее голосом, движениями, мыслями, в той «самобытности» и «самодеятельности», которые так ценил Гончаров в женщине. Но не только в этом. Писатель справедливо полагал, что любые идеалы и идеализация остаются бесплодными абстракциями, если они лишены плоти и крови, если представлены вне живых отступлений от правильных форм, потому что в природе идеал невозможен без «уступок» (Гончаров 1980: 319). То есть Гончаров считал, что идеализация в художественном произведении должна идти рука об руку с иронией и со свойственной жизни противоречивостью, которую писатель, воспевающий и воссоздающий идеалы, должен обязательно учитывать. В противном случае, как полагал Гончаров, художник, решившийся «*написать положительный образ*», обязательно «*потерпит неудачу*» (Гончаров 1980: 136), что и произошло с Гоголем во втором томе «Мертвых душ», когда он задумал создать образ и написать портрет идеальной красавицы – путеводительницы Беатриче, но она оказалась *слишком* идеальной для того, чтобы быть художественно убедительной.

Итак, для русского классического романа идея красоты и совершенства мира была чрезвычайно важна и неразрывно связана с идеалом женственности, непременно «персонифицированной», воплощенной в живую художественную плоть женского образа, о чем равно свидетельствуют удачный опыт Гончарова-романиста и неудавшийся в полноте своего замысла опыт Гоголя.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин М. М. Эпос и роман / М. М.Бахтин. – Санкт-Петербург: Азбука, 2000.
- Беляева И. А. Генезис русского классического романа («Божественная Комедия» Данте и «Фауст» Гете как истоки жанра) / И. А. Беляева. – Москва: МГПУ, 2011.

- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. / Н. В. Гоголь. – Т. 6. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. / Н. В. Гоголь. – Т. 7. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951.
- Гончаров И. А. Собрание сочинений: В 8 т. / И. А. Гончаров. – Т. 8. – Москва: Художественная литература, 1980.
- Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. / И. А. Гончаров. – Т. 4. – Санкт-Петербург: Наука, 2001.
- Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова / В. А. Недзвецкий. – Москва: Изд-во Московского ун-та, 1996.
- Недзвецкий В. А. Русский социально-универсальный роман XIX века: Становление и жанровая эволюция / В. А. Недзвецкий. – Москва: Диалог–МГУ, 1997.
- Шеллинг Ф. Философия искусства / Ф. Шеллинг. – Москва: Мысль, 1966.

Portraits of 'Russian Beatrice' in Gogol's and Goncharov's prose Summary

The article deals with the portraits of some female characters in Gogol's poem 'Dead Souls' and Goncharov's novel 'Oblomov', which represent genetic and typological reference to the image of Dante's Beatrice. The principles of creating a portrait of the ideal beauty applied by Gogol and Goncharov are different. The first writer aims to ensure that the sublime beauty is not diminished by earthly imperfection; the latter sees manifestation of the ideal harmony in the earthly woman. As the creative experience of Goncharov proved, the idea of beauty and perfection of the world was extremely important to the Russian classic novel and closely connected with the ideal of femininity, personified in the living female image.

Keywords: *Dante, Gogol, Goncharov, novel, female image, portrait.*

С. А. Валюлис

*Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)*

Л. УЛИЦКАЯ «МЕДЕЯ И ЕЁ ДЕТИ»: ДИАЛОГ С АНТИЧНОСТЬЮ

Гуманитарное мышление после работ М. М. Бахтина, особенно его концепции диалога, стало рассматриваться как большой диалог образов культуры. Поэтому художественное произведение может прочитываться через призму культурно-семантических пластов, относящихся к разным текстам культуры.

В статье и предпринимается попытка проследить, как в романе Улицкой «Медея и её дети» ремифологизируется образ античной Медеи, как создаётся новый мифологический роман.

Современная литература, вступая в диалог с мифами прошлой культуры, творит новые мифы, помогая современному человеку встать над условным и частным и принять универсальные ценности. Исследователь С. Телегин, как и Е. Мелетинский, считает, что использование мифа не нарушает реалистических принципов творчества: «Мифологическая образность <...> используется реалистическим романом для создания или подтверждения своих конфликтов. <...> Особенно важными в структуре романного мифа оказываются два приёма – «введение в мифологическую ситуацию» и «открытый ритуальный финал» (Телегин 2008: 25). Это, как будет показано позже, характерно и для романа Л.Улицкой. Писательница обращается к мифологической традиции не с целью её сохранения, а переосмысления мифа о Медее. В одном из интервью она сама говорила об этом: «Это вывернутый наизнанку миф о неистовой колхидской царевне Медее <...>. Но главное для меня – не прикосновение к великому мифу, а попытка создать по мере моих сил и разумения памятник ушедшему поколению, к которому принадлежала моя бабушка и многие мои старшие подруги» (Улицкая 2008). Таким образом, сам миф воспринимается Улицкой как средство концептуализации мира, того, что находится вокруг человека и в нём самом.

В романе «Медея и её дети» диалог с античным мифом довольно развёрнут. Для адекватного прочтения смысла этого диалога-игры, кроме самого мифа, необходим контекст, вмещаю-

ший архаические, античные, христианские представления о мире и человеке как субъекте деятельности.

Роман раскрывает тему женского бытия, которое вплетено в исторический и культурный контекст стремительно сменяющихся друг друга исторических эпох: *у неё одного брата убили красные, другого белые, в войну одного фашисты, другого коммунисты* (Улицкая 2008: 5)]. История не движется сама по себе, она проходит через человеческие судьбы. В центре романного повествования – история жизни гречанки Медеи Мендес из рода Синопли, которые поселились *в незапамятные времена на родственных Элладе таврических берегах* (Улицкая 2008: 9). Не случайно писательница даёт своей героине имя, наполненное мифологической семантикой, – Медея. Оно включает в себе многоуровневые семантические коннотации, восходя к героине коринфского эпоса Медее. Так, уже в названии – «Медея и её дети» – обнаруживается реминисценция древнегреческого мифа о Медее и Ясоне. Начиная с античности, в истории культуры сформировался устойчивый канон в понимании женской сущности Медеи: мать-детоубийца. Образ античной Медеи слишком ярк и рельефен, а цепь событий, связанных с нею, столь трагична, что, казалось бы, сужает интерпретационное поле мифа и его героини.

Однако уже в названии романа Улицкой содержится очевидный элемент постмодернистской игры, вступающий в конфликт с семантической структурой устойчивой мифологемы: мать – убийца собственных детей. В самом начале повествования мы узнаём, что Медея Мендес *бездетна* и вдова. Следовательно, в отличие от античной Медеи, она заранее лишена возможности совершить грех детоубийства. Напротив, *бездетная Медея собирала в своём доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников и вела своё тихое ненаучное наблюдение <...>, она испытывала к ним живой интерес* (Улицкая 2008: 14).

Вдовство и бездетность романной Медеи являются у Улицкой «введением в мифологическую ситуацию» романа, так как являются своеобразной точкой отсчёта для развёртывания сюжетного повествования. Писательница обращается к повседневной жизни героини. Основная жизнь Медеи вращается вокруг дома и семьи – главных составляющих её бытия. Это связано с фабульной событийностью романа, которая представлена *одним летом*, когда в дом Медеи съезжаются многочисленные представители большой семьи Синопли.

В отличие от античной Медеи, которая разрывает родственные связи и разрушает собственную семью (помогая Ясону добыть золотое руно, предаёт отца, убивает своих братьев, умерщвляет собственных детей, мстя Ясону за измену), современная Медея стремится сохранять и укреплять семейные узы. Именно её дом в Крыму является родовым гнездом. Семья Синопли разъехалась по всему свету, и теперь потомки – представители разных национальных культур – каждое лето собираются в старом уютном доме, находящемся в самой верхней части Посёлка, откуда открывается прекрасная панорама Чёрного моря и Крымских гор. Сама Медея и её муж Самуил Мендес воспринимают свой дом как своеобразный аналог «пупа земли». Как мифопоэтический символ «пуп земли» связан с мотивом родового места, местом происхождения человечества. В библейском контексте он символизирует Храм Господень (см.: Керло 2007: 357–358). В романе проводится мысль о существовании общей для всех прародины на берегу моря, поэтому члены семьи Синопли ежегодно возвращаются к своему историческому истоку: *прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивал <...> это разноплеменное множество* (Улицкая 2008: 55). В доме всегда много детей, отсюда возникает ощущение непрерывности семейной традиции, вечности родовой линии Синопли, берущей начало в античности. Корнями своими семья уходит к древним правителям Микен и Итаки.

Медея Синопли, рождённая на понтийской античной земле, в символическом смысле плод союза Колхиды и Эллады. В истории семьи Медеи заложен мифологический сюжет. Мать Медеи Матильда, подобно мифологической Медее, бежала из родного дома в Батуми ради грека Георгия Синопли, родители которого, Харламбий и Антонида, с незапамятных времён обосновались в греческой колонии в Феодосии.

В романе Л. Улицкой «Медея и её дети» не сохранены «общие места» коринфского мифа о женской сущности Медеи – её страстность, мстительность, способность творить чудеса во имя торжества зла. По мнению Т. Ровенской, Медея безнаказанно творит зло, разрушает даже собственную семью, потому что она не принадлежит светлому эллинскому миру. Она пришла из далёкой варварской страны, принесла с собой варварские законы (см. подробнее: Ровенская 2001: 147–160).

В имени, в описании внешности, некоторых черт характера своей героини писательница использует реминисценции анти-

чной мифологии как открытой апелляции к ней. Во внешности Медеи Синопли есть общие детали не только с античной Медеей, но и с богинями Артемидой, Афиной: *сила и красота тела, прекрасные рыжие, словно воинский шлем, волосы, античные складки шали, горделивая осанка, классические черты сурового лица* и т.д. Остальные же характеристики Медеи Мендес даются на уровне аллюзий, только намекающих на интертекстуальную связь с мифом (напр., обладание волшебным даром мистических прозрений, помощь больным, уход за могилами предков – всё это является аллюзией на хтоническое божество Гекату).

Если в мифе помощь Медеи приводит к разрушению, то в романе героиня обращена к созиданию. В современной Медее нет варварства, мстительности, безумной страсти. Медея Мендес прожила всю жизнь женой одного мужа и продолжала жить его вдовой (Улицкая 2008: 59). Идея любви-страсти чужда ей, она никогда не могла понять этого непостижимого для неё закона <...> сиюминутного желания, каприза или страсти (Улицкая 2008: 191). Даже измена мужа с её сестрой Сандрочкой, рождение их дочери Ники, хотя и воспринимается Медеей как двойное предательство, однако не приводит к разрушению семейных связей, ибо Медея способна прощать.

Идеальным местом признания человеческих индивидуальностей, что вытекает из повествования, Улицкая считает семью – общность, основанную не только на родственных, генетических принципах (у Синопли это укороченный мизинец и рыжие волосы), но, прежде всего, на глубинных человеческих связях. Для всех Синопли главным объединяющим началом становится особое напряжение внутренней, духовной жизни, скрытая глубокая эмоциональность, особый род чувствительности. Это характерно не только для Медеи, но и для Елены, Георгия, Ники, Маши, для детей – Лизы, Алика.

Таким образом, Л. Улицкая, вступая в диалог с античным мифом, «мифогенетическую зону» перемещает из внешнего мира в душу человека, а её героиня Медея оказывается центром нового мифа о женщине с чувством равновесия и гармонии, погружённой в высшее бытие духа. Это и определяет своеобразие структуры романа, густо населённого персонажами. Каждый персонаж – целая человеческая судьба, по которой можно судить об истории.

В фабуле романа представлена повседневная жизнь, однако соотнесённость с мифической Медеей как бы размыкает и время,

и пространство. Человеческая жизнь вплетается в общий круг мироздания. Основному повествованию предшествует Пролог в виде родового древа семьи Синопли, связи этого дерева базируются на «общности крови», однако всё основное повествование, пронизанное воспоминаниями, прежде всего Медеи, её многолетней перепиской с подругой – родственницей армянкой Еленой, убеждает, что семья – это и общность духа предков, и духовная общность живущих сейчас. Силой памяти воскрешённое прошлое становится достоянием Вечности. Поэтому главная носительница этой памяти, Медея Мендес-Синопли, в финале основного повествования жива. О смерти Медеи мы узнаём только в Эпиллоге, который своеобразно замыкает кольцо. Мы вновь встречаемся летом с многочисленной семьёй Синопли, хранителем семейных традиций теперь является её племянник Георгий. Жизнь рода продолжается: к русским, литовским, грузинским, корейским и др. Медеиным потомкам (к родовому древу Синопли) добавлено новое ответвление – чёрная американка родом с Гаити. Не хотелось бы согласиться с К.Парнелл, что финал (она имеет в виду эпиллог) является «приукрашенной утопией в стиле советско-просветительской модели» (Парнелл 2004: 149). Тем более, что сама писательница оставляет открытым финал истории рода: *Это удивительно прекрасное чувство принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех её членов даже не знаешь в лицо и они теряются в перспективе бывшего, не бывшего и будущего* (Улицкая 2008: 319).

Структура романа Л. Улицкой мифологизирована. Е. Мелетинский, раскрывая специфику мифа XX века, отмечает, что мифология «как вечное символическое выражение основ бытия и человеческой психики» используется современной литературой прежде всего как средство структурирования повествования (Мелетинский 2008: 426). Основа структуры романа «Медея и её дети» своеобразна, условно её можно определить так: **круг в круге и за кругом**, что даёт писательнице возможность расширить бесконечность перспективы жизни отдельного человека.

Медея как главная героиня занимает место в центре структуры, все сквозные линии сюжетного развития связаны с её жизнью и судьбой. Не случайным поэтому представлено сравнение Медеи с могучим деревом: *жизнь, которая сама по себе стремительно и бурно менялась – революции, смена правительств, красные, белые, немцы, румыны, одних выселяли, других, пришлых, безродных, вселяли, – придала в конце концов Медее прочность дерева, вплётшего*

корни в каменистую почву, под неизменным солнцем, совершающим своё ежедневное и ежегодное движение (Улицкая 2008: 208–209). Мифологическая символика дерева, камня, солнца, корней снимает исторические дихотомии (революции и т.д.), делается акцент на вечное (мифологическое) время, цикличность которого определяется тем, что круговое движение солнца по горизонтали в античном сознании связано с годом, а по вертикали – с сутками. Это и позволяет Улицкой создать бесконечную перспективу, представить род Синопли событийным звеном в цепи мироздания. Центром мироздания первобытного космоса являлось Мировое дерево. Один из его вариантов – Древо жизни несёт в себе женское начало и связано с женской сакральностью: рождением, плодородием, исцелением, бессмертием (см.: Мифы народов мира 1991: 1, 398–405). Воплощением символика женственного в романе и является Медя.

Мировое дерево в горизонтали создаёт двойное пространство: *круг в круге* – некое звено между Вселенной (макрокосм) и человеком (микрокосм). С учётом этой особенности мифологического сознания и выстраивается пространственная горизонталь в романе: Медя – Дом – Семья (микрокосм); Посёлок – Феодосия – Крым – Чёрное море (макрокосм). Медя – жена, сестра, тётка, подруга. Эта горизонталь раскрывается через сюжетные связи: Медя – Самуил – Елена – Георгий и все родственники с Украины, с Кавказа, из Средней Азии, из Литвы. Временная сфера вынесена за круг.

Пространство *за кругом* связано с вертикалью, с символами Вечности: *камень, вода, природа, Бог, память, смерть и бессмертие*. В этом символическом пространстве Медя – Мать. В тексте романа присутствуют аллюзии, интертекстуально отсылающие к античному образу Кибелы, фригийской богини, олицетворяющей Мать-природу. Медю Улицкой жители посёлка воспринимают как божество. Уже много лет она является «частью местного пейзажа», живёт в единстве и гармонии с природой: *Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест* (Улицкая 2008: 12). Словно хозяйка, Медя *размашисто и крупно ходила по окрестной земле* (Улицкая 2008: 10), разумно пользуясь богатствами щедрой Крымской земли: была собирательницей трав, ягод, грибов, драгоценных камней. Выросшая на берегу моря, она хорошо чувствует *все повадки воды, её переменчивость, постоянство, цвет* (Улицкая 2008: 78). Древнегреческий профиль Медеи гармонирует с восточной холмистостью и с каменистыми склонами гор к западу от Посёлка.

Ассоциация Медеи с Кибелой позволяет воспринимать жизнь как неиерархизированный поток (жизнь без начала и конца), что характерно для мифологического сознания, оперирующего законом необходимости. Именно так героиня романа воспринимает жизнь: *Медея не верила в случайность, хотя жизнь её была полна многозначных, странных совпадений и точно подогнанных неожиданностей* (Улицкая 2008: 15).

Уже в мифологии утверждается величие творческого начала женщины. Она есть олицетворение Природы, и не человек учит природу, но природа учит человека. И мифологическая, и современная Медея выступают хранительницами сокровенного знания, отсюда и способности видеть явления, недоступные человеческому глазу, вершить мистерию жизни и смерти и т.д. Однако их понимание жизни, поведение и женское предназначение диаметрально противоположны.

Писательница демифологизирует античную Медею. Однако Медея Улицкой оказывается центром нового мифа о женщине с чувством равновесия и гармонии, погружённой в высшее бытие Духа. Это поддерживается и основными символами романа: камень (горы) и вода (море, река, колодец). В романе представлено развёртывание этих символов от их природной сущности (камень как основа бытия; вода как первичная материя) до их духовной сущности (камень как символ несокрушимости, твёрдости духа; вода как символ женственности и мудрости).

У современной Медеи и проявляется «каменная» твёрдость характера и крепость духа. Местоположение её дома, который *стоял в самой верхней части Посёлка, но Усадьба была ступенчатая, с террасами, с колодцем в самом низу* (Улицкая 2008: 20), ассоциируется с женской сущностью героини. Дом, построенный на камне, согласно Библии, символизирует вечность, которая у Улицкой сопрягается с женским, что поддерживается символикой колодца, олицетворяющего «душу и женское начало» (Кирло 2007: 216).

Польская исследовательница И. Тарковска, анализируя роман Улицкой «Медея и её дети», убедительно показывает отличие античной Медеи от современной. По её мнению, главная суть демифологизации определяется тем, что Медея Улицкой является симбиозом эллинизма и ортопраксии (правильный пример христианского вершения добра) (см.: Tarkowska 2008: 279–290). Действительно, современная Медея обращена к милосердию, христианской любви и всепрощению. Она по-христиански за-

ботилась не только о семье, охраняя её целостность и единство (несовершеннолетней девушкой берёт под опеку свою осиротевшую семью, прощает сестре предательство, не отталкивает Нику, мудрость Медеи уравнивает национальную и религиозную разномастность семьи и т.д.), но и помогала окружающим. По профессии медсестра, Медея помогает больным, а также всем, кто нуждается в помощи (даже врагу своему Шевчуку; укрывает татарина Равиля Юсупова от местных властей, а затем завещает ему свой дом). Медея Улицкой руководствуется, в отличие от античной Медеи, не страстями, а правилами христианской нравственности. Не случайно сестра Сандрочка называет её *праведницей*, что и придаёт облику Медеи Мендес черты иконописности: отражение внутреннего света, душевной стойкости, покоя. Возникает аллюзия на Евангельский образ Девы Марии, но одновременно некоторые черты Медеи связаны с Ветхозаветной Саррой (преданность вере, доверие, преданность, любовь к мужу, сила духа). Оба эти начала, присущие Медее, позволяют на символическом уровне воспринимать её как Праматерь человечества. И тогда заглавие романа Улицкой «Медея и её дети» наполняется новым смыслом, переосмысливается мифологический канон о Медее. Это новый миф о женщине как о Великой матери: **матери всех детей** (*Десятки маленьких детей прошли через руки Медеи <...>. Её рукам было знакомо изменчивое ощущение веса детского тела, от восьмифунтового новорожденного <...> до упитанного годовичка* (Улицкая 2008: 247); **матери рода и семьи** (много «работы» и мудрости требовалось от Медеи, чтобы сохранить генеалогию рода и преемственную связь поколений); **матери живой, общей жизни** (это – «созидательное» материнство, связанное с символикой моря как образа матери. По Керло, эта символика в понимании женского даже более важна, чем символика земли, так как это и символ превращения, и возрождения, и бесконечности познания).

Всё это позволяет раскрыть символический смысл образа Медеи Мендес-Синопли, её материнскую изначальность, активное начало по отношению к миру. Она выступает хранительницей таких человеческих ценностей, которые неподвластны времени и вносят гармонию в отношения человека с миром. Для Медеи политические ценности и власть – преходящи: *Что для неё власть? Она верующий человек, другая над ней власть* (Улицкая 2008: 56). Смысл и сущность веры Медея воспринимает не как догму, а как *традиционно христианское решение вопросов жизни, смерти, доб-*

ра и зла <...> – нельзя красть, нельзя убивать – и нет обстоятельств, которые сделали бы зло добром (Улицкая 2008: 232). Медея и живёт в мире веры, верований и обычаев, сопровождающих память истории рода и земли, хранящей античные тайны.

Таким образом, можно утверждать, что мифологически-архаичные черты образа романной Медеи не противоречат её греко-православной религиозности, а создают целостное представление о женщине, смысл жизни которой сводится к добродетельной любви, способствующей укреплению дома и семьи и гармонизации отношений в мире. Улицкая в диалоге с античностью занимает позицию ремифологизатора. Создавая роман, демифологизирует Медею, разрушая канон о её женской сущности, но при этом создаёт миф о женщине как связующем звене между Вечностью и Культурой. Писательница создаёт свой инвариант отношения к женщине и женственному началу, не выходящий, на мой взгляд, за пределы традиции русской философии женственности.

ЛИТЕРАТУРА

- Кирло Хуан. Словарь символов / Хуан Кирло. – Москва: Центрполиграф, 2007. – 521 с.
- Мелетинский Е. М. Избранные статьи и воспоминания / Е. М. Мелетинский. – Москва: РГГУ, 2008. – 571 с.
- Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х тт. / т. 1. – Москва: Советская энциклопедия, 1991. – 671 с.
- Парнелл Кристина. Голоса других. Женщины и меньшинства в постсоветской литературе / Кристина Парнелл // *Frauen Literatur Geschichte*. – Band 18. – Fichtenwalde, 2004. – 209 S.
- Ровенская Т. Роман Улицкой «Медея и её дети» и повесть Петрушевской «Маленькая Грозная»: опыт нового женского мифотворчества / Т. Ровенская // *Адам и Ева. Альманах гендерной истории*. – 2001. – № 1. – С. 137–163.
- Tarkowska Joanna. Mit kobiety w powieści Ludmiły Ulickiej *Medea i jej dzieci* – ortopraksja i hellenizm / Joanna Tarkowska // *Rossica Lublinensia*. – Volum V. – Lublin: UMCS, 2008. – P. 279–289.
- Телегин С. Русский мифологический роман / С. Телегин. – Москва: Компания Спутник, 2008. – 351 с.
- Улицкая Людмила. Медея и её дети / Людмила Улицкая. – Москва: ЭКСМО, 2008. – 319 с.
- Улицкая Л. Принимаю всё, что даётся. Беседу вела А. Гостева / Л. Улицкая // *Вопросы литературы*. – 2000. – №1.

L. Ulickaya's 'Medea and Her Children': Dialogue with Antiquity Summary

The article argues that L. Ulickaya's novel presents a reconsidered ancient myth about Medea as a mother-murderer. The writer demythologizes ancient understanding of the woman as a vessel of the evil. Mythological 'general places' are not preserved in the novel. On the contrary, these places disturb picturesque and symbolic structure of the literary work and generate the anti-myth: L. Ulickaya's Medea is a childless woman and a widow.

On the one hand, L. Ulickaya's Medea contains Hellenic understanding of a human being (connection with cosmic power, magic abilities, etc.); on the other hand, Medea is a Christian righteous person, a defender, a healer of souls, and a symbolical proto-mother of humanity.

Though 'Medea and Her Children' is a contemporary novel, its structure is characteristic of a mythological novel.

Keywords: *Ulickaya, antique myth, Christian values, Medea, dialog, modern mythological novel.*

Т. В. Вологодина

Вроцлавский университет

(Вроцлав, Польша)

Литовский эдукологический университет

(Вильнюс, Литва)

ГОРОД КАК ГЕРОЙ В РОМАНЕ Ю. КУНЧИНАСА «ТУУЛА»

Юргис Кунчинас, к сожалению, скончавшийся в 2002 году в возрасте 55 лет, считается одним из наиболее выдающихся современных литовских писателей. О себе он неоднократно говорил, что его отличительной чертой была способность наблюдения жизни – жизни в мельчайших подробностях. Например, исключительно важным аспектом для него было место как пространство экзистенции человека. „Топография, – говорил Кунчинас, – даже та, зафиксированная в зрительной памяти – великая вещь. <...> ... если бы кто-нибудь, хотя бы даже минимально изменил привычный порядок – конец. Хаос, невежество, безнадежность” (Кунчинас 2001: 97). По словам Лауринаса Каткуса, поэта и друга Кунчинаса, он был очень современным и одновременно старосветским писателем, поскольку писал не только „из себя”, как того требует литература модернизма, но в равной степени его интересовало все, что было рядом: Кунчинас наблюдал, собирал, переосмысливал самые разные истории, события и факты. Поэтому его тексты наполнены описаниями места, колоритом времени, интерпретацией действительности. При этом он использует все возможные способы художественного выражения. Кроме того, чтобы передать состояние мира как внешнего, так и внутреннего, Кунчинас в своих произведениях старается „подняться повыше, охватить взглядом перемены в социальной жизни, свести в одну точку время обобщенное, абстрактное и время конкретное” (Алишаускас). Примером такого переосмысления действительности, без всякого сомнения, является роман Кунчинаса «Туула» (1993), признанный одним из наиболее значимых достижений в современной литовской литературе.

Рассказывая историю романтической любви бездомного бродяги и Туулы, „стрекозы в юбке цвета хаки”, нарратор приглашает нас не только в путешествие вглубь своих воспоминаний и рефлексий, но и позволяет сопровождать его во время

многочисленных „исследований“ улиц, закоулков и подворотен Вильнюса. Уже на первой странице романа рассказчик заставляет нас вспомнить стены Бернардинского костела и тихий шум воды под мостами через речку Вильняле – читатель практически сразу погружается в материю города, одновременно открывая неповторимую и необычную атмосферу Вильнюса. Основная цель нарратора – рассказать историю любви главных героев – достигается при помощи глубокого анализа топоса города, «вчувствования» в Вильнюс. При этом выявляется генетическая связь между человеком и городом. По этой причине роман приобретает локальный характер, вырисовывается отчетливый вильнюсский колорит – перед нами история, которая могла случиться исключительно в Вильнюсе. Более того, город в сознании автора и рассказчика является живым организмом с ярко подчеркнутой телесностью, которую читатель постепенно постигает и идентифицирует при помощи ряда стилистических средств и тропов, в первую очередь, олицетворений, анимизаций и антропоморфизмов.

В тексте романа функционирует несколько взаимосвязанных эманаций города: город как пространство, город как универсум, город как скопление человеческих судеб, город как герой и город как тело. С точки зрения формальной характеристики пространства, в романе воссоздается мир вильнюсских закоулков, в котором слышатся отголоски и повседневной жизни, и большой политики времен суровой советской реальности 80-ых годов. В этом пространстве встречаемся с городской беднотой и представителями элиты, с непокорными артистами и простыми людьми, с патриотами и оппортунистами. Большинство персонажей, вокруг которых развиваются события, это всегдагдаи вильнюсских ресторанов, так называемая богема – самой разной масти особы из мира искусства или псевдоискусства, часто пребывающие в состоянии алкогольного опьянения. В романе встречаем заключенных, пациентов «психушки», а также „нормальных“ граждан, познакомившись с которыми несколько ближе, понимаем, что они ничуть не отличаются от настоящих психически больных. Примером может служить Марионас Микулёнис, милый старичок, профессор химии, враг системы и одновременно *“... эксгибиционист и художник-любитель в одном лице. Плюс поклонник Бахуса”* (Кунчинас 2008: 256) или общественный деятель, поручик Любовь Гражданская из полиции нравов – *“...если и не привидение, то определенно чокнутая!”* (Кунчинас 2008: 257). Описанные в романе персонажи представляют собой некую „другую“

реальность, в которой жизнь течет по совсем другим правилам, нежели в обществе „порядочных“ граждан Советского Союза.

Текст Кунчинаса многослоен, полон значений и аллюзий – бытовых и метафизических, культурных и политических. Сосредоточимся на тематике Вильнюса, пространстве, вбирающем в себя каждую из этих плоскостей.

Самым важным местом в романе «Туула», точкой отсчета и центром вселенной становится Заречье, район восточной части Вильнюса, в котором разыгрывается большинство романских событий. Здесь, в районе бедноты и богемы, скрещиваются судьбы главных героев – Туулы и рассказчика. Заречье – это часть Вильнюса, отделенная от центра и старого города речкой Вильняле. Такое разделение имеет и реальное, и символическое значение. Ужупис (Заречье) – это другая сторона Вильнюса, и в формальном, и в переносном понимании: *“...на Заречье, как бы находясь в другом небольшом государстве, где речка является не только естественной, природной границей, но и рубежом зон влияния”*¹ (Кунчинас 2008: 49).

Заречье в 80-е годы было одним из наиболее бедных и убогих районов Вильнюса, с обшарпанными, разрушающимися зданиями, грязными закоулками и жителями, ищущими приключений, либо забвения в алкоголе. Переноса топографию города на строение тела человека, Заречье, по определению автора, – *„клоака города“, „утроба“,* так называемый „низ“. По своим физиологическим функциям, оно показано как система выделения, *„как темные внутренности“*. Но с другой стороны, необыкновенную и специфическую привлекательность Заречью придают именно эти старые обветшалые здания, дикие заросли, строгие и одновременно удивительно красивые костелы и люди, одаренные артистическими душами, которые раскрываются в философических рассуждениях во время алкогольных либаций. Однако беспорядок и грязь, царящие повсюду, доминируют в обрисовке внешнего мира, подробные натуралистические описания позволяют читателю погрузиться в это “сложное” пространство. В свою очередь, аморальная и распутная жизнь жителей Заречья – это символическое отражение реалий жизни района. С нескрываемой иронией нарратор задает вопрос: *“Шленды, пустоброды,*

¹ На сегодняшний день этот район действительно напоминает „государство в государстве“. Оно имеет собственную конституцию, президента и патрона – Ангела Заречья. Его, отлитая из бронзы скульптура, находится на главной площади Заречья.

босяки, постхиппари, миннизингеры, нестесняющиеся ни своих вшей, ни обкаканых трусов, – протест против тоталитаризма?» (Кунчинас 2008: 197).

Заречье – это также пространство магическое. Ритуальный характер приобретает каждое прохождение героя-рассказчика по мостам, перекинутым через Вильняле, возле дома Туулы. Дом, в котором она жила, имел огромное значение для героя еще перед знакомством с ней. Это здание притягивало его своей удивительной силой. Часто бродя без цели, рассказчик, в конце концов, оказывался на пороге дома с апсидой: *“Во мне обычно – и сегодня тоже – что-то вздрагивает при виде тех двух мостов... сколько тут хожено-перехожено нетвердой походкой не с Туулой, без Туулы, еще до знакомства с Туулой, ну а потом... сколько раз доводилось бродить тут враскачку и угрюмо тащиться под утро домой...”* (Кунчинас 2008: 21).

Любовь главных героев – это любовь вопреки всему свету. Туула, воспитывавшаяся в «порядочной» мещанской семье, силой оторванная от любимого (сначала ее должны были закрыть в психиатрической клинике, потом вместе с семьей она переезжает в глушь около белорусской границы), отказывает всем “подходящим” претендентам, которых ей подсовывали близкие, замыкается в себе и, в конце концов, умирает при таинственных обстоятельствах. Во время короткого романа с Туулой, всего лишь недели, поделившей жизнь героя на жизнь “перед Туулой” и жизнь “после Туулы”, ее квартира приобретает для него сакральное значение. Во всех вещах, принадлежавших любимой, интерьере и архитектурном окружении герой ищет ее запах, голос, прикосновение. При этом дом оживает, приобретает телесность. Например, окна автор сравнивает с глазами Туулы, звуки – с ее нервами. Этот дом с абсидой становится центром вселенной, мифическим пространством чистой любви. Здесь все начинается и здесь должно закончиться. Исключительностью этого места продиктован необычный поступок героя: найдя в лесу безымянную могилу Туулы, он переносит её прах и замуровывает его под полом в её бывшей квартире возле Вильняле, в которой провел с любимой те семь дней. Здесь Туула нашла вечный покой, так как *„она была здесь, здесь я слышал ее глухой голос, хрупкий смех, здесь, над горой Бекеша и над моей головой, под сводами комнаты, сияла ее маленькая стрекозиная головка...”* (Кунчинас 2008: 49).

Таким образом, мы видим, что все: и время, и место, и пространство – соотносится с главным событием в жизни героя. Все

места действия, как и события, в романе систематизируются по принципу: перед знакомством с Туулой, во время романа с ней, после расставания и, наконец, после смерти любимой. Правилom также становится постоянное возвращение героя в Заречье, в Вильнюс, будь то возвращение из «психушки», или из далекого Днепропетровска. Это возвращение нарратор называет возвращением к брату, тем самым, устанавливая родственные отношения между собой и городом.

Нужно отметить, что для героя Заречье является пространством магическим также и по другой причине. Нарратор, говоря о необъяснимой связи между ним и Заречьем (*«действительно связан видимыми и невидимыми нитями и с тем берегом, и с повисшей над горой Бекеша тучей»*), не может (или не хочет) признаться самому себе в том, что заставляет его постоянно возвращаться на то место. *«Эта связь приобретает другие формы, и в то же время становится прочнее <...>. Одно знаю совершенно определенно: я обречен приходить сюда снова и снова, никуда не денешься. Без особой охоты должен признаться, что в этом тяготении заключена и своего рода мистика, и внушенное самому себе воздействие фатума...»* (Кунчинас 2008: 288). Исходя из этого, можем сделать вывод, что связующим звеном между героем и городом является не только Туула, а также закодированные в его сознании, или подсознании, родственные связи с городом.

Без сомнения, Вильнюс, показанный в романе, это пространство субъективное, город, созданный нарратором: в подробные описания Вильнюса – переулков, холмов, домов, кабаков – вкладывает он, по словам Павла Хуелле, “свою собственную приватную мифологию” (Хуелле 2003): *“...такова данность, и эта территория уже моя, она помечена следами бродяги, орошенными мочей, как деревца собакой, закреплена за мной злоключениями, переломами, травмами ног и головы, ударами под дых и пинками под ребра...”* (Кунчинас 2008: 288). Нужно добавить, что героем этой “приватной мифологии” очень часто является сам Кунчинас, точнее говоря, наделенный автобиографическими чертами, повествующий от первого лица нарратор, своеобразное alter ego самого автора и одновременно главный герой. В его сознании любимая Туула соткана в каком-то смысле из реалий Заречья: *“...из воздуха, воды, тины, искр, глухих раскатов грома за холмами Вильнюса”* (Кунчинас 2008: 125). А после ее смерти герой верит, что она все еще жива: *“...просто превратилась в крылатую химеру на крыше дома, молодую кошку из старого города или юркую ящерицу*

на берегу Вилейки. <...> Вот она ты, Туула! Голова сфинкса, длинный изогнутый хвост – ты стоишь на верхушке фронтона...” (Кунчинас 2008: 125 – 126).

Для героя Туула живет после смерти другой жизнью, становится частью “живого” города. Автор наделяет персонажей атрибутами и чертами города, и наоборот – город приобретает “человечность”.

Стоит отметить, что созданная нарратором материя города – это не только картина города, увиденная и описанная через призму собственного опыта, но и сформированная Туудой. Кроме героя, полноправным творцом пространства является именно она. В сознании нарратора *„весь этот неуютный мирок“* ассоциируется исключительно с Туудой, с ее телом. Для героя время и, в принципе, вся его жизнь застряла *„у Тууды между ребер“*, запуталась *“в паутине тех лет”*, смоталась *“в клубок между нитками и иголками в ее шкатулке”*, укрылась *„в складках ее платьев и пиджачков“*, покоится *„в ее коробках с рисунками и тетрадкой, с подробным описанием снов“* (Кунчинас 2008: 21).

В равной степени городская „материя“ создана наследием предков, жителями Заречья и всеми другими людьми, связанными с этой символической частью города. “Конечно, – пишет Павел Хуелле, – не сама топография определяет ее очарование и ценность. Как у Джойса в “Улисе”, только сплетение людских судеб, внедренных в конкретное пространство города, дает тот неповторимый эффект странствования, которое незаметно становится путешествием по всей жизни – в дословном и метафорическом смысле” (Хуелле 2003)².

Так, в созданном героем мире очень важную роль играют все другие персонажи – живущие и те, которые уже давно умерли. Рассказ о Тууде постоянно прерывается повествованием о других персонах, нарратор вводит образы разных людей из своей жизни – членов семьи, знакомых, случайно встреченных людей: *“Видите, я веду речь уже не о Тууде, не о ее рыжей шубке <...>, а об орлице, чернилах, нью-йоркском кузене”*, о дедушке Александре, *«которого я в глаза не видел...»* (Кунчинас 2008: 22). Всех этих людей, очень часто незнакомых между собой или живущих в разные времена, соединяет Вильнюс и Заречье. Результатом этого соединения – синтеза жизни людей с топосом – становится важное для понимания концепции города явление, которое нарратор опре-

² Перевод автора статьи

деляет как „культурный слой“, – своеобразное сознание города. Рассказчик приводит такой пример: здесь, на Заречье, возле Бернардинского монастыря, памятной доски Феликсу Дзержинскому „...жильцы держат кур, разбирают и снова собирают мотоциклы, гонят и продают сахарную самогонку, ежедневно культурный слой тут утолщается хотя бы на миллиметр“ (Кунчинас 2008: 40).

Определение „культурный“ Кунчинас использует далеко не в традиционном понимании. И делает это как минимум по двум причинам. Во-первых, автор хочет подчеркнуть, что „культурный слой“ создается ежедневно, и в праздники, и в будни создают его люди – большие и маленькие, знаменитые и безвестные. Во-вторых, в условиях мертвой и искусственной культуры Советской Литвы эта „культурность“ является для него более значимой и более правдивой, поскольку она все еще жива, своими корнями уходит в славную историю города. Поэтому так важна роль предков в формировании облика города. Этот мотив Кунчинас раскрывает при помощи „физических“ уровней города, уровней „культурных слоев“. Уровень сегодняшнего Заречья, как говорит герой, призрачно освещенный, провонявший пивом и мочой, но в нескольких метрах, чуть глубже „...лежат в истлевших гробах известные университетские профессора, французские и польские генералы, а также жившие в девятнадцатом веке духовные лица, адвокаты“ (Кунчинас 2008: 127), весь так называемый исторический „культурный слой“: „сор, пыль, частицы бывших предметов и тел“ (Кунчинас 2008: 268). Таким образом, нарратор путешествует не только в горизонтальном пространстве, но и погружается вглубь города. Словно археолог в слоях штукатурки и земли, он открывает в истории домов, фундаментов, могил и особенно в историях людей, связанных с тем пространством, эпическую правду своего города и бессмертность того настоящего „культурного слоя“: „Из-под земли мало-помалу возникал похороненный бог весть когда быт, а как будто наяву услышал смех, перебранку, причитания, звон разбиваемой посуды, вот-вот <...> обнажатся невиданные доселе пространства, хлынут кровь, вино, вода... Не слишком ли густо для небольшого пространства между двумя мостиками?“ (Кунчинас 2008: 268).

Кунчинас выстраивает сложную, многослойную систему города, на целостность которой влияют люди и их судьбы. Постоянно отождествляя и сравнивая город с человеком, автор достигает своеобразной персонификации города, который удивительным образом способен впитывать человеческие эмоции, мысли, взгляды. О своем „контакте“ с городом нарратор говорит,

что: *“...если ты прожил в городе четверть века, то в каждом закоулке остается частица тебя – твои взгляды, шаги, твоя пыль и осадок...”* (Кунчинас 2008: 30). Перед нами пример удивительного симбиоза, соединения с городом, что для героя является единственным способом выжить: *“Подобно любому живому существу ты должен приспособиться к условиям, слиться с улицей, туманом, ларьком у базара и тротуарной плитой, с паром, дымом, смолой, ругательствами и взвихренной над пригородным пустырем сухой пылью...”* (Кунчинас 2008: 97).

Более того, описывая Вильнюс и Заречье таким специфическим и тщательным способом, используя множество фактографических подробностей, нарратор вкладывает в эти описания своеобразную одухотворенность. В определенный момент город начинает исполнять роль отдельного и самостоятельного героя романа, живущего собственной жизнью.

Кроме сознания, очень важным атрибутом города-персонажа становится его телесность. Кунчинас представляет Вильнюс как тело, как организм, выполняющий физиологические, психические, эмоциональные и даже родительские функции. Город-творец, город-родитель, пишет Кунчинас, *всосал «тебя и меня в свою темную утробу и выплюнул потом вместе с тиной, глиной, разными черепками и банками-склянками, с устаревшими деньгами»* (Кунчинас 2008: 15). Несмотря на то, что герой очень сильно связан с Вильнюсом, называет Заречье своим домом, не представляет себе жизни ни во “Втором” (Каунас), ни в “Третьем” (Клайпеда) городе, образ Вильнюса чаще всего показан с негативной стороны. Согласно литературной урбанистической традиции (А. Камю, Дж. Джойс), город Кунчинаса представлен враждебным, измученным, умирающим, и человек приговорен оставаться в нем и страдать вместе с ним. Город показан как больной и в плане физическом, и в плане психическом: *“закоптелый город, опутанный сетями, <...> изнуренный безрадостной жизнью, ненасытный, голодный и жадный”* (Кунчинас 2008: 65). Автор подчеркивает, что город является самостоятельным, независимым организмом, при этом наделяет его человеческими чертами, но одновременно говорит о равнодушии города по отношению к людям: *“Мир за окном парил, ферментировался, жужжал, разлагался, точил зубы, переливался огнями <...>. Мир был наполнен бедностью, страхом, неведением, насилием и космическими загадками, шлепаньем мокрых ног и звоном бокалов”* (Кунчинас 2008: 118).

Враждебность города исходит из его “болезни”, город злится на людей, поскольку это они довели его до состояния упадка. “Города тоже болеют, их болезни похожи на наши, мучает их и гипертония, и рак. Города тоже умирают в страшных мучениях. Но хуже всего, когда город загнивает. Когда люди погрязают в вонючей гнили, уверенные, что жизнь в этом и заключается” (Гавялис 2005: 265)³. Так, практически одновременно, и тоже о Вильнюсе, писал Ричардас Гавялис, писатель, разделяющий взгляды Кунчинаса. И Гавялис, и Кунчинас указывают на те же симптомы, из которых наиболее ужасающим является факт, что город как бы еще живет, но одновременно уверен в своей кончине. В “Тууде” этот мотив представлен в символической форме. Кунчинас рисует натуралистический образ умирания города как все еще мыслящего и чувствующего организма (“Казалось, он (город) собирается заживо похоронить себя”), также указывает на физиологические симптомы: „ ...город позабыл привычную речь, и тишина изредка нарушалась простуженным кашлем моторов <...>. Сердце города тоже билось еле-еле” (Кунчинас 2008: 151).

Символично, что и люди в умирающем городе представлены как “живые трупы”: “Прохожие казались мне только что вытасканными из воды утопленниками” с трупными пятнами на лицах, перемещающиеся шаткой походкой. Появляется желтый троллейбус – “ни дать ни взять гроб со стеклянными окошками, за которыми темнели посаженные кем-то мертвецы” (Кунчинас 2008: 151).

Однако, по мнению нарратора, не все еще потеряно, остается, пускай даже чуть теплящаяся, надежда на возрождение, поскольку город все еще живет и все еще не списан со счета. В это можно поверить, ибо герой во время путешествий по городам Советского Союза имел возможность встретить “мертвый город”. Таким местом представлен Днепропетровск, “миллионный город, изнуренный знанием, занесенный пылью, голодный, злой, недружелюбный <...> заброшенное кладбище на воде, город мертвых” (Кунчинас 2008: 196). Вильнюс в романе не показан как застывший статичный образ, и с этой точки зрения тоже напоминает живой, хотя и истощенный болезнью организм. Состояние города меняется на наших глазах, поддается преобразению. Конечно, здесь доминируют упадок и деструкция, однако в тексте можно найти некоторые исключения. Процессы, изменяющие кондицию города, с одной стороны, зависят от состояния narra-

³ Перевод автора статьи

тора (так, например, город становится более дружелюбным во время пребывания с Туудой – *“теплый, опустевший, легкий летний город, невесомый, как сорочка”* (Кунчинас 2008: 253)), а с другой стороны, совершенно от него не зависят. Примером тут может послужить явление, когда весной порой город несколько оживает, позитивно реагирует на перемены в природе: *“... озаренный золотым светом, вдалеке и вблизи искрился и тихонько жужжал еще безлистный, но уже украшенный почками Вильнюс. Я вперился в сияющие новым светом башни, карнизы, эркеры, дымоходные трубы”* (Кунчинас 2008: 170).

Делая выводы, нужно отметить, что телесность города в романе не является самостоятельной, это явление подчинено структуре функционирования системы образов и персонажей и вытекает из важности и исключительности Вильнюса и Заречья для Кунчинаса. С одной стороны, автор показывает, как «сживаются» человек и город, как взаимодействуют эти два элемента, образуя своеобразный параллелизм происходящих процессов как в организме города, так и в самом человеке. С другой стороны, город выступает здесь как самостоятельный персонаж, органично вписанный в систему образов романа.

Кроме того, нужно подчеркнуть, что Кунчинас не погружается исключительно в деструктивное пространство Вильнюса 80-х годов, а хочет, прежде всего, сказать, что даже в самых страшных условиях жизни в человеке сохраняется какой-то внутренний стержень, который не поддается дальнейшей редукции. Любовь к Тууде, глубокие связи с городом, история Вильнюса, каждого уголка Заречья, оживленные беспокойным воображением рассказчика, – всё это позволяет не потерять человеческое достоинство и становится драгоценным источником, из которого можно черпать жизненные силы и веру в будущее.

ЛИТЕРАТУРА

- Алишаускас А. Жверинас – Ужупис: вертикальные маршруты. // <http://www.kuncinas.com/prensa/htm>.
- Gavelis R. Wileński poker / R. Gavelis // *Literatura na świecie*. Litwa. – 2005. – Nr. 1–2. – С. 233–260.
- Кунчинас Ю. Туула / Ю. Кунчинас. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2008. – 464 с.
- Kunčinas J. Pamięć wzrokowa / J. Kunčinas // *Krasnogruda. Sejny*. – 2001. – Nr. 13.

Huelle P. Requiem dla Zarzecza / P. Huelle // Rzeczpospolita. – 2003. – Nr. 4.

City Like a Hero in Novel *Tula* by Jurgis Kunchinas

Summary

Vilnius and especially Uzhupis, its district of bohemians, are the main places where the action of Jurgis Kunchinas' novel 'Tula' develops. The narrator describes the plan of the district with enormous accuracy and, thus, provides it with a specific personality. The district plays an individual role of a character which lives its own life. Simultaneously, the city gains carnality and some kind of human physiology – 'innards and cesspit of real Uzhupis tear apart'.

Keywords: *Vilnius, Uzhupis, city-hero, personification, bohemianism.*

С. А. Джанумов

*Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)*

А. С. ПУШКИН О М. В. ЛОМОНОСОВЕ (К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА)

Историкам русской литературы XVIII–XIX веков хорошо известно суждение Пушкина о Ломоносове из «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833–1834): «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» (Пушкин 1949: XI, 249). В том же цикле очерков одно перечисление Пушкиным трудов Ломоносова только за пять лет (с 1751 по 1756 год) в области химии, физики, истории, словесных наук занимает несколько страниц, что говорит не только о широте научных интересов ученого, но и о том, что, по мнению Пушкина, «Ломоносов сам не дорожил своею поэзией – и гораздо более заботился о своих физических опытах, нежели о должностных одах <...> etc.» (Пушкин 1949: XI, 226). Показательно, что в этом перечне словесные науки, куда Ломоносов включает написание од, героической поэмы «Петр Великий», «сочинение» Российской грамматики и пр., занимают довольно скромное место.

Но Пушкин всегда хотел беспристрастно и объективно разобраться в таком громадном явлении, как Ломоносов. В статье «О журнальной критике» (1830) Пушкин писал: «... Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда (посмертного, справедливого. Намек на суд над умершими фараонами. – С. Д.). Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих» (Пушкин 1949: XI, 89). А в черновой редакции той же статьи Пушкин высказывался еще более резко и даже не без некоторого раздражения: «Нам наскучило слышать высокопарные прозвища, приклеенные к именам Ломоносова, Державина, Фонвизина. – Мы требуем разбора дельного, а не *панегирических амплификаций* (т.е. ненужного подробного изложения чего-нибудь, нагромождения в речи излишних фраз. Курсив Пушкина. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XI, 360). И такому «разбору дельному» Ломоносов и его деяния подвергнуты в статьях, заметках и письмах самого Пушкина.

Если подробно проанализировать и суммировать все многочисленные высказывания Пушкина о Ломоносове, то можно подметить, что Пушкин часто сравнивал «отца русской поэзии» (счастливо найденное и ставшее крылатым пушкинское выражение – запись из лицейского дневника от 17 декабря 1815 г. (Пушкин 1949: XII, 302)) как с его предшественниками, так и с современниками. И эти сравнения и сопоставления во многом помогают прояснить пушкинскую позицию по отношению к Ломоносову.

Как известно, уже в XVIII веке Ломоносов приобрёл у соотечественников титул «русского Пиндара» (потом этот эпитет прилагали и к Г. Р. Державину). Кажется, впервые сравнил Ломоносова с Пиндаром А. П. Сумароков в своей «Епистоле о стихотворстве» (1747): «Он наших стран Мальгерб (имеется в виду Франсуа Малерб – французский поэт XVI века, создатель апофеозных од. – С. Д.), он Пиндару подобен» (Русская поэзия XVIII века 1972: 173). В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825) Пушкин, приводя эту характеристику Ломоносова, отмечает, что «... Сумароков с большой точностью определил в одном полустихии истинное достоинство Ломоносова-поэта» (Пушкин 1949: XI, 33). Поэтому не случайно и Пушкин уподобляет «отца русской поэзии» древнегреческому поэту I века до н.э., который также разрабатывал в своём творчестве едва ли не все известные жанры торжественной хоровой лирики, и, прежде всего, жанр оды.

И хотя Пушкин иногда использовал в своём творчестве традиции одической поэзии, начиная с лицейской лирики, послелицейской оды «Вольность» (1817) и кончая «Медным всадником» (1833), всё же он скептически оценивал поэтические возможности этого жанра. В незаконченной рецензии «Возражение на статьи Кюхельбекера в “Мнемозине”» (1825–1826) Пушкин, рассматривая категорию восторга, замечал: «Но *плана* нет в оде и не может быть <...>. Какой план в Олимпийских одах Пиндара.? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого (курсив Пушкина. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XI, 42). А потому, по мнению Пушкина, «Гомер неизмеримо выше Пиндара – ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших ступенях поэм... (курсив Пушкина. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XI, 42). Поскольку же Ломоносов имел репутацию «русского Пиндара», Пушкин заодно отвергает и свободу одического слога Ломоносова: «Свобода? в слоге, в расположении – но какая же свобода в слоге Ломоносова

и какого плана требовать в торжественной оде?» (Пушкин 1949: XI, 41).

Вместе с тем в цикле очерков «Путешествие из Москвы в Петербург», опять-таки уподобляя Ломоносова Пиндару (но уже в положительном смысле), Пушкин защищал «отца русской поэзии» от нападок А. Н. Радищева: «В конце книги своей (имеется в виду «Путешествие из Петербурга в Москву». – С. Д.) Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно написано слогом надутым и тяжёлым. Сочинитель имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе «*Росского Пиндара*» (Пушкин 1949: XI, 248) – в пушкинском черновике статьи: «*нашего Пиндара*» (курсив Пушкина. – С. Д.) (Пушкин 1949: XI, 225). Правда, далее Пушкин в чём-то соглашается с Радищевым и, как и автор «Путешествия из Петербурга в Москву», не видит в Ломоносове вдохновенного поэта. После уподобления Ломоносова «первому нашему университету» (см. начало моей статьи) Пушкин замечает: «Но в сём университете профессор поэзии и элоквенции (красноречия. – С. Д.) ничто иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше» (Пушкин 1949: XI, 249).

В незаконченной рецензии «< Об альманахе «Северная лира»>» (1827) Пушкин проводит параллель между, казалось бы, такими разными поэтами, как Франческо Петрарка (1304 – 1374) и Ломоносов. Поводом к написанию рецензии послужила статья поэта, переводчика, журналиста, издателя альманаха «Северная лира» С. Е. Раича «Петрарка и Ломоносов», которая привлекла особое внимание Пушкина. Другие рецензенты (поэт и критик П. А. Вяземский, литератор, знаток античной и немецкой литературы, член московского кружка «любомудров» Н. М. Рожалин) к самой идее сопоставления двух великих поэтов отнеслись в целом отрицательно. Так, Вяземский «основную мысль сего сравнения» признал «сомнительной» (Вяземский 1984: 225), а Рожалин был еще более категоричен: «Напрасно г. Р. старается доказать нам сходство между Ломоносовым и Петраркою <...>: мы видим одно различие» (Рожалин 1984: 232).

Пушкин же признает правомерность и необходимость самой попытки такого сравнительно-исторического исследования. Он прежде всего обращает внимание на черты сходства, а не различия между двумя деятелями культуры, оказавшими большое влияние на развитие отечественной литературы и просвещения:

«В самом деле сии два великие мужа имеют между собою сходство. Оба основали словесность своего отечества, оба думали основать свою славу важнейшими занятиями, но вопреки им самим более известны как народные стихотворцы. Отделенные друг от друга временем, обстоятельствами жизни, политическим положением отечества, они сходятся твердостью, неутомимостью духа, стремлением к просвещению, наконец, уважением, которое умели приобрести от своих соотечественников» (Пушкин 1949: XI, 48).

Хорошо зная биографию Ломоносова и будучи осведомлен о многих годах, проведенных им в Германии, Пушкин считал его учеником и даже в чём-то подражателем немецких поэтов, в частности, приверженца барокко, поэта первой четверти XVIII века Иоганна Кристиана Гюнтера (1695 – 1723), который в отличие от традиционных панегириков придал оде эпическую масштабность. В том же «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин, подчёркивая некоторую архаичность эстетических вкусов Ломоносова, замечает: «Оды его (Ломоносова. – С. Д.), писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты (ср. с «надутым слогом» А. Н. Радищева там же. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XI, 225). В черновике статьи вместо «по образцу... немецких стихотворцев» читаем: «по образцу немца Гинтера (т.е. Гюнтера. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XI, 459). Возможно, здесь Пушкин имеет в виду, что предметом заботы немецких одописцев была строгая последовательность в развитии мысли или логическая закономерность в присоединении друг другу отдельных частей оды, что, в сочетании с «надутым слогом», создавало впечатление поэтической тяжеловесности, какой-то выспренности, вычурности, несвободы. Воздействие И. К. Гюнтера на Ломоносова отмечается и в «Истории всемирной литературы»: «В России лирика Гюнтера привлекла внимание молодого М. В. Ломоносова, оказав известное влияние на его раннее, отмеченное чертами барокко творчество» (Тураев 1988: V, 199).

Так же отрицательно Пушкин оценивал влияние теоретика литературы, драматурга и критика раннего немецкого Просвещения Иоганна Кристофа Готшеда (1700 – 1766) на Ломоносова. Нормативная эстетика Готшеда была изложена им в трактате «Опыт критической поэтики для немцев» (1730), этом подробном и педантичном своде правил классицизма. В черновой редакции статьи «О ничтожестве литературы русской» (1833 –

1834) Пушкин с явным неодобрением писал о том, что «... сын Холмогорского рыбака скитался по германским университетам, вслушиваясь в уроки Готшеда» (Пушкин 1949: XI, 501). Считая эстетику Готшеда устаревшей, архаичной, Пушкин в самом начале статьи «< О народной драме и драме «Марфа Посадница»>» (1830) замечает: «Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностию и обширностию, мы всё еще остаемся при понятиях тяжел.<ого> педанта Готшеда; мы всё еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза (курсив Пушкина. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XI, 177).

Ещё раз о тяжеловесности, высокопарности как отличительных особенностях одического стиля Ломоносова Пушкин скажет ниже в том же «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Его (Ломоносова. – С. Д.) влияние было вредное, и до сих пор отзывается в тощей нашей литературе. Изысканность, высокопарность, отвращение от простоты и точности – вот следы, оставленные Ломоносовым» (Пушкин 1949: XI, 226). В черновом варианте пушкинского «Путешествия» опять применительно к языку и стилю Ломоносова встречается ещё раз определение «надутый»: «Надутость, отвращение от простоты – следы, оставленные Ломоносовым в нашей народной поэзии» (Пушкин 1949: XI, 459). Правда, ранее, в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», для духовных од Ломоносова Пушкин делал исключение: «... преложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его (Ломоносова. – С. Д.) лучшие произведения» (Пушкин 1949: XI, 33).

Но, конечно, гораздо больше у Пушкина сопоставлений Ломоносова с русскими поэтами – литературными авторитетами XVIII века: с В. К. Третьяковым, А. П. Сумароковым, Г. Р. Державиным. Уже в одном из первых лицейских стихотворений, опубликованном в журнале «Вестник Европы» (1814. Ч. 76. № 13. С. 9–12), «К другу стихотворцу» (1814), имя Ломоносова как «певца бессмертного» стоит в одном ряду с именами некоторых перечисленных выше русских поэтов:

*Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь, и слава россов,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!*

(Пушкин 1999: I, 26).

А в написанном в следующем году стихотворении «Тень Фон – Визина» (1815), сохраняя уже ставшую для него привычной рифму «Ломоносов – россов», молодой поэт уже не сопоставляет, а противопоставляет «Пиндара Холмогора» и Державина:

*На Пинде славный Ломоносов
С досадой некогда узрел,
Что звучной лирой в сонме россов
Татарин бритый (Державин. – С. Д.) возгремел,
И гневом Пиндар Холмогора,
И тайной завистью горел.
Но Феб услышал глас укора,
Его покоить захотел*

(Пушкин 1999: I, 139).

И если в этом стихотворении Ломоносов в царстве мёртвых представлен завистником Державина, то уже через десять лет Пушкин в письме к А. А. Дельвигу от июня 1825 года из Михайловского вновь сравнивает двух крупнейших поэтов 18 столетия, но теперь это сравнение уже не в пользу Державина: «По твоём отъезде перечёл я Державина всего, и вот моё окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка – (вот почему он и ниже Ломоносова)» (Пушкин 1937: XIII, 181-182).

Но, оказывается, это суждение Пушкина о двух крупнейших русских поэтах вовсе не было «окончательным» и ещё подлежало пересмотру, по крайней мере, в его собственных глазах. В рецензии на «описательное стихотворение в четырёх частях» Ф. Н. Глинки «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (1830), опубликованной в «Литературной газете» (1830, № 10, в отделе «Библиография», без подписи), Пушкин вновь объединяет Ломоносова и Державина и приводит их слог как образец (хотя и с оговорками) высокой и настоящей поэзии: «...Слог его (Ф. Н. Глинки. – С. Д.) не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина...» (Пушкин 1949: XI, 110).

Ещё один русский поэт и филолог, с которым Пушкин часто сравнивает Ломоносова, – В. К. Тредиаковский. Не случайно в конспективном наброске плана статьи «О ничтожестве литературы русской» (1833–1834), которая писалась почти одновременно с «Путешествием из Москвы в Петербург», перечисляя крупнейших поэтов XVIII века, Пушкин помещает Тредиаковского сразу же вслед за Кантемиром и Ломоносовым:

«Кант.<емир>
Лом.<оносов>
Тред.<ьяковский>

(Пушкин 1949: XI, 494).

В этом плане отношение Пушкина к Ломоносову и Тредиаковскому двойственное. С одной стороны, ведя начало русской словесности от Кантемира, Пушкин считает, что по сравнению с «сыном молдавского государя» (Пушкин 1949: XI, 269) Ломоносов и Тредиаковский творчески несостоятельны: «Влияние Кант.<емира> уничтожается Ломон.<осовым> – Тред.<ьяковского> – его бездарностью» (Пушкин 1949: XI, 495), с другой – он пишет о «почтенном борении Тредьяковск.<ого>» (по-видимому, с Императорской Академией наук): «Его донесение Академии трогательно чрезвычайно (имеется в виду дело об избииении Тредиаковского кабинет-министром А. П. Волынским. – С. Д.)» (Пушкин 1949: XVI, 62) и о том, что «в сие время Тредьяковский – один понимающий своё дело» (Пушкин 1949: XI, 495). Здесь же Пушкин не отрицает поэтических заслуг Ломоносова и особенно выделяет его ранние оды (возможно, оду «На взятие Хотина (1739)»: «Ломон.<осов>, пленённый гармонией рифма (ритма. – С. Д.), пишет в первой своей молодости оду, исполненную живости etc. – degoute (отвращённый (*франц.*). – С. Д.) славою Сумарокова» (Пушкин 1949: XI, 495).

Но в «Путешествии из Москвы в Петербург», сопоставляя Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского как филологов, Пушкин безоговорочно встаёт на сторону последнего: «Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков» (Пушкин 1949: XI, 253). Здесь же Пушкин даёт довольно высокую оценку и поэтической практике Тредиаковского: «Любовь его (Тредиаковского. – С. Д.) к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В «Тилимахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью... . Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков, верно, не стоят Тредьяковского...» (Пушкин 1949: XI, 253 – 254). А в письме к И. И. Лажечникову от 3 ноября 1835 года из Петербурга, высказывая своё мнение о его романе «Ледяной дом» (1835), Пушкин

счёл необходимым вступить за несправедливо гонимого и после смерти поэта и учёного. Указывая Лажечникову на отступления от исторической правды, в том числе в изображении Тредиаковского, Пушкин замечал: «За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей» (Пушкин 1949: XVI, 62).

В то же время Пушкин оправдывает и Ломоносова, даже когда тот ищет покровительства со стороны знатных вельмож и наполняет «...торжественные свои оды высокопарною хвалою» (Пушкин 1949: XI, 254), и объясняет эту похвалу поэта своим благодетелям сословной иерархией того времени: «Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время ещё существовало» (Там же). Больше того, Пушкин восхищается Ломоносовым как человеком и ставит его в пример современным «писакам», которые «громко проповедуют независимость» и в то же время готовы «на всякую приватную подлость»: «Ныне последний из писак... пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете» (Пушкин 1949: XI, 255).

Не таков, по мнению Пушкина, «отец русской поэзии»: «Ломоносов, рождённый в низком сословии, не думал возвысить себя наглостью и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину, он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей» (Пушкин 1949: XI, 254). Гордое осознание Ломоносовым своего высокого достоинства как человека и учёного проявилось не однажды, и Пушкин приводит тому несколько примеров: «Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову (граф И. И. Шувалов – обер-камергер, президент Академии художеств, первый куратор Московского университета, покровитель Ломоносова. – С. Д.), *Предстателю Мус, высокому своему патрону*, который вздумал было над ним пошутить: «Я, Ваше Высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу». – В другой <раз>, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» – «Нет, – возразил гордо Ломоносов, – разве Академию от меня отставят». И не скрывая чувства гордости за Ломоносова, Пушкин восклицает: «Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий!» (Пушкин 1949: XI, 254).

Пушкина всегда волновал вопрос о положении писателя в обществе. И, как правило, он всегда ссылался в этом отношении на Ломоносова. В 1824 году (7 июня) из Одессы Пушкин пишет П. А. Вяземскому: «... меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет *великодушного покровительства просвещенного вельможи* (курсив Пушкина. – С. Д.), это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима» (Пушкин 1937: XIII, 96). Примерно через год в письме к А. А. Бестужеву от конца мая – начала июня 1825 года уже из Михайловского Пушкин вновь вернется к этому болезненному для него вопросу: «... наша словесность <...> не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. <...> Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов (имеется в виду граф М.С. Воронцов, новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабской области. – С. Д.) не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою – а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, - дьявольская разница!» (Пушкин 1937: XIII, 179).

Эта мысль о независимости собственного творчества от покровительства вельмож и меценатов перекликается со словами Чарского (которому, как известно, Пушкин придал некоторые автобиографические черты) в «Египетских ночах» (1835): «Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чёрт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них» (Пушкин 1948: VIII, 266).

Вместе с тем, гордясь своим шестисотлетним дворянством, Пушкин никогда не был спесив по отношению к более низким сословиям. И опять-таки в связи с личностью Ломоносова в статье «<Опровержение на критики>» (1830) Пушкин со всей убежденностью заявлял: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные – но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами» (Пушкин 1949: XI, 162). А в письме к жене – Наталье Николаевне – от 8 июня 1834 года из Петербурга в Калугу Пушкин еще раз вспомнит гордые слова Ломоносова, сказанные им своему покровителю Шувалову: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога» (Пушкин 1948: XV, 156).

Еще одна параллель в статьях и заметках Пушкина – Ломоносов и А. П. Сумароков. Русские писатели по-разному оценивали литературное творчество Сумарокова, и, в частности, его поэзию.

А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) называл Сумарокова «отменным стихотворцем» и видел в нем прямого наследника поэтической лиры Ломоносова: «... великий муж может родить великого мужа, - и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова» (Радищев 1992: 121). У молодого Пушкина было прямо противоположное мнение о Сумарокове как поэте и человеке. В стихотворном послании «К Жуковскому» (1816) (которое, правда, ни разу не было напечатано при жизни Пушкина) он называет Сумарокова «завистливым гордецом», поэтом «без силы, без огня» и заключает свой отзыв таким суровым приговором:

*Нет! В тихой Лете он потонет молчаливо,
Уж на челе его забвения печать,
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели*

(Пушкин 1999: I, 183).

А несколькими строками выше в том же послании, сравнивая Сумарокова и Ломоносова, Пушкин с презрением писал о первом:

*Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспоривать тот лавровый венец,
В котором возблистал бессмертный наш певец,
Веселье россиян, полунощное диво?..**

И чтобы ни у кого не осталось сомнений, кого он имеет в виду под «исполином» и «полунощным дивом», Пушкин в подстрочной сноске помечает звездочкой: «* Ломоносов» (Пушкин 1999: I, 183).

Правда, через десять лет, как бы смягчая свой слишком суровый и не совсем справедливый приговор в юношеском послании «К Жуковскому», Пушкин в «Заметках на полях статьи П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова» (1826) отметит в одном отношении и преимущество Сумарокова по сравнению с Ломоносовым: «NB: Сумароков прекрасно знал по-русски (лучше, нежели Ломоносов)» (Пушкин 1949: XII, 219). Через год в одной из заметок – «Материалы к «отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»» (1827) – Пушкин разовьёт свою мысль: «Сумароков лучше знал русский язык, нежели Ломоносов, и его критики (в грамматическом отношении) основательны. Ломоносов не отвечал или отшучивался. Сумароков требовал уважения к стихотворству» (Пушкин 1949: XI, 59).

Действительно, Сумароков часто выступал против своего учителя в жанре оды, критиковал оды Ломоносова за их «надутость» (вот, возможно, откуда это полюбившееся Пушкину словечко! – С. Д.), чрезмерную, с его точки зрения, гиперболичность и метафоричность, погрешности со стороны языка и художественного вкуса.

Но если в «Заметках...» и «Материалах...» Пушкин отдавал предпочтение Сумарокову за его знание русского языка и признавал основательность, справедливость «его критики» Ломоносова, то последний – как человек и ученый – в глазах Пушкина стоял на недостижимой высоте. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин замечает: «Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина (по-видимому, имеется в виду граф Н. И. Панин. – С. Д.); его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками <...>. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирил за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера (имеется в виду немецкий просветитель, историк, публицист Август Людвиг Шлецер (1735 – 1809). С 1750 по 1764 год Шлецер жил в России, изучая русские летописи. – С. Д.), не смели при нем пикнуть. <...>. Со всем тем Ломоносов был добродушен» (Пушкин 1949: XI, 253).

Наконец, по мнению Пушкина, в какой-то степени дает представление о личности Сумарокова его донос на Ломоносова, который, как считает Н. А. Тархова, Пушкин 18 марта 1830 (?) года увидел «... у И. И. Дмитриева среди его бумаг» и снял с него копию (*Летопись...: III, 167*). Копия с этого документа была прислана Пушкиным П. А. Вяземскому из Москвы с письмом (вторая половина марта 1830 года), которое сопровождалось просьбой: «посылаю тебе драгоценность: донос Сумарокова на Ломоносова. Подлинник за собственноручною подписью видел я у Ив. Ив. Дмитриева. Состряпай из этого статью и тисни в *Лит.<ратурную> Газ.<ету>*» (Пушкин 1941: XIV, 74). Вяземский выполнил пожелание Пушкина и в № 28 от 16 мая 1830 года напечатал в «Литературной газете» статью «О Сумарокове», где почти дословно воспроизвел часть «доношения» «в Государственную штатс-контору от бригадира Александра Сумарокова» на Ломоносова, где, в самом конце сего документа Сумароков заявлял: «А что он (Ломоносов. – С. Д.) не в полном разуме, в том я свидетельствую сочиненною им Риторикою и Грамматикою» (Вяземский 1984: 115). Комментируя заключительные слова Сумарокова в доносе, Вяземский в указанной статье отмечал: «Окончательная фраза в

доношении его штатс-конторе отличается язвительной колкостью и комизмом» (Вяземский 1984: 117).

Таким образом, несмотря на неоднозначное и с годами меняющееся отношение Пушкина к Ломоносову, авторитет «отца русской поэзии», великого отечественного ученого в глазах Пушкина был непоколебим и незыблем. Сравнивая Ломоносова как поэта и филолога с его современниками, Пушкин иногда отдавал предпочтение «отцу русской поэзии», иногда другим поэтам XVIII века. Но всегда Пушкин видел в Ломоносове больше учёного, чем поэта. Впервые это мнение было высказано Пушкиным в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825) и потом уже оставалось неизменным и устойчивым. Напомним известные слова Пушкина из этой статьи: «... если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдём, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же – иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения» (Пушкин 1949: XI, 33).

В данной статье нашими задачами были регистрация (по возможности полная) и анализ суждений Пушкина о Ломоносове с соответствующими комментариями. Проблема же усвоения Пушкиным поэтических традиций Ломоносова и – шире – литературного наследия XVIII века является предметом специальных исследований (Иезуитов 1991; Стенник 1995).

ЛИТЕРАТУРА

- Вяземский П. А. Северная лира на 1827 год / П. А. Вяземский // Северная лира на 1827 год. – Москва: Наука, 1984. – 416 с.
- Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика / П. А. Вяземский. – Москва: Искусство, 1984. – 458 с.
- Иезуитов А. Н. Пушкин и Ломоносов. (Из комментариев к «Евгению Онегину») / А. Н. Иезуитов // Пушкин. Исследования и материалы. Том XIV. – Ленинград: Наука, 1991. С. 214–219.
- Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Составитель Н. А. Тархова. Т. III. – Москва: Изд-во СЛОВО / SLOVO, 1999. – 624 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. – Т. VIII. – Москва: Изд-во АН СССР, 1948. – 495 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. – Т. XI. – Москва: Изд-во АН СССР, 1949. – 538 с.

- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. - Т. XII. - Москва: Изд-во АН СССР, 1949. - 576 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. - Т. XIII. Москва: Изд-во АН СССР, 1937. - 652 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. - Т. XIV. - Москва: Изд-во АН СССР, 1941. - 548 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. - Т. XV. - Москва: Изд-во АН СССР, 1948. - 392 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. / А. С. Пушкин. - Т. XVI. - Москва: Изд-во АН СССР, 1949. - 504 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20-и т. / А. С. Пушкин. - Т. 1. - Санкт-Петербург: Наука, 1999. - 840 с.
- Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. / А. Н. Радищев. - Санкт-Петербург: Наука, 1992. - 672 с.
- Рожалин Н. М. Из статьи: Альманахи на 1827 год / Н. М. Рожалин // Северная лира на 1827 год. - Москва: Наука, 1984. - 416 с.
- Русская поэзия XVIII века. Вступ. статья и составление Г. П. Макогоненко. - Москва: Изд-во Художественная литература, 1972. - 735 с.
- Стенник Ю. В. Пушкин и русская литература XVIII века. / Ю. В. Стенник. - Санкт-Петербург: Наука, 1995. - 360 с.
- Тураев С. В. Лирика первой половины века. Гюнтер. Брокес. Гагедорн / С. В. Тураев // История всемирной литературы: В 9 т. Т.5. - Москва: Наука, 1988. - 784 с.

A. S. Pushkin about M. V. Lomonosov (Dedicated to the 300th Anniversary of Lomonosov's Birthday)

Summary

Detailed analysis and summarizing of all numerous A.S. Pushkin's remarks about M.V. Lomonosov allows noticing that Pushkin often compared 'the father of Russian poetry' with his predecessors and also with his contemporaries. Pushkin's comparisons of Lomonosov with Pindar, Petrarch, some German and Russian poets such as I.Günter, G.R.Derzhavin, V.K.Trediakovsky, A.P.Sumarokov are minutely considered in the article. And these comparisons and confrontations in many respects help to clarify Pushkin's point of view about Lomonosov.

The aims of the article embraced the registration (as full as possible) and analysis of Pushkin's remarks about Lomonosov with corresponding commentaries. But the problem of Pushkin's adoption of Lomonosov's poetic traditions and literary inheritance of the 18th century is the object of special research.

Keywords: *Pushkin, Lomonosov, Derzhavin, Trediakovsky, Sumarokov, remarks, comparisons, point of view, poet, scientist.*

Т. Г. Дубинина

*Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)*

ПУШКИНСКИЕ ПРЕТЕКСТЫ В ЛИРИКЕ И. С. ТУРГЕНЕВА

Ранние творения Тургенева, особенно поэтические, большинство исследователей обходит досадным молчанием. Досадным тем более потому, что именно в ранних, где-то еще ученических, но уже вполне самобытных литературных опытах молодого Тургенева закладываются те основополагающие вопросы мироустройства, те художественные образы и мотивы, которые будут разрабатываться писателем всю его творческую жизнь. Еще более интересным и важным представляется вопрос о литературных традициях, приемником которых стал Тургенев. Безусловно, творчество великих предшественников – Лермонтова, Гоголя, и, конечно, Пушкина – не могло не повлиять на писателя.

Несмотря на вышесказанное, работ на эту тему крайне мало. Тем более интересно попытаться сопоставить мнения видных ученых на данную проблему.

Одну из первых попыток системного анализа стихотворных произведений Тургенева предпринял С. Орловский (С. Шиль) (Орловский 1926). Отмечая, что в лирике молодого литератора нашли свое отражение практически все бытовавшие в то время стихотворные жанры – баллады, элегии, сатиры, послания, мадригалы и др., – исследователь выявляет в поэзии Тургенева в основном черты западноевропейской романтической традиции, в частности Ф. Шиллера.

Одно из самых обстоятельных исследований лирического наследия Тургенева принадлежит И. Г. Ямпольскому (Ямпольский 1970). В статье «Поэзия И. С. Тургенева» ученый последовательно анализирует поэтические сочинения художника, выделяя ряд характерных черт тургеневской поэзии разных периодов и основные традиции, которые начинающий поэт воспринял. Так, поэма «Стено», по мнению И. Г. Ямпольского, наследует романтические традиции Дж. Г. Байрона, В. А. Жуковского, В. Г. Бенедиктова, с типичными для этого литературного направления размышлениями о смысле жизни, о бренности всего земного. Исследователь обращается к элегическим началам лирики Тургенева («Вечер»,

«К Венере Медицейской»), что, по его мнению, свидетельствует об определенном влиянии творчества Жуковского, и, конечно, Ф. Шиллера. А в интересе Тургенева-поэта к рефлексии, скептицизму, самоанализу, характерным для русской литературы рубежа 1830–1840-х годов, И. Г. Ямпольский видит некоторую параллель с лирикой Лермонтова.

Обращается И. Г. Ямпольский и к любовной лирике Тургенева, в которой, по его мнению, уже отчетливо прослеживается влияние творчества А. С. Пушкина (стихотворение «К А. С.»). И дело не только в повторении онегинской ситуации – герой отвергнул любовь незаурядной девушки при первом знакомстве и влюбился в нее уже при второй встрече, увидев ее «богиней гордого страдания», – но и в манере описания переживания лирического «я». По мнению И. Г. Ямпольского, «впечатление достоверности <...> заложено в самом поэтическом тексте» (Ямпольский 1970: 45), что и сближает лирику Тургенева с творениями его великого предшественника.

Отдельно ученый касается темы природы. Именно в поэзии, считает исследователь, были заложены те основы в разработке этой темы, которые потом развивались в зрелом творчестве писателя (романах и повестях) и его поздних произведениях – стихотворениях в прозе. И вновь И. Г. Ямпольский говорит о влиянии поэзии Пушкина, где, как и у молодого Тургенева, «авторское мироощущение лишь просвечивает» (Ямпольский 1970: 49).

В книге И. А. Беляевой «Система жанров в творчестве И. С. Тургенева» (Беляева 2005) рассматриваются вопросы творчества писателя 1830–1850-х годов. По мнению исследователя, основная жанровая тенденция ранней лирики Тургенева – циклизация, которая была характерна для поэзии той поры, в том числе и для Пушкина. И. А. Беляева размышляет об авторских («Вариации», «Деревня») и неавторских лирических циклах («премухинский цикл») Тургенева. В последний вошли стихотворения, связанные с чувством поэта к Т. А. Бакуниной. Причину склонности писателя к циклообразованию исследователь видит в желании с его стороны целостного и наиболее полного, масштабного взгляда на мир и человека. Именно циклизация по своей жанровой природе отвечала этой задаче, давала художнику возможность «почти романного» внимания к лирическому «я» и служила «иммунитетом к односторонности» (Беляева 2005: 16).

Мы упомянули наиболее крупные, с нашей точки зрения, работы о тургеневской лирике. В целом же поэтическое наследие

Тургенева изучено скупо. Отчасти это объясняется тем, что до нас, к сожалению, дошли далеко не все тексты. Именно поэтому сложно размышлять о целостном влиянии творчества предшественников на лирику Тургенева. Однако представляется неверным говорить о том, что целостное изучение вопроса о влиянии пушкинского творчества на молодого поэта невозможно в принципе. Такие попытки обязательно нужно предпринимать.

Творческие интересы начинающего Тургенева-художника изначально были наиболее тесно связаны с лирикой. Известно, что период 1830-х – начала 1840 годов – время «пробы пера» писателя именно в стихотворной области.

Большинство текстов 1830-х годов до нас не дошли. Наследие 1840-х годов сохранилось лучше, однако и оно достаточно фрагментарно. Все это в известной мере затрудняет анализ лирики Тургенева в свете пушкинской и вообще любой другой традиции. Однако несколько текстов, на наш взгляд, явно отмечены художественным присутствием великого предшественника.

В большой степени это относится к стихотворению «К А. С.». В нем определяется несколько пушкинских мотивов. Во-первых, название. «К А. С.» само по себе акцентирует элегическую доминанту послания. Вынося в заглавие инициалы той, которой произведение посвящено, Тургенев следует традиции элегического стиля – Жуковского, Батюшкова и, в том числе, Пушкина. («К***», «Н. Н.» и др.). Заголовок можно смело соотнести с именем великого предшественника Тургенева еще и потому, что в тексте есть непосредственная отсылка к «Евгению Онегину»: «*Вы изменились, как Татьяна*» (Тургенев 1960: I, 50).

Кому адресовано стихотворное послание Тургенева, установить не удалось. В стихотворении очевидна «онегинская» аллюзия. Само упоминание имени пушкинского «милого идеала» дает возможность прочесть произведение именно в онегинском ключе.

Поэтический сюжет стихотворения в некотором смысле следует за романом. Встретив случайно молодую девушку и не обратив никакого внимания на то,

*<...> что в сердце молодом
Дремало легким, чутким сном,*

герой видит ее затем уже спустя время. Она сильно изменилась:

*Сияя страшной красотой,
Вы предстоите предо мной*

Богиней гордого страданья

(Тургенев 1960: I, 50 – 51).

И герой, потрясенный произошедшими изменениями, пытается понять, разгадать эту женщину, проникнуть в ее душу и стать ей ближе.

Соотнесенность героини с пушкинской Татьяной подчеркивается ее духовной полнотой, способностью к глубоким, сильным чувствам и переживаниям, иначе она бы не смогла предстать «богиней гордого страдания». Изменения, которые находит Онегин в Татьяне в восьмой главе романа, тоже результат глубоких душевных потрясений.

Близость к пушкинскому персонажу подчеркивается и описанием внешности, манеры держаться героини стихотворения:

*Я не слышал таких речей,
Я не видал таких плечей,
Такого царственного стана...*

(Тургенев 1960: I, 51).

Татьяна же предстает перед Онегиным

*Неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы*

(Пушкин, 1978: V, 153).

Соотнося героиню с пушкинским персонажем и используя в стихотворении форму первого лица, Тургенев, так или иначе, отсылает читателя к письму Онегина Татьяне.

Действительно, не оценив представленную ему девушку по достоинству, герой все же отмечает для себя

*Прекрасный, умный взгляд
И речи девственные звуки*

(Тургенев 1960: I, 50).

новой знакомой, подобно тому, как Онегин после первого знакомства говорит Ленскому, что при выборе между сестрами Лариными он

*...выбрал бы другую (сестру. – Т. Д.),
Когда б я был, как ты, поэт*

(Пушкин 1978: V, 51).

Однако в «сюжете» романа и стихотворения есть существенные расхождения. Нигде в стихотворении не сказано, что героиня влюблена в лирического героя. Она, восемнадцатилетняя девушка, «только что вступившая в свет», пытается поддержать разговор, но ответной реакции не получает:

Я (герой. – Т. Д.) даже вам не отвечал (Тургенев 1960: I, 50).

Если Онегин отказывает Татьяне, не чувствуя любви ни к ней, ни к кому-либо другому, то герой стихотворения во время знакомства с героиней влюблен:

Другую женщину я ждал <...> (Тургенев 1960: I, 50).

При второй же встрече он, в отличие от Евгения, не питает никаких надежд:

Нет, нет! я стар – нет, я вам чужд,

Давно в борьбе страстей и нужд

Я истощил и жизнь и душу

(Тургенев 1960: I, 51).

В последней строфе еще более утверждается разница между Евгением и лирическим героем тургеневского стихотворения. Если Онегин пришел к великому открытию любви, и духовная сторона его личности, наконец, оказывается на первом плане (он обретает душевную силу и готов открыться жизни), то тургеневский герой к подобным проявлениям еще не способен. Любовь прошла, как сон,

И безотрадный и напрасный (Тургенев 1960: I, 50).

Взамен нее ничего не осталось. Надежд на счастье у героя нет. Трагизм тургеневского понимания любви и человеческой жизни вообще предстает в этом стихотворении в новом ракурсе. Не в силах разглядеть и удержать истинные ценности в бурном потоке жизни, человек истощает «и жизнь и душу» в бесплодной «борьбе страстей». Такая борьба иссушает внутренние, духовные силы, и он увядает, не создав и не почувствовав ничего истинно ценного. Любовь или то чувство, которое он так называет, скоротечно, и не в силах человека его удержать. Оно не оставляет в душе ничего, кроме разочарования.

Подчеркнув, что название стихотворения отсылает читателя к пушкинским любовным и дружеским посланиям, к знаменитому «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), нельзя не провести некоторые параллели с этим произведением.

Лирический сюжет стихотворений схож. Он строится по схеме встреча-разлука-встреча. Кроме того, первая строка «К А. С.»

Я вас знавал... тому давно (Тургенев 1960: I, 50)

отсылают нас пушкинскому

Я помню чудное мгновенье (Пушкин 1977: III, 238).

Конечно, говорить о прямой соотнесенности здесь нельзя, но некоторое сходство все же есть. Но если пушкинский герой вспоминает встречу с возлюбленной в светлых тонах, то тургеневский испытывает досаду на самого себя:

*Мне, право, стыдно и грешно,
Что я тогда вас не заметил*

(Тургенев 1960: I, 50).

У Пушкина герой будет страдать от разлуки с «гением чистой красоты» (Пушкин 1977: III, 238), у Тургенева – не вспомнит о юной барышне. Заключительные строки «К***» говорят о душевном подъеме героя, он вновь полон надежд на счастье. В финале «К А. С.» герой никаких надежд не испытывает. Видимо, он не верит в саму возможность счастья для себя.

Тургеневское видение любви отлично от пушкинского. Любовь осмысливается им скорее трагически – это скоротечное и очень хрупкое чувство. Более того, оно, как тогда, видимо, представлялось Тургеневу, не способно вызвать душевный переворот, помочь современному человеку стать чище, лучше.

В «К А. С.» очень важна элегическая составляющая, ведь элегизм не чужд трагизму. У Пушкина мы также встречаемся с элегической интонацией сладостной уединенной грусти. Подобные ноты есть и в тургеневском послании, более того, позже они перейдут в его романы, где станут заметной, если не доминирующей тональностью – это элегическое переживание трагической мимолетности любви, невозможности встречи и узнавания друг друга.

Думается, что в своем любовном послании Тургенев «помещает» романную ситуацию в элегический контекст, чтобы ее по-новому, в соответствии с современной ситуацией, переосмыслить.

Образ лирической героини в тургеневском стихотворении «К***», предположительно посвященном Т. А. Бакуниной, близок образу возлюбленной одноименного пушкинского стихотворения. Лирические герои питают к избранницам своего сердца нежное чувство, которое переживается как единственное. Любовь и у Тургенева, и у Пушкина мыслится далеко не одномоментным переживанием, возлюбленная возводится ими на пьедестал: у Пушкина она источник жизни и вдохновения, у Тургенева – «*сестра души моей*», «*друг единый*», «*любовь последняя моя*» (Тургенев 1960: I, 55). Интересно, что всю полноту жизни лирические герои и у Пушкина, и у Тургенева могут испытать только рядом с возлюбленной.

Пушкинские черты в тургеневском «К***» проявляются не только в образе возлюбленной, но и в композиции стихотворения. У Пушкина произведение строится как цепь ощущений –

встреча с Ней, переживаемая как очень яркий, счастливый момент жизни, разлука, в которой герой страдает, и снова встреча, когда герой обретает счастье.

В стихотворении Тургенева наблюдается также определенная последовательность событий, только подчиняется она природному циклу, а не циклу человеческих переживаний:

*Через поля к холмам тенистым
Промчался ливень... Небо вдруг
Светлеет...*

(Тургенев 1960: I, 55).

Таким образом, отношения влюбленных получают дополнительную психологическую определенность в соотнесении с явлениями из мира природы – сначала была гроза, потом она закончилась, и природа вновь обрела красоту и гармонию:

*Как отдыхает сладострастно
На каждой ветке каждый лист!*

(Тургенев 1960: I, 55).

Идиллия данного пейзажа, думается, оттеняет идиллию, царящую в тот момент в отношениях влюбленных. Кроме того, Тургенев упоминает и еще об одном природном явлении: речь идет о заре. И в стихотворении появляется еще один цикл, условно назовем его «дневным», – от восхода солнца к закату. Причем влюбленные воссоединяются на закате, когда ливень прошел и природа гармонична:

*Когда заря взойдет, пылая,
Над успокоенной землей, –
Позволь сидеть мне молчаливо
У ног возлюбленных твоих...*

(Тургенев 1960: I, 55).

Думается, в своем стихотворении Тургенев усваивает и существенно творчески, с учетом своих натурфилософских взглядов, перерабатывает поэтику пушкинского шедевра.

Стихотворение «Цветок» уже благодаря своему названию напрямую соотносится с лирикой великого предшественника Тургенева. Поскольку пушкинский «Цветок» был опубликован во втором номере журнала «Галатей» за 1829 год (Томашевский 1977: III, 422), можно с большей степенью уверенности предположить, что начинающий поэт был знаком с текстом этого стихотворения.

Лирический сюжет произведений различен. У Пушкина случайно найденный в книге засохший цветок служит отправной

точкой для размышлений лирического героя. Он задумывается о том, каким путем цветок попал в книгу, кем и когда был сорван, о судьбе людей, в чьих руках побывал. Занятый «мечтою странной», герой представляет себе «нежное свидание», «одинокое гуляние» и «разлуку роковую», в память о которых цветок и был «положен» в книгу. Отдельное место в размышлениях лирического героя занимает дальнейшая судьба «выдуманных» им персонажей:

*И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или они уже увяли,
Как сей неведомый цветок?*

(Пушкин 1977: III, 84).

Такие мысли и настроения напрямую восходят к жанру элегии. Грусть по ушедшему, сладостные размышления наедине с собой – все это присуще элегии. Ощущение скоротечности и бренности всего земного, органично вплетенное здесь в ткань мечтаний лирического героя, создает особое настроение и придает всему стихотворению философскую окраску. Эта элегия отчасти близка «Сельскому кладбищу» Жуковского (1802), однако доминирующим здесь остается ощущение светлой грусти.

Тургеневскому тексту также присуща мысль о бренности всего земного, но звучит она иначе. Лирический герой размышляет о судьбе сорванного и вставленного в петлицу цветка. Если пушкинский герой находит цветок уже засохшим, то тургеневскому он явится еще живым и свежим:

*Тебе случалось – в роще темной,
В траве весенней, молодой,
Найти цветок простой и скромный?
(Ты был один – в стране чужой.)*

*Он ждал тебя – в траве росистой
Он одиноко расцветал...
И для тебя свой запах чистый,
Свой первый запах сберегал*

(Тургенев 1960: I, 29).

Стихотворение начинается с изображения гармоничной картины природы, но заканчивается гибелью цветка, всего несколько минут послужившего человеческой прихоти:

*И вот, идешь дорогой пыльной;
Кругом – все поле сожжено,*

*Струится с неба жар обильный,
А твой цветок завял давно*

(Тургенев 1960: I, 29).

Думается, основную идею стихотворения можно определить как мысль о бренности красоты, ее недолговечности перед лицом враждебного окружающего мира, недаром «тени спокойной», где вырос цветок, противопоставлена картина выжженного поля. У тургеневского цветка «стебель зыбкий», что еще раз подчеркивает мимолетность, непрочность его жизни. Более того, в тот момент, когда герой срывает цветок (то есть губит), на губах его улыбка:

*И ты срываешь стебель зыбкий.
В петлицу бережной рукой
Вдеваешь, с медленной улыбкой,
Цветок, погубленный тобой*

(Тургенев 1960: I, 29).

Возможно, таким образом подчеркивается могущество темных сторон бытия. Эти строки рождают ассоциацию с демоническими силами, которые губят жизни с улыбкой, получая от этого удовольствие. В этой связи достаточно вспомнить слова Мефистофеля из трагедии И. В. Гете «Фауст»:

*Увидят эти люди цвет, бутон
И тотчас же сорвать его готовы*

(Гете 1976: II, 99).

Интересно, что в пушкинском стихотворении употребляется местоимение «я», а в тургеневском – «ты». Автор последнего дополнительно разграничивает себя и героя, как будто наблюдая за происходящим со стороны.

Особый трагизм сопереживанию смерти цветка придает тема рока:

*Так что ж? напрасно сожаленье!
Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего*

(Тургенев 1960: I, 29).

Пушкинской светлой грусти в этом стихотворении почти нет, на смену приходит трагическое ощущение непрочности красоты, мимолетности жизни. Такое мироощущение характерно для ранних произведений Тургенева в целом, что убедительно доказал в своей работе Р.- Д. Клуге (Клуге, 1993).

Итак, в самых ранних стихотворных опытах Тургенева, сначала еще ученических, а потом вполне самостоятельных, чувствуется пушкинское влияние. Немало стихотворений и лирических циклов («Цветок», «К***», «Деревня») названы молодым поэтом словно вслед за великим предшественником. И хотя в них предстает другая творческая индивидуальность, лирический герой, иная картина мира – названия говорят о напряженном, пристальном внимании Тургенева к пушкинскому творчеству. Элегизм, присущий многим произведениям Пушкина, унаследован Тургеневым вполне.

Однако если у Пушкина преобладают интонации сладкой грусти, лирически-светлый взгляд на мир, то у Тургенева элегизм зачастую сопряжен с трагизмом, причем трагизм выходит на первый план: таковы мотивы тленности и краткости красоты, неспособности человека к истинной любви, трагического одиночества лирического героя и равнодушия Бога к его страданиям.

Тургенев-поэт зачастую творчески перерабатывает композиционные приемы лирических сочинений Пушкина. Так, в стихотворении «К***» начинающий литератор следует за композицией одноименного стихотворения великого предшественника. Пушкинский текст строится как своеобразный цикл: встреча-разлука-встреча. Тургенев оставляет циклический принцип построения, однако его цикличность подчиняется уже не событиям встречи и разлуки, а природным метаморфозам – от восхода солнца к его закату и от грозы к сияющему солнцу.

Таким образом, уже в лирике художник идет не только по пути усвоения пушкинской традиции, но и по пути творческой с ней полемики.

ЛИТЕРАТУРА

- Беляева И. А. Система жанров в творчестве Тургенева / И. А. Беляева. – Москва: МГПУ, 2005.
- Беляева И. А. Литературные параллели: Пушкин – Тургенев / И. А. Беляева // «...Главный светоч нашей литературы»: Сб. статей к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. – Москва: МГПУ, 1999.
- Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: Учеб. пособие. – Москва: Высшая школа; издательский центр «Академия», 1999.

- Гете И. В. Собр. соч.: В 10 тт. / И. В. Гете. – Т. 2. – Москва: Художественная литература, 1976.
- Гроссман Л. П. Ранний жанр Тургенева / Л. П. Гроссман // Цех пера: эссеистика. – Москва: Агаграф, 2000.
- Дмитриева Н. Л. Роза у Пушкина и Тургенева / Н. Л. Дмитриева // Русская литература. 2000. №3.
- Истомин К. К. «Старая манера» И. С. Тургенева (1834–1855): Опыт психологии творчества / К. К. Истомин // «Известия Отделения русск. яз. и слов. Акад. Наук». – Т. 18. – Кн. 2, 3. – Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии Наук, 1913.
- Клуге Р.–Д. Идеино содержание раннего поэтического творчества И. С.Тургенева / Р.–Д Клуге // И. С.Тургенев и современность: Междунар. науч. конф., посвящ. 175–летию со дня рождения И. С.Тургенева: Доклады и сообщения 2-6 нояб. 1993 г. – Москва: Диалог-МГУ, 1997.
- Курляндская Г. Б. И. С. Тургенев и русская литература / Г. Б. Курляндская. – Москва: Просвещение, 1980.
- Курляндская Г. Б. Тургенев и Пушкин / Г. Б. Курляндская // Тургенев и русские писатели: 5-й межвуз. тургеневский сборник. – Курск: Курский гос. педагогический ин-т, 1975.
- Мостовская Н. Н. «Пушкинское» в творчестве Тургенева / Н. Н. Мостовская // Русская литература. – 1997. – №1.
- Орловский С. Лирика молодого Тургенева / С. Орловский. – Прага: Пламя, 1926.
- Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 тт. / А. С. Пушкин. – 4-е изд. – Т. 3. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977.
- Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 тт. / А. С. Пушкин. – 4-е изд. – Т. 5. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978.
- Томашевский Б. В. Примечания / Б. В. Томашевский // Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 тт. – Т. 3. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977.
- Трофимова Т. Б. «Как хороши, как свежи были розы»... (Образ розы в творчестве И. С. Тургенева) / Т. Б. Трофимова // Русская литература. – 2007. – №4.
- Тургенев И. С. Полное собр. соч. и писем: В 28 тт. / И. С.Тургенев. – Т. 1. – Москва; Ленинград: Издательство Академии наук, 1960.
- Ямпольский И. Г. Поэзия И. С. Тургенева / И. Г. Ямпольский // Тургенев И. С. Стихотворения и поэмы. – Ленинград: Советский писатель, 1970.

Pushkin' s Pretexts in I. S. Turgenev' s Lyrics

Summary

Employing the examples of early poems "On the A.S.", "K***", "Flower" by I. S. Turgenev, the article discusses the attitude of the beginning writer I. S. Turgenev towards A. S. Pushkin's lyrics. An attempt is made to analyse the creative debate of the young Turgenev with his great predecessor, which later became an important step towards continuation of the tradition of Pushkin in the mature works by the novelist Turgenev.

Keywords: *Turgenev, lyrics, Pushkin, tradition.*

М. П. Жигалова

*Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
(Брест, Беларусь)*

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА МИРА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ БРЕСТСКО- ПОДЛЯШСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Сегодня, в условиях глобализирующегося мира, усиление исследовательского интереса к феномену культурного Пограничья вполне понятно и неизбежно.

Появление все новых транскультурных образований актуализирует для науки поиск выработанных и апробированных в ходе исторического развития образцов и сценариев сосуществования в едином культурном поле различных традиций и менталитетов. Ведь только глубокое изучение особенностей Пограничья, его экономического, политического, конфессионального, культурного состояния создает условия толерантности, спокойствия и мира в регионе, приводит к разрядке возникающих социальных стрессов и напряженностей. А в этом заключается уже не только научно-фундаментальный, но и «важнейший прикладной аспект исследований» (Абрамчук 2008: 4) данного феномена.

К числу пограничных и транскультурных образований, безусловно, может быть отнесена и традиция Брестско–Подляшского Пограничья.

Именно здесь, на пограничье Востока и Запада, православно-византийского и католическо-романского мировоззрений, во многом решались судьбы всей современной Европы. В этом смысле Брестско–Подляшское польско–украинско-белорусское Пограничье в силу его одновременно потенциально конфликтного и реально полилогичного характера тоже вполне можно назвать «пограничьем шанса и опасности» (Бабкоў 2005: 123).

Культура этого региона характеризуется спецификой того исторического пути, который прошёл народ, проживающий здесь. Традиции и менталитеты разных народов отложились в социальной памяти мультикультурного пространства Пограничья – в языке, который является средством взаимодействия поколений, культур и цивилизаций, и в традиционных установках поликультуры. Достаточно сказать, что «на территории Брестско–Подляшского Пограничья проживают люди разного

этнического статуса. Так, только в Брестском районе (площадь 1617 км. квадратных), расположенном на юго-западе Брестской области, где длина границы с Польшей составляет 140 км., с Украиной – 37 км., проживает 45, 6 тыс. жителей, разных по своему этническому статусу: белорусы составляют 36,3 тыс. (79,6%), россияне – 4,0 тыс. (8,8 %), украинцы – 4,1 тыс.(9%), поляки – 0,5 тыс. (1%), другие национальности – 700 чел (2,2%). В свою очередь, во Влодаве (Польша) – центре гмины в Люблинском воеводстве, расположенном на Буге, на польско-белорусской границе, – население составляет около 15 тыс. жителей. Это место, где испокон веков жили в согласии поляки, украинцы, белорусы и евреи, которые до второй мировой войны составляли 60% населения Влодавы. Визиткой города является Международное Полесское Лето с фольклором. Начиная с 1991 года, Влодава является одним из 200 городов мира, которые организуют такие фестивали фольклора» (Абрамчук 2008).

Сегодня во Влодаве по традиции проводится фестиваль трёх культур: еврейской, польской, русской, связанных с тремя религиями: иудаизмом, католицизмом и православием. Циклически здесь, во Влодаве, в сентябре проводится трёхдневное мероприятие. Здесь показывают мультикультурное наследие Влодавы: в пятницу – день еврейской культуры, суббота – православное наследие; воскресенье – католическая культура. В костёлах и других сакральных объектах происходят концерты, спектакли, выставки, семинары.

В 2011 году XVI Международный фестиваль восточнославянских коляд проводился в польском городе Тересполе (Польша), в котором приняли участие около 30 коллективов из Польши, Беларуси, Украины, в том числе, хор из посёлка Рудинки Пружанского района, который официально действует при местном Доме культуры и поёт в Свято-Покровской церкви, хор Брестского Свято-Николаевского гарнизонного собора и академический хор “Согласие” из Бреста и др. Песни звучали на польском, украинском, белорусском языках. Голоса детей, их родителей, бабушек и дедушек из православных приходов Тересполя, Кастомлотов, Кобылян, Коденя Бельского повета, из Люблина и Белостока, действительно, свидетельствуют о том, что православная культура была есть и будет в соседней католической Польше. О том, что в Польше не имеют никаких проблем с вероопределением своих граждан говорили и староста бельский Тажеуш Лазовский, и бурмистр Тересполя Яцек Данилюк, католики-спонсоры, которые

рядом с дипломатами трёх государств (консул Беларуси в Бялой Подляске, консул Украины в Люблине Олег Горбенко и консул Польши в Бресте Анна Доменко-Лучек) утверждали, казалось, извечную истину дружбы народов Пограничья, их историческое и культурное единство. Вот что пишет Ю. Рубашевский в своей статье «Калядкі па-цярэспальскі»: “Звяртаючыся да прысутных, архіепіскап Люблінскі і Хелмскі Абель сказаў: “Я шчыра вітаю і благаслаўляю калектывы, якія да нас прыехалі з бліжэйшага замежжа, з Беларусі і Украіны. Гэтымі спевамі, гэтымі калядкамі мы зноў сведчым, што ў нас, у Польшчы, існуе і спявае праваслаўе” (Рубашевский 2011: 7).

Сформировавшись как принципиально пограничная культура белорусско-польского региона, она может характеризоваться ещё и тем обстоятельством, что, в отличие от «классических» цивилизаций, стратегическая роль в ней принадлежит не культурному синтезу, а культурному симбиозу (сожительству) и витальности разных культур, которые являются ее основными культуурообразующими механизмами. «Симбиотические же взаимосвязи различных интегрирующих элементов, образующих основу социокультурного пограничного образования, обеспечивают, в свою очередь, его неустойчивую стабильность» (Суслова 2004: 181).

Поэтому существование индивида «на культурном пограничье» означает не просто более-менее безболезненную и уверенную миграцию из своей культуры в соседние и обратно, но пребывание в специфических «культурных сумерках», где «свое – отчуждено, а чужое – все-таки свое», или, иными словами, «существование между Отчизной и Чужбиной, которые на самом деле оказываются двумя ликами одного целого» (Беларусіка–Albaruthenica 1994: 112].

В связи с этим в полицентрическом пространстве культурного многообразия процесс индивидуальной самоидентификации для носителей пограничной культуры представляет собой некоторое балансирование «между». Именно на Брестско-Подляшском Пограничье владение и попеременное использование нескольких различных языков (а здесь используются преимущественно русский в городах, и «трасянка» – (то есть, русско-белорусско-польско-украинский диалект – в деревнях), каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией, является нормой. Правда, заметим, что молодёжь часто использует в коммуникативном полилоге со сверстника-

ми – иностранными студентами – в частности, и английский, и немецкий, и французский языки. Это и есть мультилингвизм и мультикультурализм в действии, что является неотъемлемым требованием современного глобализирующегося мира.

Однако, мультилингвизм – это не только способность говорить на нескольких языках, это ещё и особый тип мышления, впитывающий в себя культурные ценности нескольких народов, цивилизаций, мышление, открытое к взаимопониманию, а также и к осмыслению культур разных собеседников. Из этого следует, что мультилингвизм является одним из главных средств налаживания межкультурного диалога, достижения толерантности и взаимопонимания, помогающие преодолению противоречий и конфликтов, которые время от времени возникают в многонациональном мировом пространстве.

И здесь следует учитывать тот факт, что существует мультикультурализм естественный и искусственный. В Брестско-Подляшском Пограничье он естественный, так как все языки используются в языковой среде. Важно отметить и то, что при таком мультикультурализме коммуникативный аспект культурно значимого текста не нуждается в переводе, а автоматически перерастает в межкультурное взаимодействие, в диалог, а в некоторых случаях и в полилог. Поэтому мультикультурализм Брестско-Подляшского Пограничья возрождает и укрепляет различные языки и культуры, сохраняя при этом языковое многообразие, и вместе с тем способствует эффективной межкультурной и межэтнической коммуникации. Однако следует подчеркнуть, что всякая пограничная культура, даже будучи вынужденно обречённой на перманентные культурные контакты и взаимосвязи, демонстрирует не только способность к продуктивному сотрудничеству и взаимообогащению, но и в какой-то мере «консервирует» свой архетипический код, весьма пока неопределённый, и, может быть, даже ещё неназванный для его носителей в силу отсутствия их полноценного полилога со своими культурами-соседями.

В рамках обозначенного подхода проблематичность исследования и квалификации исторических процессов и феномена белорусско-польского Пограничья должны определяться, прежде всего, фактом очевидной «неоднозначности белорусскости», которая «среди многих других факторов предопределялась повышенной мобильностью (изменчивостью) белорусско-польских отношений, а также этнографично-этнической и вероисповедальной непроясненностью при определении белорусами

собственной национальной самоотжественности» (Бабкоў 2005: 228–229).

Таким образом, история и логика белорусско-польско-украинских взаимоотношений Пограничья может быть представлена как последовательность и совокупность ряда «культурных опытов», среди которых основными явились опыты государственного (с XVI в.), конфессионального (с XVII в.) и собственно культурного – в первую очередь, художественно-литературного (XIX–XX вв.), симбиозов.

Нас больше интересует третий аспект проблемы – собственно культурный. Опустив иные жанры и виды литературного взаимопроникновения культур, отметим следующее. На наш взгляд, наиболее ярко симбиотический характер культурных реляций белорусско-польско-украинского Пограничья проявился в феномене русскоязычной литературы. Говорить об отражении мультикультурности в русскоязычной литературе белорусско-польско-украинского Пограничья, написанной этническими поляками, русскими, украинцами, белорусами, можно в двух аспектах. В широком, подразумевая связь этой литературной традиции с традициями мировой литературы и самой реальностью её функционирования в белорусско-польском регионе, и узком, предполагающем его внутреннюю, жанрово-тематическую и стилевую специфику. В опыте отражения разных культур в русскоязычной литературе белорусско-польско-украинского Пограничья очевидно и то, что здесь осуществляется и дополняется формирование как белорусского и польского культурного кодов, так и культурного кода подляшского «я», включающего элементы других культур (русской, украинской, литовской и др.), функционирующих на данной территории. Это происходит в силу, по меньшей мере, двух причин.

Во-первых, русскоязычная литература Пограничья, находясь в пространстве исторически сформировавшегося менталитета, особенности исторического развития которого были обозначены выше, по сути, реконструирует как белорусскую, так и украинскую, польскую культуры, и даже создаёт национальную идеологию Пограничья, свой специфический мультикультурный код, своеобразный многонациональный миф, «апеллируя, прежде всего, к глубинным пластам национального архетипического свойства (Суслова 2004: 8). В творческом багаже практически каждого поэта и писателя Пограничья имеются, с одной стороны, сакрализованные исторические сюжеты, как ритуально проин-

терпретированные социально-этнические кризисы белорусской социокультурной традиции, а, с другой стороны, широко представлены разные культуры и их взаимодействие.

Во-вторых, художники слова, представители литературного украинско-белорусско-польского Пограничья, испытывали всегда явное затруднение с собственным национально-культурным самоопределением. Подобное затруднение вряд ли можно однозначно назвать недостатком, поскольку длительные и безуспешные поиски этой самоидентификации были неизбежны – как можно белорусу, например, себя благополучно идентифицировать, имея в историческом багаже одновременно столько культурных имен: «кривичи», «литовцы-литвины», «русины», «белорусы»? При этом, начиная с XVII века, в белорусской культуре оформилась определенная дихотомия: высший слой, пользуясь польским языком, развивал свою культурную традицию с акцентом на метропольную культуру и восприятие через нее общеевропейских духовных ценностей. В результате возникал специфический симбиоз парадигмы польской культуры (как внешнего оформления) и белорусской ментальности (как внутреннего содержания). Одновременно с этим существовала и существует по сегодняшний день, например, на Брестчине, автохтонная сельская (народная) культура, которая вбирала в себя элементы многих соседних культур.

Поэтому поиски национальной самотождественности авторами польско-белорусско-украинского Пограничья происходили как на базе своей этнической культуры, так и других культур, которые тоже уже были понятны и близки им. Достаточно вспомнить, что национальное самосознание А. Мицкевича, например, по мнению исследователей, было одновременно и выразительно польским по своему идейно-политическому звучанию и ориентации в творчестве на польский язык, и, безусловно, белорусским по своей эмоционально-психологической ментальности, сформировавшейся белорусским бытовым, языковым, фольклором, песенным мелосом поэта (Беларусіка–Albaruthenica 1994: 335). Сегодня уже очевидно и то, что творчество А. Мицкевича впитало элементы других европейских культур, которые стали ему родными, и отразило мультикультурное пространство Европы и мира.

Поэтому, исследуя феномен русскоязычной литературы белорусско-польского Пограничья, можно отметить сосуществование и взаимодействие в его рамках нескольких языковых систем,

ряда ментальностей, их традиций и множество этнических кодов, отразивших ситуацию мультикультурности.

А значит, литературу белорусско-польско-украинского Пограничья по праву можно назвать феноменальной, интегративной, ибо она демонстрирует читателю особенности поликультурного взаимодействия. Именно таким образом на белорусско-польско-украинском культурном Пограничье сегодня мирно сосуществуют, обогащая друг друга, разные культуры и этносы, развивая как белорусские историко-литературные традиции в целом, так и белорусско-польские отношения в частности. А обозначенные выше характеристики – симбиотичность, проблематичность национальной самоидентификации, консервативность духовных и социальных практик – вовсе не умаляет достоинств ни белорусской, ни украинской, ни польской культур и их значения для настоящих и будущих социальных процессов общеевропейского масштаба.

В самом деле, если вектор наших исследований обратить на идею единения всех людей, которая в глобализирующемся мире становится самой актуальной, то выясняется, что сегодня, при все нарастающем космополитизме культур – противоречивом, но неизбежном – опыт коммуникации белорусско-польского Пограничья может оказаться востребованным и поучительным. То, что в эпоху локально-национальных культур квалифицируется как определенный недостаток и ущербность, в современных условиях замены этноцентризма на антропоцентризм, в условиях стирания этнокультурных границ в мультикультурном пространстве, неожиданно проявляет свои позитивные и креативные стороны. Возможно, мультикультурная модель белорусско-польско-украинского региона как модель пограничного культурного и креативно коммуникационного сосуществования, окажется одной из продуктивных и значимых в глобализирующемся мире.

Современные белорусские русскоязычные художники слова говорят о культуре России, Беларуси, Польши, Германии, Эстонии. Русскоязычные поэты Брестчины органично вписываются в ее контекст, отражая широкий спектр тематики и проблематики: «прошлое и будущее», «связь времен», «единство природы и внутреннего мира человека», «смысл жизни», «духовный мир человека и чистота человеческого бытия», «единство славянства» – темы, проходящие сегодня сквозь всю разноголосую ткань поэтической современности. Они отразились и в творчестве русскоязычных поэтов Пограничья.

Обратимся к творчеству лишь двух авторов – Л. Красевской и Д. Ковалёва.

«Вся жизнь моя – хождение за границы...». Такие строки можно предпослать последнему сборнику поэтессы-брестчанки Любви Красевской «*На два голоса*» (Брест, 2009) (см.: Жигалова 2010: 33–40; 3–6; 8–16).

Первая часть «*Две Родины*» открывается одноименным стихотворением, которое является исповедью человека, волею судьбы оказавшегося вдали от своей этнической Родины. Ностальгические чувства приобретают в стихотворении дискурс философских рассуждений, размышлений о вечности прекрасного чувства патриотизма, верности родным пенатам, счастье свободы.

*Вспоминаю тебя... Кто тоскою по Родине лечится?
Ну, за что мне такая, такая зачем маета?
Я ответа прошу. Ностальгия – плохая советчица
Тем, кто в жизни меняет своих обитаний места.*

Поэтесса уверена, что именно на родине черпает человек истоки сил душевных. И где бы он впоследствии не жил, всё равно душа его остаётся здесь, в родных пенатах.

Название символично и тесно связано с судьбой поэтессы, её пониманием мультикультурности. Родилась Л. Красевская в Красноярском крае, русская по сути и духу. Но, судя по фамилии, её корни где-то здесь, в земле «Речи Посполитой». Осев в Бресте, поэтесса состоялась здесь как поэт и гражданин, но нет-нет да и обожжёт своё сердце воспоминаниями о далёкой Сибири, родине её плоти и духа. Не случайно в сборник вошло и стихотворение «*По-русски*»:

*Я родилась на том материке,
Куда упал метеорит Тунгусский.
Я говорю на польском языке,
А думаю... а думаю – по-русски.*

*Судить не стоит по одной строке –
Я в ней не вся, а только мыслей сгустки.
Пою на белорусском языке,
А думаю... а думаю – по-русски.*

*Груз бытия... а к Богу – налегке
На круг общенья избранный и узкий.
Молилась на церковном языке,
А думала... а думала – по-русски..*

Стихотворение начинается с описания её «малой родины» – маленького уголка земли на материке (обширного пространства суши, омываемого морями и океанами), «куда упал метеорит Тунгусский» (космическое тело, упавшее на Землю в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году). В этом высказывании читатель сразу обращает внимание на прописную букву в прилагательном Тунгусский. Вероятно, поэтесса сделала так потому, что это слово включает в себе обобщённый образ-символ России, Родины, Отчизны. Да и в синтаксическом отношении начало стихотворения представляет собой сложноподчинённое предложение, так как у автора и её лирической героини возникает необходимость выразить сложную связь прошлого и настоящего, единения «малой родины» (Красноярский край) и приобретённой, второй родины – Беларуси. Поэтому не случайно свой сборник поэтесса назвала «На два голоса».

Сильными позициями стихотворения «По-русски» является заголовок, первая и последняя фразы, указывающие на важность поэтического образа Руси. Ключевые слова «Сибирь» – «Польша» – «Беларусь» – «Бытие» – «Бог» – «Язык» позволяют с помощью подтекстовой информации (два голоса) определить доминанту, являющуюся темой стихотворения и указывающую на идею: петь на два голоса, по-русски и белоруски, по-польски и по-русски непросто, но такое пение лишь обогащает певца, завораживает слушателя...

Поэтесса ещё раз подчёркивает, что коммуникация в мультикультурном пространстве несколько отличается от общения в этнической однородной среде. И это понятно, ведь здесь нужно говорить так, чтобы тебя понимали, прислушиваться к языку окружающей среды и вживаться в инациональную культуру. На этом языке могут быть созданы и произведения, но всё же «мыслей стужки», идеи всегда рождаются на родном языке. И потому на каком бы языке ни говорила лирическая героиня, всё равно она думает «по-русски». Поэтому так чётко обозначена поэтессой основная мысль стихотворения – неразрывная связь внутреннего мира героини с малой родиной и родиной приобретённой.

Ретроспективный план стихотворения помогает понять вечность и неизменность проблемы не выбора, а единения. Своеобразна и фоника стихотворения. Обилие звонких согласных «р, м, н, з, б, з, в» ассоциируется с незабываемой, могучей, гордой, свободной сибирской землёй, с раскатами грома, с эхом в горах,

с бунтующими реками, о которых тоскует душа, хотя сердце уже давно принадлежит Беларуси.

Ассонанс (повторы гласных: *я, а, у, е, о, ю, и*) создают картину единения земель, единения славянских народов, общности языка, истории и культуры славян.

В ритме стихотворения наблюдается сбой, доказательство этому – постановка многоточия, подчёркивающего грусть по этнической родине и вечные мечты о ней. Постановка тире указывает ещё на одно важное качество лирической героини: почитание ею Матери-Земли и преклонение перед образом Земли белорусской и российской.

В произведении много знаменательных частей речи (существительных, глаголов, местоимений, прилагательных, наречий), что позволяет предположить, что автор рисует вполне реальную картину мира. Все глаголы, кроме глагола «судить», – личные, что указывает на доверительный исповедальный характер. Лирическая героиня вступает в диалог с окружающими и надеется на понимание. В то же время она обращается и к собственной душе, к своему «я», чтобы убедиться в правильности принятого решения.

В третьей строфе настроение меняется. Антитеза (груз бытия – к Богу налегке...) способствует логическому усилению мысли, предельно чётко обозначая связь явлений. Жизненная суета, активность в постижении мультикультурного Мироздания и спокойствие перед уходом в небытие. Такая концепция важна для поэтессы, ибо её творчество не исчерпывается только одним родным языком и культурой, «мыслей сгустки» строятся на знании разных культур, на постижении сиюминутного и вечного внутри нас. Это позволяет всегда говорить о самом сокровенном безмолвно, ненавязчиво, душевно и доверительно, петь о родине и народе, истории и традициях славян на «два голоса», понимая и принимая при этом разные культуры и наречия.

Так сложилось, что Любовь Красевская всегда оставалась в гуще культурной жизни России, Беларуси, а позже и Европы:

*Разлетелась душа на части:
На границы
И города,
На страницы,
На поезда...*

Это давало ей возможность постигать философию жизни россиян, белорусов и европейцев, формировать представление

о счастье и смысле жизни, о вечной и верной любви, о чести и достоинстве, петь о родине и её народе, истории и традициях:

*Пересмотрела прошлого страницы.
Ту книгу больше не хочу листать.
Вся жизнь моя – хождение за границы,
Вот почему так хочется летать.*

Стихи поэтессы в этом сборнике объединены одной концепцией: «На то она и судьба, чтобы понимать на всяком наречьи» (И. Бродский). Не удивительно, что Л. Красевская с любовью и нежностью говорит о Беларуси, Польше, Германии. В стихотворении “Белая Русь” лирическая героиня восхищается белой, чистой, святой землёй Белой Руси и поёт о ней тепло, спокойно, задушевно. Её вторая родина воспринимается поэтессой как что-то неземное, райское:

*Я в юности думала:
Петь надо громко, раздольно,
Вот только опыта, знаний и сил наберусь...
Но годы прошли.
Громко петь уже больно –
Пою о тебе задушевно, моя Беларусь.*

*К тебе, моя спокойная красавица,
Спешу вернуться отовсюду я.
Здесь лебеди зимой в реке купаются,
Пьют летом воду зубры из ручья.*

*Непостижимы тайны заповедные,
Необъяснима пуца чужакам.
– Смотри, смотри! – по небу знаки бледные...
Я здесь учусь читать по облакам.*

*Когда тебя своей коснулась драмою,
(За всё платила дорогой ценой) –
Ты обняла не мачехою – мамою.
Укрыла в холод, защитила в зной...*

*И на руках меня через ухабины,
Через болота, синие леса
Перенесла – прадедовы-прабабины
Услышать – через время – голоса.*

Пусть птица перелётная не плачется –
Такая, видно, выпала судьба:
В родных местах на время обозначиться.
Там пахла хлебом тёплая изба.

И песнями, и детским смехом полнилась,
И наливались соком карані
Но затерялась и не мне запомнилась
Простая радость светлая... Они

Когда-то здесь на этих землях ладили
Житьё-бытьё с мечтою пополам.
Ещё не все следы ветра загладили.
Не всё ушло. Сгорело – не до тла.

Ну, как отныне проживу на свете я
Без – Богом предначертанных – азоз?
Зов предков позапрошлого столетия
Услышан.
Я пришла на этот зов.

(Красевская 2009)

Несмотря на то, что Беларусь стала второй родиной поэтессы (“...пою о тебе задушевно, моя Беларусь!) и с ней связывает она свою надежду на будущее, всё же второй Родине отдано только сердце, а душа осталась в Сибири. В стихотворении “В Хакасской степи...” Л. Красевская пишет:

О, Белая Русь! Я теперь в твоих нервах и жилах,
И мне лицемерить некстати и не по годам.
Я сердце своё, пока бьётся, пока не остыло,
Тебе, с покаянной любовью, всецело отдам...
.....
А душу, в Сибири которую чуть не сгубила,
Я всё-же оставила, всё же оставила там.

В стихотворении “Посмотри мне в глаза...” Л. Красевская справедливо замечает, что /“...если есть у тебя две Родины – /То покоя нет ни в одной”.

Гордо звучат откровения поэтессы о том, что родина и любовь – это и есть две половинки, составляющие человеческое счастье. Она убеждена, что ни время, ни расстояние не властны над этим чувством. Неудивительно, что основу творчества поэтессы составляет восприятие мира в философских категориях: что есть

Родина, Любовь, Женщина; что есть сиюминутность и вечность Мироздания, Бытия.

Поэтесса говорит о культуре России, Беларуси, Польши, Германии, Эстонии, используя соответствующие языковые элементы. Так в стихотворении «Влодавское направление» перед читателем предстаёт белорусско-польское Пограничье, полиэтнический народ, его населяющий, слышен специфический язык с многоликим диалектом, такой близкий белорусам и полякам, представлена специфическая культура, в которой давно переплелись обычаи и нравы, традиции белорусского, польского, украинского и русского народов. Поэтесса подмечает, что несмотря на разницу культур, это мультикультурное пространство всё же сумело сохранить главное – единство душ, которое не ведаёт границ... К такому выводу приходит и читатель, знакомясь со стихотворением поэтессы:

*И я теперь легко и беззаботно
Судить не смею о земном пути –
Там жизнь сама укладывает плотно
И век, и день, чтоб их переплести.*

*Переплавлялись разговоры народа
Веками – в уникальные слова.
А через Буг – ни мостика, ни брода...
Страна другая – общая молва.*

*Всё те же «piaski», «laski» i «karaski»
Всё тот же ветер на две стороны
Осенние разбрасывая краски,
Предзимние окрашивает сны...*

*Вновь через реку видится мосточек,
Когда ещё не ведали границ...
По-над водою кружится листочек –
Одна из непрочитанных страниц.
Великой книги о великом прошлом.
Неясный зов мне душу бередит.
Нет очевидцев.
Кто будет допрошен?
Открытия какие впереди?*

Есть в её книге произведения, в которых мультикультурный пласт невелик и находится в подтексте. Но есть и такие, как на-

пример, стихотворение «*Alles gut!*» (в пер. с нем. «*Всё хорошо*»), которые почти целиком построены на культурологическом материале и иноязычных элементах.

Alles Gute, danke, heute, braun –
Притесняю свой язык родной.
Говорите, bitte, deutsche Frau,
Только, если можно, не со мной.

.....
Голубыми водами Донау
Алую студила в жилах кровь.
Deutscher Mann und auch deutsche Frau,
Я дарю вам память про любовь.

Интерязык и интер-культура создаёт в стихотворении особую атмосферу – радости и полёта души. Ведь известно, что языковых границ не существует для того, кто хочет быть понятым сам и стремится услышать и понять другого, ибо все души говорят на одном языке. И здесь читатель испытывает ощущение единения всех народов, потому что, несмотря на разные наречья, единым для всех народов остаётся язык души.

В мире Мефистофель есть и Фауст
И не Гёте в этом виноват.
Пусть хранит Господь Вас, deutsche Frau,
И виват, Германия, виват!

Поэтесса уверена, что все люди мира, женщины всех наций и народов – немки, польки, белоруски, русские – просто хотят быть счастливыми:

Две страны сошлись на Kuppelnaui –
Интересы женщин всех времён.
Швабские арийки, deutsche Frau
И славянский женский наш бомонд.

Художественное произведение у Л. Красевской является тем межкультурным медиатором, который помогает читателю формировать картину мира. Чужая, в данном случае, немецкая речь, присутствует здесь не как фон, а как элемент немецкой культуры, с которой поэтесса была знакома.

Обращается Л. Красевская и к тайне женского обаяния как к символу счастья и надежды, веры в великое предназначенье человека на земле. В стихотворении «*Женщина*» Л. Красевская сравнивает женщину и с благоухающим цветком, и с объектом восхищения для поэта, и с истоком любви, без которой померкнет жизнь.

Бог создал Еву из ребра
(На то, конечно, есть причины).
Рождением жизни и добра
В руках надёжного мужчины.
Благоухающий цветок.
Поэту – трепет вдохновенья.
Возвышенной любви исток
В веках. От мирсотворенья.

Талантливому поэту Дмитрию Михайловичу Ковалеву (1915–1977) органически присуще глубокое чувство Родины, общности славянских судеб, братства и дружбы народов. Об этом его стихотворение «Родился я и вырос на границе» (Ковалев 1982: 9).

Родился я и вырос на границе
России,
Украины,
Беларуси.
И у меня –
Друзья,
Сябры
И дружи,
Свет васильков, калин, берёз
В кринице.
И общие у стада пастухи.
И триязычные поэтов рубрики.
И будят на работу три республики
Единого колхоза петухи.
Три ратных брата:
Гомель,
Брянск,
Чернигов,
Лес партизанский –
И конца не видно.
И матери родная,
И нэнько ридна,
И мать родная –
Сколько лиц и ликов!
Славутич Днепр с его живой водою.
Огульный шлях –
Большак через плотину.
Ярило старину блюдёт едину.
И новь одна под красною звездою.

*Через своё любой народ понятен,
Как свет берёз, калин
И верб в кринице.
Я счастлив, что такими все границы
Увидит солнце дружества без пятен.*

Стихотворение воспринимается как прекрасное гражданское послание современникам-славянам, чьи судьбы так давно и прочно переплела история. Оно воспринимается и как предостережение от разрушения этого прочного единства душ и судеб.

Первая фраза уже свидетельствует об автобиографичности сказанного, доверительности авторского монолога, который будет произнесён.

Лирическому герою одинаково дорого всё, что связано с его малой этнической родиной, в которой прекрасно уживаются несколько культур. Такое мультикультурное пространство даёт возможность человеку любой культуры почувствовать здесь себя родным, так как люди тут дружны и живут в мире и согласии. Везде «сябры», «друзи», «друзья». Чувство сопричастности к родному краю, ответственности за его историю испытывает одинаково, как белорус, так и русский, и украинец. Родной Полесский край для всех согрет любовью матери-родины, неважно, что произносится она по-разному: «мать», «нэнька», «маци». Для усиления связи неразрывности человеческих судеб, которые сложились в ходе истории, автор использует триязычие: русский, украинский, белорусский, подчёркивая их славянское единство. Активно используются и топонимы (Гомель, Брянск, Чернигов), указывая на то, что здесь есть возможность каждому проявить свой талант. Лирический герой не скрывает своего чувства сопричастности к общей культуре Пограничья. Он счастлив, что «...такими все границы / Увидит солнце дружества без пятен».

Д. Ковалёв уверен, что каждый человек должен всегда помнить свои родные корни. В стихотворении «Родословная» он писал:

*Мать русская, отец мой белорус, –
Я вновь,
Как в Киевской Руси, един,
Как та вода, что пьём,
Хлеб, что едим...*

И далее:

*Мать русская, отец мой белорус –
Я не Иван, не помнящий родства!
Гордились родословными князья,*

*Бояре и дворяне: из корней!...
 Наш род и благородней и древней.
 И в нём державный труд Руси всяя!
 Купель моя! Зарницы Кобзаря,
 Бунт Аввакума
 И Купалы клич...*

Род...Родители...Родня...Родословная...Что общего в этих словах? Род – начало начал. Лирический герой стихотворения уже в самом начале хочет подчеркнуть, что своим рождением он обязан двум государствам и двум культурам, двум родам – белорусскому и русскому. Сильные позиции стихотворения подсказывают тему: мои корни, истоки моего рода. И идею – как важно каждому из нас уметь сохранить достоинство и честь своего рода. Личные местоимения («я», «мой» и т.д.) указывают на доверительность и исповедальность сказанного. Лирический герой гордится своими предками и их достижениями. Кольцевая композиция стихотворения лишь подчёркивает мысль о семейном круге, о семейной культуре, связанной с просвещением потомков, с семейными традициями. Д. Ковалёв вновь и вновь возвращается к своим истокам, с любовью описывает родной город, расположенный на границе трёх государств. Об этом его стихотворение «Ветка».

*Ветка...
 Зелёная Ветка!
 Выпадало нам видеться редко.
 Первый раз увидел,
 Как родился,
 А второй привелось –
 Как женился.
 Всё по свету.
 По белому свету.
 И тебя там, где был я, нету.
 Но бушлат мой – лишь знак бывшего.
 Узнаешь ли меня пожилого?
 Я медлительней стал и строже.
 Ты же стала ещё моложе.
 Всё, что в годы войны пережито,
 Под листвой молодой скрыто.
 Лишь чернеют в песке рыжевато
 Лапа якоря, хвост каната:
 Наводнение когда-то было –
 Староверскую пристань смыло,*

И теперь ветковчане наши
Староверами не зовутся.
Только в память об их вчерашнем –
Крепкий чай в фарфоровом блюде.
Только имя, данное метко,
У тебя неизменно, Ветка...
Будешь ты, мой безвестный город,
И в неблизком будущем молод.
В изобилии расплодится
В плёсах рыба,
В чащобах – птица.
Пионер, свесив ноги будет
Краснопёрок в затоне удить.
Я ж при встрече этой короткой
Буду лысый уже, с бородкой.
Стану, может, ещё степенней.
Но душою чёрствым не буду.
Солнцем в окна,
Ласточкой в сени
Ты являешься мне повсюду.
Всё не вечно
Под поясом млечным.
Время
Метит морщинами
Метко.
Но шумит по-весеннему
Вечно –
Вечнозелёная
Ветка.

Ветка – это небольшой белорусский городок на реке Сож. Природа родного Полесья, её росистые травы, чистые реки, речушки, пение птиц и еле слышный шум спелого ржаного поля будут сопровождать лирического героя, да и самого Д. Ковалёва всю жизнь, время от времени снова оживать в его простых и мудрых стихах. Вот что вспоминает белорусский поэт Пимен Панченко: «...первая наша встреча с Дмитрием Ковалёвым состоялась в августе 1939 года, когда он приехал в Минск на конференцию молодых поэтов. У нас была небольшая разница в возрасте. И судьба похожая. Он, как и я, был сельским учителем. Дима Ковалёв запомнился необычайной серьёзностью. Эта черта у него сохранилась на всю жизнь: он всегда серьёзно и сурово относился

к поэтической работе, был правдив, честен и бескорыстен, дорожил дружбой и проявлением даже небольшого, но искреннего внимания...» (Ковалёв 1982: 4).

Дмитрий Ковалёв пишет: «Люблю тебя я, родина, моя Ветка, люблю до стежки, до лугового озера, до деревца, до травинки, всё, что не делится, и никогда не денется. Иду и шепчу стихи... Они из меня льются. Так до зовущей тоски. Хочется на Сож, на стежки и тропинки детства. Как лёд плавёт, как вода прибывает – это так люблю. И столько лет уже об этом мечтаю».

Стихотворение «Ветка» – признание в любви родному городу. Это философское раздумье о судьбе старообрядческой Ветки, о её прошлом, настоящем и будущем. Заголовок формирует образ-символ. Человек – это лист на ветке дерева жизни, и пока живёт дерево, будут украшать его листки. Уже в первой строфе автор передаёт радость от долгожданной встречи со своей «малой родиной». Но если в первых строках мы слышим грусть и сожаление, то в последних строках автор, пройдя ещё раз по дорогам истории своего города, радуется её настоящему и уверенно заключает, что будущее его прекрасно. Он будет жить вечно, потому что родина – это основа жизни. Искренняя, доверительная беседа лирического героя с другом детства напоминает исповедь. Три временных пласта проходят перед читателем: «родился», «женился», «стал степенней». Правда, лирический герой видит свою родину уже с позиции своего возраста. И это даёт ему возможность переосмыслить историю родины, её культуру. А значит, понять и ценность межкультурной коммуникации.

Он сожалеет, что ветковчане «не зовутся староверами» и во многом уже утратили традиции предков. Далёкие времена оставили только название города и обычай пить чай из блюдца. Мать поэта была из старообрядцев, и потому эти обычаи он знал. Город всегда был известен не только тканями рушниками, музеем белорусского костюма, своими иконами, известными людьми. Весь мир узнал об этом городе после Чернобыльской трагедии.

Он благодарен истории за то, что она оставила это дорогое имя родному городу. Однако эта трагедия ставит под сомнение утверждение лирического героя о вечности своего родного города. Он хочет, чтобы зелёный цвет никогда не превращался в чёрный пепел, чтобы жизнь продолжалась. А она, как известно, держится на любви людей друг к другу, на их ответственности за содеянное.

Таким образом, русскоязычные поэты входят в духовную биографию читателя, становятся постоянными собеседниками,

помогая своим творчеством каждому находить ответы на сложные вопросы бытия. Поэтому, читая произведения русскоязычных поэтов, которые отражают всю сложность мультикультурного мировосприятия, понимаешь, как переплелись здесь людские судьбы, славянские миры и их культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамчук А. и др. Бяла Подляска – Брест. Неоткрытый Восток. Polska Turystyczna.pl. / А. Абрамчук, Е. Ветрова, А. Панько, Р. Зубкович. – Краков, 2008.
- Бабкоў І. М. Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнне ру[і]наў. / І. Бабкоў. – Мн.: Логвінаў, 2005. – 142 с.
- Беларусіка–Albaruthenica: Кн. 3: Нацыянальныя і рэгіянальныя культуры, іх узаемадзеянне / Рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 432 с.
- Жигалова М. П. Русскоязычная лирика Беларуси: жанрово-тематическая и стилиевая парадигма / М. П. Жигалова // Русский язык и литература, № 3. – Минск, 2010. – С. 33–40; № 4. – Минск, 2010. – С. 3–6; № 5. – Минск, 2010. – С. 8–16.
- Ковалёв Д. Кому что дорого. Лирика / Д. Ковалёв. – Минск: Мастацкая лitarатура, 1982. – 207с.
- Красевская Л. Н. На два голоса. Стихи и поэма / Л. Н. Красевская. – Брест: «Альтернатива», 2009. – 111с.
- Рубашевский Ю. Калядкі па-цярэспальскі / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест, № 9 от 2 февраля 2011. – С. 7.
- Суслова Т. И. Общечеловеческое и национальное в культуре: вызов глобализации / Т. И. Суслова // Общечеловеческое и национальное в философии: II международная научно-практическая конференция КРСУ (27–28 мая 2004 г.). Материалы выступлений. – Бишкек, 2004. – С.177–183.

Multicultural Picture of the World in Russian-Speaking Poetry of the Brestsko-Podlyashsky Border Zone

Summary

In the article the Russian-speaking poetry of the Brestsko-Podlyashsky border zone as the phenomenon of the Russian literature in multicultural space is analyzed for the first time. On the philological analysis of separate poems by L. Krasevskoy and D. Kovalyova, the picture of the world including traditions and mentalities of different people which were generated in social memory of multicultural space of the border zone, i. e. in the language which is a means of interaction between generations, cultures and civilisations, is considered.

Keywords: *multiculturalism, multilingualism, vitality, gemology, symbiosis.*

О. С. Качеревская, С. А. Валюлис

Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)

С. ДОВЛАТОВ. ЦИКЛ РАССКАЗОВ «ЧЕМОДАН»: ОНТОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ВЕЩЕЙ

В русском литературоведении конца XX – начала XXI века формируются новые возможности и принципы интерпретации текста, основанные на теориях диалога и текста М. М. Бахтина, на идеях системно-семантической организации художественного текста Ю. М. Лотмана. Дополнительные возможности интерпретации предлагает онтологическая поэтика. Исследователь Л. В. Карасёв в книге «Вещество литературы», выступая против теории «смерти автора», вводит понятие «текста-возможности», который существует «еще до момента, когда он впервые соприкасается с автором» (Карасёв 2001:20). Онтологически ориентированный подход к литературному произведению предполагает сотрудничество с текстом. В конечном счёте он наполняется энергией автора. Этот «энергичный» импульс Карасев называет «исходным смыслом». «Это, – отмечает он, – энергично-смысловая структура, которая может быть описана как нечто такое, что проходит через весь текст, не сводясь ни к сюжету, ни к стилю, ни к идее. Это не «про что» и не «как», а то, с «*помощью чего*» в тексте осуществляется и «что», и «как» (Карасёв 2001:20–21). Итак, исходный смысл – это онтологическое ожидание, сбывающееся в тексте.

Л. Карасёв формулирует и принципы онтологической поэтики: «<...> выбор наиболее эмблематичных ситуаций или эпизодов с целью выявления в них исходного смысла повествования для дальнейшего концептуального соединения их друг с другом» (Карасёв 2001:163–164).

Целью настоящей статьи является анализ онтологии и поэтики вещей в цикле рассказов С. Довлатова «Чемодан». Вещи в «Чемодане» являются центром, вокруг которого объединяются человек и вещи, особенности повествования, идейно-смысловая направленность текста. Опираясь на принципы онтологической поэтики, мы и должны установить, как вещи «Чемодана», создавая «исходный смысл», одновременно трансформируются и, меняя свой внешний облик, становятся составной частью художественного текста.

Рассказы цикла «Чемодан», за исключением «Куртки Фернана Леже», впервые появились в печати в 1985 году в журнале «Грани». К тому времени автор уже семь лет жил на Западе, в США. Но рассказы этого цикла, как и все, написанное Довлатовым, – об СССР. Название цикла рассказов и эпиграф, им предпосланный («Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». А. Блок), обозначили направление движения авторской мысли. Показательна в этом смысле эволюция выбора названия для цикла рассказов: «Воспоминания, которые следовало бы назвать – от Маркса к Бродскому». Или, допустим – «Что я нашёл». Или, скажем, просто – «Чемодан»... (Довлатов 1993: II, 249).

Согласно Л. Карасёву, «обыкновенно онтологический слой укрыт, растворён в многочисленных деталях повествования, однако бывает и так, что его контуры выходят на поверхность текста, сказываясь даже в названии» (Карасёв 2001: 208). Название «Чемодан» и является у Довлатова носителем «исходного смысла», так как это центр, вокруг которого всё собирается, объединяется.

Тема чемодана возникает с самого начала повествования в связи с отъездом героя за границу. Министерством установлена норма – три чемодана. «Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил:

- Три чемодана?! Как же быть с вещами?

- Например?

- Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей?

- Продайте, - не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмутив брови: - Если вы чем-то недовольны, пишите заявление» (Довлатов 1993: II, 247). Как видим, исходная ситуация абсурдна, а отношение героя к ней весьма иронично.

Но герою хватило и одного чемодана. Мотив дороги, пути, как сопутствующие слову «чемодан» смысловые коннотации, становятся структурообразующими. Это и реальные дороги, по которым ходит главный герой; дорога как предстоящий отъезд в Америку, некая проекция на ближайшее будущее; это и дорога воспоминаний – своеобразное путешествие в прошлое, на котором и строится весь цикл (дорога памяти как композиционный прием). Отметим, что память (воспоминания), воскрешающая прошлое героя-рассказчика, воссоздаёт не столько психологию его личной жизни, сколько социально-общественные сферы жизни. Поэтому можно сказать, что у писателя сильнее выражен не психологический, а онтологический аспект памяти. В повествовании воссоздаётся прошлая жизнь героя-рассказчика как факт

бытия. Ему предшествует итог, сформулированный в предисловии; безусловно, он связан с психологическими переживаниями и оценками. Именно поэтому расширяется символика пути, дороги, ассоциируясь с человеческой жизнью и судьбой. «Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропадающая, бесценная, единственная жизнь» (Довлатов 1993: II, 249).

Проанализируем символику итогового вывода о судьбе и жизни, что даст нам возможность определить «исходный смысл» всего цикла рассказов. «Пустота» чемодана, думается, символизирует первооснову всего сущего, которая заполняется разными формами человеческой жизни – это «бытийный горизонт», совмещающий материальный базис («на дне – Карл Маркс») и культуру («на крышке – Бродский»). Именно под их влиянием формируется жизненный путь человека. Итог собственной жизни героя беспощадно противоречив. Несомненно, жизнь для него является высшей ценностью («единственная жизнь»), но в то же время чувствуется горькая ирония по отношению к прожитому («пропадающая жизнь»). Примечательно, что восприятие жизни как неотменимого блага, цели («бесценная» жизнь) сопровождается иронией благодаря цепочке: «пропадающая, бесценная, единственная жизнь», так как прилагательное *бесценная*, по Далю, заключает в себе два смысла: неоценимый, дорогой, несравненный и малоценный, дешёвый. Однако ироническое отношение к жизненному бытию не отменяет идеи торжества жизни в творчестве Довлатова. Интересно, что метафизические размышления о сущности бытия отданы герою Фреду, «вещиству» и фарцовщику («Креповые финские носки»): «До нашего рождения – бездна. И после нашей смерти – бездна. Наша жизнь – лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности» (Довлатов 1993: II, 253). Но если для Фреда смысл и благо жизни в обогащении и наслаждении, то герой-рассказчик требует от других и от себя действенного, утверждающего отношения к жизни. Однако и тут рассказчик ироничен: «Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги!» Но сдержался. Всё-таки я пил за его счёт» (Довлатов 1993: II, 253). Этот рассказ открывает цикл «Чемодан».

Для автора рассказов важна не фиксация отдельных вещей, а восприятие и осмысление обобщающих форм вещей, их символический смысл. Вещи оказываются одним из важных факторов в выяснении отношений между фактом бытия и метафизикой. Каждая отдельная вещь имеет свою собственную внутреннюю

суть, именно она является элементом структуры повествования. Названия всех рассказов (например, «Номенклатурные полуботинки», «Зимняя шапка, «Офицерский ремень» и т.д.) символически овеществлены. Так утверждается самодостаточность вещи, её суверенность и одновременно включённость в бытие человека и общества. Поэтому вещь является уменьшенным образом мира.

Набор вещей в «Чемодане» весьма примечателен. Это – носки, ботинки, костюм, ремень, куртка, рубашка, перчатки и шапка. В таком порядке, как они расположены у Довлатова, вещи словно воссоздают – снизу вверх – образ человека без самого человека, «иноформу» человека. От рассказа к рассказу, по мере развития сюжета, эта форма заполняется содержанием. Сделав точкой отсчёта вещи из чемодана, герой-повествователь даёт нам возможность увидеть эти вещи с новой и неожиданной точки зрения. Кроме того, этот набор, по закону «вещевого притяжения», втягивает в текст все новые и новые вещи, каждая из которых может раскрыть свою историю и историю страны.

На основе взаимодействия с вещами человек выстраивает эмпирические и познавательные отношения с миром. По Бахтину, именно личность и вещь (а не материальное – идеальное) являются последними пределами бытия и познания, между которыми располагается всё разнообразие феноменов жизни (см: Бахтин 1979: 324–343).

Вещи в «Чемодане» у Довлатова не случайны: во-первых, они фокусируют внимание на человеке, который, согласно традиции, берущей начало в античной философии, может рассматриваться как мера всех вещей; во-вторых, они для автора важны не с точки зрения своих природных качеств и прямого назначения (как элементы одежды). Они оцениваются с точки зрения воплощённой в них деятельности человека. Так подчёркивается в них онтологический смысл – бытие вещей в человеческом процессе. В художественном повествовании они приобретают у Довлатова знаковый, символический смысл. Вещи в «Чемодане» маркируют разные формы бытия: природная форма (креповые финские носки, зимняя (кроличья) шапка), общественно-социальная форма (номенклатурные ботинки, офицерский ремень, шофёрские перчатки); человек как форма бытия (приличный двубортный костюм); культура как форма бытия (куртка Фернана Леже). Так вещи обретают онтологический смысл, а «Чемодан», таким образом, можно рассматривать как интегральный образ бытия.

Вещи в цикле рассказов «Чемодан» составляют онтологическую основу «видимых» сюжетов и оформляют их логику. Структурообразующая роль вещей здесь, как правило, проявляется опосредованно. Так, ни куртка Фернана Леже, ни поплиновая рубашка, ни шоферские перчатки никак не функционируют в сюжетах одноименных рассказов. Но «встреча» с вещью включает механизмы памяти, организующей повествовательную ткань новелл. «Вещи имеют свою ауру, атмосферу. Они намертво срастаются с какой-нибудь ситуацией <...>, вызывая обвал воспоминаний» (Сухих 1996: 196). Это относится ко всем частям довластовского цикла.

Однако степень функциональности вещи в рамках конкретных рассказов может проявляться в большей или меньшей степени. В рассказе «Зимняя шапка» шапок оказывается две, и каждая из них функционирует по-разному. Одна лежит в эмигрантском чемодане и, подобно куртке, рубашке и перчаткам, дает своеобразный толчок к воспоминаниям. В самом рассказе она появляется только в конце. После драки с неизвестным «богатырем» ее обладателем становится Борис, брат рассказчика Довлатова: *«Боря отдышался и говорит:*

– Я ему дал по физиономии. И он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка. И у меня свалилась шапка. Я смотрю – его шапка новее. Нагибаюсь, беру его шапку. А он, естественно, – мою. Я его изматерил. И он меня. На том и разошлись. А шапку эту я дарю тебе. Бери» (Довлатов 1993: II, 328).

Другая шапка, оставшаяся после финальной драки у неизвестного «богатыря», играет в рассказе роль сквозной детали. Все, что происходит в течение дня (покупка телевизора, посещение шашлычной, ресторана, бара и пр.), сопровождается передачей шапки: *«Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал»* (Довлатов 1993: II, 327).

Таким образом, «раздвоение» вещи свидетельствует о ее двойной функциональности: одна активна на уровне всей книги, другая – в рамках конкретного рассказа. Отметим, что в рассказах сборника Довлатов не сводит бытие вещей к сумме частных. Вещи – череда отражений истины, в данном случае жизненных этапов героя-рассказчика: студенчество, армия, работа в заводской многотиражке, в Пушкинском заповеднике, начало писательской деятельности, работа в редакции. Для него важным является вопрос о соотношении человека и данной ситуации его

бытия, а также необходимости выхода за пределы этой данности. Это и становится характеристикой бытия героя, которую он опосредованно формулирует как абсурд. Меняется поэтика вещи и её роль в повествовании.

Роль вещей в «Номенклатурных полуботинках» и «Приличном двубортном костюме» уже совершенно иная, они по-разному функционируют в композиции названных рассказов: в первом вещь организует кульминацию, во втором она функционирует на уровне завязки и развязки. Герой-рассказчик «Номенклатурных полуботинок» работает «в ДПИ (Комбинат декоративно-прикладного искусства)», который получает заказ «вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро». Текст композиционно распадается на две части: первая – рассказ о работе над памятником, вторая – о торжественном открытии станции метро. «Программа открытия была такая. Сначала – небольшой банкет для избранных. Затем – короткий митинг. Вручение почетных грамот и наград. А дальше <...> – по интересам» (Довлатов 1993: II, 267). Однако во время банкета рассказчик крадет из-под стола ботинки мэра, изменяя этим продуманный ход событий. «Я передвинулся на край сиденья. Вытянул ногу. Нащупал ботинки мэра города и осторожно притянул к себе <...>. Затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель» (Довлатов 1993: II, 249). Вслед за кульминацией следует стремительная развязка: чтобы не стать посмешищем, мэр симулирует недомогание, а рассказчик вместе со своими «учителями» уходит в «пивную на улице Чкалова».

В рассказе «Приличный двубортный костюм» функциональность вещи проявляется на уровне завязки и развязки. По предложению редактора газеты принимается «компромиссное решение»: если рассказчик подготовит «до Нового года три социально значимых материала», то редакция премирует его «скромным костюмом». Завязка определяет дальнейшее развитие сюжета – поиски Довлатовым-героем сначала узбека, потом народного умельца и в конце – многодетной матери. Они поочередно должны были стать героями его очерков, ни один из которых не состоялся. Однако, как замечает рассказчик, «костюм от редакции я получил». Случайное знакомство и общение со шведским журналистом вызывает к герою пристальный интерес со стороны КГБ. Майор Чилияев требует, чтобы Довлатов «непрерывно» пошел со шведом в Кировский театр.

«– Не могу, – говорю, – есть объективные причины.

– То есть?

– У меня нет костюма <...>.

– Почему же у Вас нет костюма? – спросил майор. Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты.

– Зарабатываю мало, – ответил я» (Довлатов 1993: II, 282).

Реплика редактора знаменует собой развязку в истории появления вещи:

« – Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества. Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом заехать во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать» (Довлатов 1993: II, 283).

Наиболее значимой функция вещи оказывается в «Креповых финских носках» и «Офицерском ремне». Здесь, как в гоголевской «Шинели» и «Тринадцати трубках» Эренбурга, вещи принадлежит структурообразующая роль. В экспозиции рассказа о носках Довлатов-герой знакомит читателей с ситуацией, в которой он оказался: любовь «стройной девушки в импортных туфлях» превратила героя в безнадежного должника. Желание выпутаться из этого положения и случайная встреча с Фредом Колесниковым делают Довлатова участником спекулятивной сделки. История покупки и неудавшейся продажи финских носков «жуткой гороховой расцветки» предопределила те ситуации, которые образуют повествовательную ткань всего рассказа. Герой встречает финок, поставляющих товар, едет с ними по указанному Фредом адресу; там всех встречает Рымарь. Сделка заключается после появления самого Фреда Колесникова. Однако реализовать товар участники этой сделки не успевают: «подлянка от социалистической экономики», когда вдруг оказывается, что все магазины «завалены креповыми носками», рушит все надежды. «Носки ... в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар» (Довлатов 1993: II, 259).

Происхождение каждой вещи в эмигрантском чемодане, как заметил в одном из писем сам автор, является «по идее <...> уникальным: фарцовка, кража, подарок <...>, театральные реквизиты и заграничная посылка» (Довлатов – Ефимов 2001: 348). Такой набор, несомненно, характеризует и самого рассказчика – балагура, порой неудачника, человека находчивого, не обделенного чувством юмора. Появление одних вещей связано со специфическими особенностями советской жизни (например, фарцовка в «Креповых носках»), других – с жизнью человека вообще. Однако все вещи довлатовского цикла историчны. Их появление в «Чемо-

дане» вписывается автором в контекст времени. Позднее это время назовут «эпохой застоя». Его атрибуты «рассыпаны» по всем рассказам цикла: погоня за импортными вещами («Финские креповые носки»), повсеместное воровство, запрограммированные показушные мероприятия («Номенклатурные полуботинки»), засилье «ленинианы» в разных ее проявлениях («Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка»), пьяные загулы, дружеские компании («Куртка Фернана Леже», «Зимняя шапка»), журналистские компромиссы («Приличный двубортный костюм») и многое другое.

Итак, вещи способны транслировать человеческий опыт во времени и пространстве. «Чемодан» – фиксация не отдельных вещей, у которых есть своя логика. Вещи у Довлатова содержат в себе познавательный парадокс: с одной стороны, вещи определяют ситуацию познания (помещённость героя в ситуацию), а с другой – автор отмечает факторы и причины, выходящие за рамки ситуации (например, в «Офицерском ремне»). Бытийный статус событий в «Чемодане» связан с вещами. Однако сами события зачастую представлены анекдотически.

В первых рассказах «Чемодана» анекдотическое начало ощущается очень сильно. В «Номенклатурных полуботинках» черты анекдота представлены очень ярко: это фрагментарность сюжета, сжатость характеристик и описаний, неразработанность характеров, лаконизм и точность словесного выражения, ключевая композиционная роль микродиалога (см.: Тюпа, 1989, 16–19). Как и во всех довлатовских рассказах вообще, текст «Номенклатурных полуботинок» вырастает из наращивания микросюжетов, скрепляемых образом автора. Такой способ создания текста и мотив памяти как структурообразующий принцип определяют нелинейное развитие повествования. Рассказ о ботинках начинается с признания героя: *«Ботинки эти я практически украл»*. В подобной заявке уже ощутим эффект неожиданности. Далее, вслед за анекдотом из жизни Карамзина, следует целый ряд анекдотических ситуаций на тему воровства как феномена российской жизни. Сообщив, что, демобилизовавшись, он устраивается в ДПИ, рассказчик делает еще одно анекдотическое отступление на тему скульптурного казуса: во время торжественного открытия памятника Ленину обнаруживается, что *«несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке»* (Довлатов 1993: II, 262). Вовращаясь к фабуле повествования, Довлатов представляет своих учителей – Цыпина и Лихачева. Эти

персонажи подаются автором как фигуры общего анекдотического ряда: «Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами.

При этом Лихачев выпивал ежедневно, а Цыпин страдал хроническими запоями. Что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае» (Довлатов 1993: II, 263). Парадоксально-ироничное определение усекает эти характеры до шаржа, превращая персонажей именно в героев анекдота. Шаржированность персонажей еще больше усиливается в диалоге: «Лихачев <...> восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку:

«– Вот ты говоришь – капитализм, Америка, Европа! Частная собственность!.. У самого последнего чучмека – легковой автомобиль!.. А доллар, извиняюсь, все же падает!..

– Значит, есть куда падать, – весело откликнулся Цыпин, – уже неплохо. А твоему засранному рублю и падать некуда...» (Довлатов 1993: II, 263).

Героem анекдота является и сам рассказчик, выступая участником анекдотических ситуаций и диалогов.

Из курьезных частных постепенно складывается и анекдотическая картина мира. Однако анекдот для Довлатова не самоцель, он становится способом выявления абсурда окружающей жизни. Мысль в довлатовском повествовании движется от одного микроабсурда к другому, выявляя ироническое отношение рассказчика и к окружающему миру, и к самому себе.

В «Куртке Фернана Леже» анекдот функционирует уже только как элемент повествовательной структуры. Если исходить из шукшинской классификации, то это уже рассказ-судьба (как и «Поплиновая рубашка»). События здесь не локализованы в определенном времени и пространстве. «Куртка Фернана Леже» – рассказ о всей жизни. Уже первая фраза задает рефлексирующий тон всего дальнейшего повествования: «Эта глава – рассказ о принце и нищем» (Довлатов 1993: II, 295). В «Куртке» текст движется не от ситуации к ситуации, но от одной «банальной истины» к другой. «Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность – незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким» (Довлатов 1993: II, 298), – к такому выводу приходит рассказчик, вспоминая детство. Однако собственный опыт бедности заставляет с горькой иронией заметить: «Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател» (Довлатов 1993: II, 298).

В первом рассказе цикла повествование тоже вначале движется от одного вывода к другому, но сами выводы там анекдотичны: *«Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает»; «Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка – преступна»; «Я заметил – когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик»* (Довлатов 1993: II, 250–251). В «Куртке Фернана Леже» и «Поплиновой рубашке» герою открываются уже другие истины. Он размышляет о *«социальных инстинктах», «о нищете и богатстве», «о жалкой и ранимой человеческой душе»,* о жизни и судьбе.

Дистанцирование главного героя от этих вещей может быть понято как своеобразный протест против нивелирования личности, желание противопоставить себя всеобщему порядку, обезличивающему человека. С другой стороны, дорога воспоминаний превращается в дорогу, по которой человек и вещи «движутся» навстречу друг другу, вступают в диалог, в ходе которого вещь перерастает свою вещность и начинает действовать в духовном пространстве. Таким образом, характерологичность вещей проявляется не сразу, но рождается постепенно, от рассказа к рассказу. Вне всего цикла эта особенность проявляется неполно. Отдельный рассказ представлял бы лишь ненужную вещь, не более того. В контексте целого цикла такое восприятие существенно корректируется, потому что циклизация позволяет выявить внутренне содержательно-проблемные связи рассказов.

Исходный смысл, заданный в начале повествования (в *Предисловии*), связан у Довлатова с абсурдностью происходящего и в жизни страны, и в жизни героя. Его можно выразить словами *«бессмысленность», «отчаяние», «анекдотичность», «ироничность».* Порядок их следования не важен, поскольку каждое из этих слов обнаруживает свой смысл в соотношении с разными вещами «Чемодана». Вещи оказываются ненужными лишь на первый взгляд и лишь с потребительской точки зрения. Однако рассказчик когда-то забрал этот чемодан с одеждой в эмиграцию, смутно ощущая его необходимость. Теперь его отношение к вещам характеризует не потребительский, собственнический, владельческий интерес, но то *«бескорыстное внимание, которое свидетельствует о выходе на осознание свершившегося прорыва в сферу духа. На этой грани высший долг, высшее бескорыстие ...в том, чтобы когда ни сама вещь, ни кто-либо иной не ждет возвращения долга, все-таки бросить взгляд должника на теперь*

уже ... душевно близкую вещь» (Топоров, 1995, 28). Возможность такой беседы с вещью свидетельствует об этом возвращении долга и о перемене в самом человеке. Поэтому от рассказа к рассказу накапливаются, усиливаются грусть и тоска, растворяя анекдотический «скелет» последних рассказов.

Таким образом, Довлатов утверждает, что человек существует не в отдельных актах со-бытия с людьми и вещами, а в последовательностях, переплетениях таких актов. Ему постоянно приходится переходить от отдельных вещей к их сцеплениям и тем самым «включаться» в системы и таких взаимосвязей, которые ему непосредственно не даны. Это и определяет онтологическое присутствие человека в мире, его отношения с бытием.

В художественном мире «Чемодана» именно вещь репрезентирует судьбу героя повествования, ибо она является знаком культурно-исторической эпохи и одновременно личностных отношений.

ЛИТЕРАТУРА

- Довлатов С. Собрание прозы в 3-х тт. / С. Довлатов. – Т. 2. – Санкт-Петербург: ЛимбусПресс, 1993.
- Довлатов Сергей – Ефимов Игорь. Эпистолярный роман / Сергей Довлатов, Игорь Ефимов. – Москва: Захаров, 2001. – 464 с.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – Москва: Искусство, 1979.
- Карасёв Л. В. Вещество литературы / Л. В. Карасёв. – Москва: Языки славянской культуры, 2001.
- Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба / И. Сухих – Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 1996. – 384 с.
- Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического / В. Топоров – Москва: Издательская группа Прогресс – Культура, 1995. – 624 с.
- Тюпа В. Художественность чеховского рассказа / В. Тюпа – Москва: Высшая школа, 1989. – 133 с.

A Cycle of Short Stories 'The Luggage' by S. Dovlatov: Ontology and Poetics of the Things Summary

The article points out that the things in 'The Luggage' are multifunctional as S. Dovlatov concentrates not only on ontology of the things but also places his focus on perception and contemplation over generalizing features of the things as well as their symbolic character in a literary text.

Things become an element of the narrative structure and make the ontological core of the 'visible' plots of the short stories. In parallel with that, empirical and cognitive relations between the world and the character are built on the character's interrelation with the things. The character ironically treats the absurdity of the social and public life.

Ontological poetics helps to define the way how, already being identified in the title 'The Luggage', the 'initial meaning' obtains semantic value in literary text of the short stories.

Keywords: *Dovlatov, 'The Luggage', things, a short story, ontological poetics, initial meaning.*

М. Б. Лоскутникова

*Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)*

ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ ИРОНИЧЕСКОГО МИРОВИДЕНИЯ В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ XIX–XX ВЕКОВ

Цель данной статьи состоит в рассмотрении принципов и приемов иронического изображения действительности в русской и английской литературах XIX–XX веков. Ирония понимается как категория поэтики и стилистический прием, а также как пафос (модус).

В основе понимания иронии лежит представление о ней как о типе мыслительной деятельности, что связано с именем Сократа. В понимании философа, ирония является принципом познания и используется как инструмент сомнения. Беседы Сократа – это «способ исследования философских, моральных и политических проблем» (Нерсисянц 1984: 45, 51–52, 54). С помощью наводящих вопросов философ выяснял границы знания и незнания собеседника; цель бесед состояла в том, чтобы от обсуждения конкретного и частного подвести к пониманию сущности явления. Исходя из принципа «Я знаю, что ничего не знаю», Сократ выстраивал ироничное отношение к человеческой мудрости. Утверждая существование объективной истины, философ умело направлял беседы к требуемому результату.

В области поэтики и литературной стилистики ирония примыкает к тропам и рассматривается как «случай контрастного преобразования семантики» (Григорьев 1987: 446). Ирония (греч. ειρωνία притворство) – прием скрытой насмешки. Она фиксирует противоречие, когда при формальном (внешнем) утверждении явления, качества или характеристики их наличие отрицается. Иными словами, притворно утверждается то, чего нет и не может быть. По А. А. Потебне, ирония – «отговорка, как предлог уклониться от чего-то; лукавое притворство, когда человек прикидывается простаком, не знающим того, что он знает» (Потебня 2003: 295). Эту мысль развивал и А. Ф. Лосев. Философ дал определение иронии, рассмотрев ее сквозь призму «взаимоотношений общего, выражаемого, и частного, выраженного»: «Иронично то выражение, которое выражает меньше,

чем надо, чем предположено выразить. Ирония – там, где выражено как раз это превосходство выражаемого перед самим выражением. В буквальном смысле выраженного содержится не то, что надо было выразить, и даже противоположное этому»; т.е. «ироническое выражение говорит “да”, когда хочет сказать “нет”, и говорит “нет”, когда хочет сказать “да”» (Лосев 1995: 134). Иронию, таким образом, характеризует двуплановость: при подчеркивании значительности – очевидна ничтожность; при внешнем позиционировании высокого, духовного – выявляется низкое, морально-несостоятельное; при утверждении широты интересов и их общественной актуальности – обнаруживается пустое прожектерство и проч.

Особенность иронии как явления стилистики заключается в том, что у нее иная природа иносказательности, нежели у метафоры, метонимии и других тропов. А. А. Потебня подчеркивал, что «ирония не однородна с тропами (синецдоха, метонимия, метафора)», поскольку она «может вовсе обходиться без образа». Свою мысль о том, что ирония «может обходиться вовсе без тропов», ученый иллюстрировал примерами иронических восклицаний «хорошо!», «как же!» и др. (Потебня 2003: 295, 299). Вместе с тем, утверждал А. А. Потебня, ирония «не исключает тропов, может быть антономасией /.../, метафорой, в частности аллегорией» (Потебня 2003: 295).

Интерес к иронии исторически неравномерен. Ирония как «индивидуально-инициативный смех», имеющий «отчуждающе-насмешливый характер» (Хализев 1999: 77), не могла быть востребована классицизмом. Романтическая эпоха, абсолютизовавшая идею внутренней свободы, напротив, осуществила развитие романтической иронии как универсально-иронического взгляда на мир, что было проделано и в художественной практике (в произведениях Л. Тика, Э. Т. А. Гофмана, Дж. Г. Байрона и др.), и в теоретических разработках (в трудах Ф. Шлегеля, К. В. Ф. Зольгера). По Г. В. Ф. Гегелю, исследовавшему историю и философию феномена, романтики превратили иронию в форму искусства (Гегель 1968: 67–74).

Среди жанров и жанровых образований у иронии есть приоритеты. С древнейших времен она широко представлена в жанре басни. В частности, в русской басенной традиции, развивающейся с опорой на классические античные и европейские образцы, в басне И. А. Крылова «Лисица и Осел» первая вопрошает второго: «Откуда, умная, бредешь ты, голова?», а в другой басне

(«Мышь и Крыса») крыловская Крыса убеждена, что *«Сильнее кошки зверя нет»* (Крылов 1996: 96, 65).

Пределно кратким жанром, востребованным иронией, является эпиграмма, которая в своем втором значении, т.е. как жанр лирики, отличается сатирическим содержанием и характеризуется наиболее малой для лирического рода жанровой формой. Так, в творчестве А. А. Ахматовой есть только одно произведение, созданное в этом жанре: «Эпиграмма» – 7-е стихотворение цикла «Тайны ремесла». Она начинается с риторических вопросов: *«Могла ли Биче, словно Дант, творить, / Или Лаура жар любви восславить?»*; в кульминационном третьем стихе заключено утверждение: *«Я научила женщин говорить...»*; в четвертом, финальном, стихе подводится итог деятельности разговарившихся поэтесс: *«Но, Боже, как их замолчать заставить!»* (Ахматова 1999: 199). Иронично представление о дамской болтовне, когда вместо способности говорить, т.е. нести выстраданное и продуманное, возникло и неумеренно, в понимании автора, развилось неумное, никчемное, неталантливое щебетанье. В результате ирония перерастает статус стилистического приема и становится идейно-эмоциональным принципом изображения определенных фактов действительности, т.е. пафосом (модусом).

На первый взгляд, ирония наиболее близка природе комического. Действительно, смеховая гамма реалистического, например, искусства многопланово демонстрирует возможности иронии. Так, изображая в романе «Евгений Онегин» провинциальное общество с его печальной ограниченностью интересов, А. С. Пушкин иронически обыгрывает мысль о том, что высокие (*«благоразумные»*) разговоры мужского общества (на деле сводящиеся к узкохозяйственной сфере, алкоголю, псовой охоте и сплетням: *«О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родне»*) имеют превосходство над дамским времяпровождением: *«Но разговор их милых жен / Гораздо меньше был умен»* (Пушкин 1975: 35). Иронические взгляды автор бросает и на героя и его образ жизни в Петербурге: *«Он три часа по крайней мере / Пред зеркалами проводил»*; убийственным сравнением завершается портрет героя: Онегин подобен *«ветреной Венере, / Когда, надев мужской наряд, / Богиня едет в маскарад»* (Пушкин 1975: 17). Таким образом, пушкинская ирония формируется за счет мнимосерьезного утверждения солидности, деловых качеств, широты интересов, индивидуально-личностной привлекательности героя и персонажей; формами ее воплощения становятся компо-

зиционный прием сопоставительных характеристик и средства художественной речи.

Насмешливый взгляд на мир присущ Н. В. Гоголю, в прозе и драматургических произведениях которого горстями разбросаны тонкие и точные ироничные замечания-детали. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» появляются *«тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских»* (Гоголь 1947: 207), а в повести «Невский проспект» молодая дама поворачивает голову *«к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу»* (Гоголь 1947: 211). Иронические приемы использованы Гоголем и в речи персонажей. Так, в комедии «Женитьба», *«совершенно невероятном событии в двух действиях»* (Гоголь 1947: 334), как указывает автор, претенденты на руку купеческой дочки Агафьи Тихоновны – отставной моряк Жевакин и отставной пехотный офицер Анучкин – ведут «значительные» разговоры, например, о том, как важно для жизни, тем более среди достоинств потенциальной супруги, знание французского языка. По убеждению Жевакина, в странах Западной Европы, в том числе на итальянском острове Сицилия, говорят по-французски. Свои «убеждения» Жевакин аргументирует впечатлениями из личного опыта, ведь корабль, на котором он служил, стоял у берегов Сицилии *«тридцать четыре дня»*, и он *«во все это время ни одного слова /.../ не слышал от них /жителей Сицилии/ по-русски»* (Гоголь 1947: 334). Отставной моряк делится наблюдениями: *«попробуйте скажите /.../: дай, братец, хлеба, не поймет, ей богу не поймет, а скажи по-французски: Dateci del pane или portale vino, поймет и побежит и точно принесет»* (Гоголь 1947: 343). Жевакин не понимает, что слышал итальянскую речь (*‘dateci del pane’, ‘portale vino’* – «дайте хлеба», «принесите вина»). Так Гоголь смеется над теми, кто судит о предмете, ничего в нем не понимая.

Другим примером может стать сцена из романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина», в которой показано мелкопоместное семейство, собирающееся на бал, когда горничная дочери транслирует маменьке животрепещущий вопрос: *«Барышня спрашивают, для большого или маленького декольте им шею мыть?»* (Салтыков-Щедрин 1980: 275). Щедринская ирония состоит в серьезности вопроса. В свете этого вопроса сцена оказывается решенной в ироническом ключе.

Однако справедлива мысль Г. В. Ф. Гегеля, который подчеркивал, что между комическим и иронией есть существенное различие. «Ирония истории» может носить трагический характер.

В таком случае в иронии представлен непримиримый конфликт, который не может в определенных общественно-исторических условиях получить позитивного разрешения. Так, в советской истории было выражение «отец народов» – в определении тирана и деспота; слово «миротворец» можно встретить в ироническом определении политического провокатора и разжигателя войны и др. Если обратиться к собственно художественным произведениям, то, к примеру, М. А. Шолохов, назвав свое произведение (в центре которого представлены события и судьбы периода войн и революций начала XX века) «Тихий Дон», усилил трагический пафос в жанре романа-эпопеи, актуализировав непримиримые противоречия как достаточно внешнего порядка – между природной красотой и социальными катастрофами, так и внутреннего – между исторически сформировавшейся ментальностью казачества и ее свободолюбивой доминантой в характере человека, с одной стороны, и обстоятельствами первой Мировой и Гражданской войн и российских революций, с другой.

Ироническое видение действительности и ее проблем позволяет вскрыть глубокие национально-государственные, общественно-политические, социально-нравственные противоречия. Самые разные по мироощущению художники используют иронию в противостоянии, например, социальной апатии, пассивности мировосприятия, паразитирующему образу жизни. Так, показывая дядю Онегина, «деревенского старожилу», как мнимо занятого человека, А. С. Пушкин раскрывает сферы его интересов: он *«Лет сорок с ключницей бранился, / В окно смотрел и мух давил»*; в его кабинете нет *«Нигде ни пятнышка чернил»*, а круг чтения сведен к календарю *«осьмого года»*; иронически-скорбная характеристика завершается словами: *«Старик, имея много дел, / В иные книги не глядел»* (Пушкин 1975: 31–32). И. А. Гончаров в романе «Обломов», создавая картину социально-психологического явления обломовщины, дал определяющий жизненные принципы обломовцев девиз: *«надо богу больше молиться да не думать ни о чем!»* (Гончаров 1972: 134). В результате на страницах художественных произведений возникают драматические и трагические откровения, облеченные в иронические одежды.

В иронизировании важен контекст, и ирония может стать сарказмом (греч. *sarkasmós*, от *sarkázo* рву мясо). Сарказм – это «ирония, соединенная с ядовитой насмешкой», «насмешка злобная или горькая» (Потебня 2003: 296, 303). Такой горько-ядовитый характер носит, например, в романе И. А. Гончарова «Обло-

мов» разговор главного героя и его гостя Пенкина, подвизающегося на ниве беллетристики. Переполненный гордостью Пенкин сообщает герою, что ратует «за реальное направление в литературе» (идеология которого в российской действительности была связана с деятельностью В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова) и написал рассказ «о том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам», на что Обломов саркастически замечает: «Да, это в самом деле реальное направление» (Гончаров 1972: 26).

Такой глубокий критический взгляд на национальную действительность характерен для высокоразвитых культур. Иронический взгляд на мир, в частности, присущ целому ряду английских писателей.

Одним из высоких примеров является роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». В оценке Кукольника (повествователя) возникают сцены из жизни высшего общества на исходе первой половины XIX века. Например, семейство сэра Питта Кроули – «милое семейство», в котором правят «скарденность», «сутяжничество», потребность участвовать «во всевозможных спекуляциях» (Теккерей 1976: 101–103). Раскрывая смысл иронической метонимии «милое семейство», Кукольник бросает целую россыпь обвинений, в том числе негодует: «Багровая лапа сэра Питта Кроули готова была полезть в любой карман, только не в его собственный» (Теккерей 1976: 101).

Бекки Шарп становится органичной частью этого семейства. Получив право называться миссис Родон Кроули, Ребекка оказалась «достойной» парой своему мужу. Покинув гвардию, Родон продал свой патент, и «усы и чин полковника, обозначенный на визитной карточке, – это все, что осталось от его военного звания» (Теккерей 1976: 419–420). Однако, насмешливо размышляет Кукольник, «когда мы говорим о джентльмене, что он живет роскошно неизвестно на что, мы употребляем слово “неизвестно” для обозначения чего-то неизвестного **нам**, желая дать понять, что мы не знаем, из каких источников наш джентльмен покрывает свои расходы» (Теккерей 1976: 420). В результате Кроули иронически уподобляется «великому полководцу», действующему «с паразитическим искусством и смелостью» (Теккерей 1976: 421) в доступных ему сферах – за бильярдным и карточным столами.

Дж. Голсуорси в создании развернутой картины викторианской и поствикторианской Англии в «Саге о Форсайтах» одной из центральных фигур сделал Сомса Форсайта: «Если Сомс во что-

либо верил, так это в “английский здравый смысл”, то есть в умение тем или иным путем сохранить собственность» (Голсуорси 1983: III, 43). Однако писателю было важно показать, что его герои – семья Форсайтов, принадлежащая к «великому классу собственников», семья, для которой «чувство собственности» является «пробным камнем» сущего (Голсуорси 1983: I, 174, 234), – представляет собой круг людей, среди которых есть и непривычно для этой среды мыслящие личности. Даже при очевидном обладании фамильной приметой – форсайтским подбородком, символизирующим твердость принципов на избранном пути, – уже во втором поколении семьи у молодого Джолиона (сына старого Джолиона – «эмблемы своей семьи, класса, верований»), несмотря на «явно форсайтский характер» и лицо, представляющее собой «копию отцовского», – «иронический тон» и «ироническая маска» (Голсуорси 1983: I, 57, 56, 55). Уже при первом представлении молодого Джолиона – человека, посмеявшегося пойти своим путем и ставшего художником, Голсуорси подчеркивает, что особенностью мировидения этого романного героя является то, что «он был далеко не чужд иронии» и всё для него «имело иронический оттенок» (Голсуорси 1983: I, 57).

Молодой Джолион делится с Филиппом Босини своими мыслями: «Все мы, конечно, рабы собственности /.../ жены, дома, деньги, репутация – вот это и есть печать Форсайта», и Форсайты, с горечью констатирует он, не просто «половина Англии», а лучшая ее половина – с трехпроцентными бумагами (Голсуорси 1983: I, 220). При этом ироническое мировидение не исчерпывается сознанием молодого Джолиона. Повествователь поддерживает мнение героя и подкрепляет его массой характеристик и портретов. Так, например, тетка Филиппа Босини, не связанная никакими кровными узами с Форсайтами, но идеологически всецело разделяющая их представления о мироздании, с помощью средств иронической метонимии названа «одной из старших жриц в храме форсайтизма» (Голсуорси 1983: I, 234).

Похороны королевы Виктории показаны глазами молодого Джолиона, ставшего уже немолодым и присутствующего при этом событии со своей женой Ирэн. Голос повествователя и голос молодого Джолиона сливаются в один: «шестьдесят четыре года покровительства собственности /т.е. годы правления королевы Виктории/ создали крупную буржуазию, приглаживали, шлифовали, поддерживали ее до тех пор, пока она манерами, нравами, языком, внешностью, привычками и душой почти перестала отличаться от

аристократии. Эпоха, так позолотившая свободу личности, что если у человека были деньги, он был свободен по закону и в действительности, а если у него не было денег – он был свободен только по закону, но отнюдь не в действительности; эпоха, так канонизировавшая фарисейство, что для того, чтобы быть уважаемым, достаточно казаться им. Великий век, всеизменяющему воздействию которого подверглось все, кроме природы человека и природы вселенной» (Голсуорси 1983: II, 267).

Действительно, для Форсайтов даже Библия – всего лишь «большое подспорье», а в изображении кабинета профессионального книгоиздателя Тимоти Форсайта (в главе с символическим названием «Мавзолей») подчеркнуто, что на одной стене «вместо книг – полки с фальшивыми корешками» (Голсуорси 1983: II, 281, 363). Женившись на молодой и красивой Аннет, Сомс, ставший коллекционером произведений изящного искусства, сделал приобретение для своего собрания – не больше. В результате всепоглощающе любимая им единственная дочь охарактеризована повествователем следующим ироническим ложно-поддерживающим образом: «Глагол “иметь” Флер всегда инстинктивно спрягала с местоимением “я”» (Голсуорси 1983: III, 125).

В «Современной Комедии» («второй части Форсайтской хроники» (Голсуорси 1983: III, 175)) размышляюще-критическое отношение повествователя и молодого Джолиона к действительности разделяет Майкл Монт, муж Флер, человек, прошедший первую Мировую войну. В форме несобственно-прямой речи Майкла звучит рассуждение о феномене английского дельца: «Если человек не знает толком, что происходит в душе его собственной жены в его собственном доме, как он может прочесть что-нибудь по лицу чужого человека, да еще такого сложного типа – английского дельца? Если бы только жизнь была похожа на “Идиота” или “Братьев Карамазовых” и все бы во весь голос кричали о своем сокровенном “я”!» (Голсуорси 1983: III, 349). Майкл, таким образом, сравнивает страсти, кипящие в окружающей среде, со страстями в романах русского писателя, признанных максимально полно передающими изломы человеческой души и все ее, даже тайные, движения, и приходит к парадоксальному, на первый взгляд, выводу: английская сдержанность по накалу страстей – это гораздо больше, чем Достоевский.

С. Моэм в романе «Луна и грош» идет скорее путями язвительно-саркастического Теккерера, чем размышляющее-ироничного Голсуорси. В произведении повествуется о неординарной

судьбе великого художника, по имени Чарльз Стрикленд. Так, в ироническом отношении к тем, кто окружал героя, писатель использует прием, когда из целого вырвана часть и объявленное правдой является ложью. Моэм высмеивает «*мелкие погрешности против истины*»: сын художника «*поступил опрометчиво*», когда в ходе судебного процесса сослался на письмо, в котором его отец назвал его мать «*достойной женщиной*», поскольку это была фраза, вырванная из противоречащего ей по содержательно-эмоциональной направленности письма, гласившего: «*Черт бы побрал мою жену. Она достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду*» (Моэм 1983: 9).

Нельзя не отметить, что бок о бок с иронией в словесном искусстве идет пародия (греч. *parōidia* перепев) – сатирическая стилизация, осуществляемая с помощью фиксации парадокса, а также с помощью гиперболизации и приемов гротескового видения мира. А. А. Потебня был убежден, что пародия – это «расширение кругозора литературы». В качестве примера пародийного перепева исследователь привел цепочку высказываний, в которой каждое последующее пародирует предшествующее: «Государь император соизволил всемилостивейше благодарить Георгиевских кавалеров за молодецкую службу»; «Министр юстиции изволил благодарить чинов судебного ведомства за ухарскую службу»; «Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение»; «Архиерей – настоятеля N-ой церкви за бравое и хватское исполнение им обязанностей» (Потебня 2003: 305). Однако вопрос о сатирической и несатирической стилизации требует отдельного разговора.

Таким образом, ирония призвана обнаруживать и вскрывать разноплановые противоречия. Эти противоречия могут носить комический характер (при юмористической, сатирической, саркастической и др. окраске изображаемого) и вызывать у реципиента соответствующую смеховую реакцию. Однако полифункциональная специфика иронии позволяет выявить противоречия, которые могут носить и драматический, и непримиримый трагический характер. Эти особенности иронии и как явления литературной стилистики, и как пафоса (модуса) широко воплощены в европейской художественной культуре, в том числе в русской и английской литературах.

ЛИТЕРАТУРА

- Ахматова А. А. Собр. соч.: В 6 т. / А. А. Ахматова. – Т. 2: В 2 кн. Кн. 1. – Москва: Эллис Лак, 1999.
- Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. – Т. 1. – Москва: Искусство, 1968.
- Гоголь Н. В. Избранные произведения / Н. В. Гоголь. – Москва; Ленинград: ГИХЛ, 1947.
- Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах: В 4 т. / Дж. Голсуорси. – Пер. с англ.; под общ. ред. М. Ф. Лорие. – Москва: Правда, 1983.
- Гончаров И. А. Обломов / И. А. Гончаров. – Собр. соч.: В 6 т. – Т. IV. – Москва: Правда, 1972.
- Григорьев В. П. Тропы / В. П. Григорьев. // Литературный энциклопедический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1987.
- Крылов И. А. Басни / И. А. Крылов. – Ленинград: Лениздат, 1996.
- Лосев А. Ф. Форма. Стил. Выражение / А. Ф. Лосев. – Москва: Мысль, 1995.
- Мюэ С. Луна и грош / С. Мюэ. – Луна и грош. Театр. Рассказы. / Пер. с англ. Н. Ман. – Москва: Правда, 1983.
- Нерсесянц В. С. Сократ / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Наука, 1984.
- Потебня А. А. Из записок по теории словесности // Потебня А. А. Теоретическая поэтика. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ; Москва: Издательский центр «Академия», 2003.
- Пушкин А. С. Евгений Онегин // А. С. Пушкин. – Собр. соч.: В 10 т. – Т. 4. – Москва: Художественная литература, 1975.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Правда, 1980.
- Теккерей У. Ярмарка тщеславия / Теккерей У. – Собр. соч.: В 12 т. / Пер. с англ.; под общ. ред. А. Аникста, М. Лорие, М. Урнова/. – Т. 4. – Москва: Художественная литература, 1976.
- Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – Москва: Высшая школа, 1999.

Principles and Methods of Ironic Vision of the World in Russian and English Literature of the 18th-20th Centuries

Summary

The article discusses principles and methods of ironical, including sarcastic, imaging of reality in Russian and English literature of the 19th-20th centuries. Works by I. A. Krylov, A. S. Pushkin, N. V. Gogol, I. A. Goncharov, A. A. Akhmatova, W. Thackeray, J. Galsworthy, S. Maugham and others have served as basis for this consideration. The irony is understood as a category of poetics as well as a stylistic method and pathos (modus).

Keywords: *irony, sarcasm, the comic, the dramatic, the tragic, Russian literature and English literature.*

А. Н. Неминуций

*Даугавпилский университет
(Даугавпилс, Латвия)*

ЧЕХОВСКИЕ «ГАМЛЕТЫ»

«Русский» Шекспир и, прежде всего, его трагедия «Гамлет» заявляют о себе, начиная с опыта А. П. Сумарокова, «переложившего» в 1748 г. одну из самых известных пьес английского драматурга не столько на родной язык, сколько на язык эстетических канонов классицизма. Справедливости ради надо отметить, что Сумароков создал по сути дела собственный текст, в котором были использованы только отдельные шекспировские мотивы (Захаров 2008: 74–78). Тем не менее, и в дальнейшем именно эта трагедия и ее главный герой будут постоянно находиться в фокусе внимания русской культуры и литературы.

Первые полноценные русские переводы шекспировских текстов появятся только в начале XIX века, тогда же к ним в разной связи начнут обращаться В. К. Кюхельбекер, К. Ф. Рылеев, А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев, наконец, А. С. Пушкин, который в своем «Послании к Дельвигу» (1827) сравнивает Е. А. Баратынского с принцем Датским и впервые употребляет имя Гамлета уже в нарицательном смысле. Кроме того, давно были замечены несомненные ассоциативные связи между шекспировской драматургией и «Борисом Годуновым» (Алексеев 1972: 252–256).

Значение Шекспира особенно возрастает в 30–50–е годы XIX века. Несомненным событием в это время становится сценическое воплощение «Гамлета» в переводе Н. А. Полевого (1837) с П. С. Мочаловым (Москва) и В. А. Каратыгиным (Петербург) в главной роли. Тот же герой привлек внимание И. С. Тургенева, который сначала в очерке «Гамлет Щигровского уезда» (1848), а затем в концептуальной речи, превращенной позже в статью «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), обозначил у шекспировского персонажа признаки «лишнего человека». С точки зрения Тургенева, все люди принадлежат к одному или другому из выделенных типов. Некоторые существуют для своего собственного «я», это эгоисты, как принц Датский, другие, наоборот, живут для своих ближних с альтруистической установкой, как рыцарь Ламанчский. Симпатии писателя при этом явно на стороне последнего из вариантов жизнеустройства (Тургенев 1979: 193–210). Кроме того,

в апреле 1864 года русский писатель подготовил к трехсотлетию юбилею английского собрата еще одну речь о Шекспире, где подтвердил высказанные ранее соображения.

Картина рецепции Шекспира в русской культурной и литературной парадигме заметно изменяется в 70–е годы позапрошлого века. Известный литературный критик П. В. Анненков в 1874 г. первым использовал понятие «русский гамлетизм», которым он обозначил противоречие между духовными запросами русского общества и его политическим бесправием. Таким образом, акцент восприятия шекспировской трагедии и ее главного героя как бы сместился из сферы эстетической и бытийно-философской в смысловое поле актуальных социально-психологических проблем. Не случайно «гамлетовский вопрос» активно дискутировался в народнической критике и публицистике (П. Лавров, П. Якубович), причем авторы видели в принце Датском едва ли не политического единомышленника, который бросает вызов некоей системе, но оказывается не готовым к борьбе индивидуалистом, к тому же, не понятым народом, что и предопределяет его гибель. Кстати, подобным образом был интерпретирован и тургеневский Нежданов, главный герой романа «Новь».

Особую, причем специфическую популярность гамлетовские мотивы и сама пьеса приобретают в 80–90–е гг., когда признаки кризиса социума становятся очевидными для всех. Одним из проявлений отмеченной востребованности было то, что трагедия Шекспира в это время фактически не сходит со сцены как столичных, так и провинциальных театров (См. об этом: Шекспир и русская культура 1965: 246–311). Данный период, как известно, совпадает со временем дебюта и активной литературной деятельности А. П. Чехова. Собственно говоря, тема «Чехов и Шекспир» освоена уже несколькими поколениями литературоведов. При этом основной акцент делался на выявлении связей и совпадений разного уровня, определении степени близости текстов русского писателя и его великого предшественника. Вместе с тем, представляется, что отношения двух художественных миров строились по более сложному принципу притяжения-отталкивания.

Сразу следует отметить, что хотя Чехов не мог читать Шекспира в оригинале, с его драматургией был достаточно хорошо знаком по переводам. В библиотеке ялтинского дома-музея Чехова хранятся три перевода «Гамлета» (Н. Л. Полевого, А. И. Кронеберга и К. Р.), а, кроме того, «Макбет» того же А. И. Кронеберга и «Король Лир» А. В. Дружинина с многочисленными пометками

владельца. Несомненно и то, что другие пьесы Шекспира также были хорошо известны Чехову, прежде всего такие, как «Отелло», «Венецианский купец», «Ромео и Джульетта». Попутно следует отметить, что упоминание английского драматурга и его текстов в чеховском эпистолярном по частоте превосходит обращение к именам Пушкина и Тургенева.

В ранних юмористических рассказах и переписке Чехова драматургия Шекспира (преимущественно опять-таки «Гамлет») присутствует в основном на уровне фрагментарного цитирования: «О, женщины, ничтожество вам имя!», «как сорок тысяч братьев», «башмаков она еще не износила» и т.п. Особенно выделяет и чаще других цитирует Чехов фразу из монолога Гамлета, обращенного к мертвой Офелии – «любил, как сорок тысяч братьев», причем никогда не воспроизводит слово «любил». Более того, он подвергает шекспировский текст трагическим видоизменениям, например, «напился, как сорок тысяч сапожников».

В более развернутом и уже серьезном варианте гамлетовский мотив обнаруживается в пьесах Чехова «Иванов» (1887) и «Чайка» (1896), что, разумеется, не могло быть не замечено исследователями (См., например: Шах-Азизова 1994: 268–277). В «Иванове» параллели с Гамлетом заявлены неоднократно и открыто, включая и самопризнание главного героя, который, тем не менее, упомянутую связь отрицает. В авторском видении этот персонаж все же с Гамлетом ассоциируется, хотя совершенно специфическим образом. Если герой Шекспира – личность исключительная, нравственно состоятельная, снабженная комплексом великих идей, то в Иванове Чехов, начиная с фамилии персонажа, акцентирует всеобщность, всеословность (Катаев 1989: 121). Это «обыкновеннейший», по характеристикам самого автора, просто «хороший человек», «ничем не замечательный», «натура честная и прямая», но наделенная «рыхлым мозгом», «нервной рыхлостью и утомляемостью» (Чехов 1976: 109–113). Трагедия персонажа во многом заключается в том, что ему не по силам сделать что-либо ради других, измениться самому. Герой проводит параллель между собой и работником Семеном, который надорвался, хвастаясь своей силой. С Ивановым происходит то, что могло и может произойти со всяким человеком (во всяком случае, со значительным большинством), живущим в кризисное, переходное время. Структура и динамика поведения персонажа должна была наводить на мысль об основной, наиболее распространенной ситуации эпохи, а драматургическую конструкцию, восхо-

дящую к шекспировской пьесе, Чехов использует для анализа сознания «среднего человека», хотя к нему, пусть и с оговорками, все-таки можно применить слова Гамлета о том, что он слишком сложный инструмент, чтобы играть на нем.

Чеховеды также не раз отмечали, что некоторые функции персонажей «Гамлета» перекликаются с функциями действующих лиц «Чайки». Так, например, уже с самого начала пьесы драматург Треплев соотносит себя с Гамлетом, а мать и Тригорина – с Гертрудой и Клавдием. Разыгрываемый в дачном театре спектакль под руководством Треплева сопоставим с представлением бродячими актерами пьесы, которой руководит Гамлет (Смиренский 2004). В первом действии «Чайки» в словах Треплева звучит его сыновняя (гамлетовская) ревность, и на всем ее протяжении Константин страдает от нелюбви и непонимания матери. Однако драма героя становится совершенно невыносимой, когда он узнает, что у Нины начинается роман с Тригориным. Удачливый соперник мало того, что по существу замещает на супружеском ложе отца Треплева, но еще и не прилагая никаких особых усилий, отнимает у начинающего драматурга Нину, то есть отбирает у него и «Офелию». Охлаждение Нины Треплев переживает как измену, и здесь опять возникают ассоциации с трагедией Шекспира. Стремясь хоть как-то дискредитировать Тригорина в глазах Нины, Треплев иронизирует: *«Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. (Дразнит.) «Слова, слова, слова...»* (Чехов 1978: 28). Однако при всех вызывающих сочувствие метаниях этого персонажа и его не прекращающихся до последнего мучительных размышлениях, он, конечно, может восприниматься только как «закавыченный» Гамлет.

Но если Иванов и Треплев, лишённые гамлетовской масштабности, все же с ним соотносятся хотя бы по принципу неоднозначности и склонности к рефлексии, то целый ряд персонажей прозы Чехова 80-90-х гг. не дотягивают даже до уровня Гамлета в кавычках. Специфику подобного рода прототипов литературных персонажей актуализировал современный Чехову критик Н. К. Михайловский, который еще в начале 1880-х гг. опубликовал статью с явно саркастическим названием – «Гамлетизированные поросята» (1882). Сохраняя, при достаточно критическом отношении к противоречиям Гамлета, уважение к нему как к «очень крупному человеку», он утверждал: «...не Гамлет нас здесь интересует, а некоторые его копии...» (Михайловский 1897: 686). Одна из таких копий в классификации Ми-

хайловского – «гамлетик», т.е. «тот же Гамлет, только поменьше ростом» (Михайловский 1897: 687). На порядок ниже в интерпретации Михайловского располагается – «гамлетизированный поросенок», псевдо-Гамлет, самолюбивое ничтожество, склонное «поэтизировать и гамлетизировать себя»: «Гамлетизированному поросенку надо ... убедить себя и других в наличии огромных достоинств, которые дают ему право на шляпу с пером и на черную бархатную одежду» (Михайловский 1897: 687).

Еще дальше пошел критик Н. А. Рубакин, несколько позже опубликовавший свой очерк «Размагниченный интеллигент», где некоторые гамлетовские признаки не просто гипертрофированы, искаженные временем они перерождаются в гротескно-комическую характеристику. В очерке приведен даже некий стихотворный «манифест» подобного типажа:

*Я каждый день обедаю:
Какой в том смысл – не ведаю!
Я каждый день читаю:
К чему - не понимаю!
Я также не могу понять,
Зачем хочу я ночью спать.
Я каждый день хожу, сижу
И цели в том не нахожу.
Мне ничего не надо –
Ни рая и ни ада.
Противны мне до смерти
И ангелы, и черти.
Гоню я прочь в три шеи
И чувства, и идеи.
Мне смерти б не хотелось,
Но жизнь весьма приелась.
Я, право, сам не знаю –
Живу иль умираю*

[Рубакин 1900: 330].

Версии типов, структурно близких к названному, представлены во многих юмористических рассказах Чехова 1880–х гг. (как, например, в «Мыслителе»), но в наиболее концентрированном варианте – в фельетоне «В Москве» (1891), где персонаж с говорящей фамилией Кисляев произносит монолог-саморазоблачение: «Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям и всюду говорю одно и то же: – Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!»; «Есть жалкие люди, которым

льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это – позор!» (Чехов 1977: 500). Изображающий рефлексию Кисляев даже пытается установить диагноз своей парализующей волю «болезни»: невежество, самомнение, зависть к более удачливым людям – хотя некий потенциал «московского Гамлета» все же обозначен – он «мог бы учиться и знать все»: *«Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!»* (Чехов 1977: 507). Видимо, поэтому в фельетоне дважды повторен совет, данный герою незнакомым раздраженным господином: *«Ах, да возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьте ее на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать!»* (Чехов 1977: 500). Но «московский Гамлет», а точнее «гамлетик» или «гамлетизированный поросенок» обнаруживает полную неспособность найти выход своей рефлексии, на который все-таки решаются «гамлеты» Иванов и Треплев. Очевидно, истинный Гамлет в представлении Чехова не может быть замещен никаким, а тем более комическим двойником. Кстати, отзываясь на одну из постановок шекспировской трагедии в очерке «Гамлет» на Пушкинской сцене» (1882), он отметил в главном герое именно те черты, которые двойнику не свойственны: *«Гамлет не умел хныкать. Слезы мужчины дороги, а Гамлета и подавно...»* (Чехов 1979: 20).

Безусловно, тема чеховских версий датского принца весьма сложна и включает множество самых разных аспектов. Но в свете сказанного можно констатировать, что своими «гамлетами» и «гамлетиками» Чехов откликается на ситуацию, порожденную эпохой 80-х – 90-х гг. позапрошлого века с ее тотальным измельчанием, утратой внятных ориентиров, разочарованием в сложившихся моделях поведения, которые диктовались, в том числе, предыдущим культурным и идейным опытом. По большому счету, Чехова в большей мере интересуют не столько «гамлеты», сколько «гамлетики», как весьма красноречивый маркер «вывихнутого» времени. В этих опытах присутствует стремление проанализировать наиболее общие просчеты и ошибки в плане выбора перспективы существования на уровне «среднего» и массового сознания, самоощущения человека кризисной эпохи. Версия рецепции Гамлета у Чехова в каком-то смысле завершает процесс «десакрализации» шекспировского героя в российском культурном пространстве на рубеже двух столетий. Новый формат бытования русского Гамлета откроется уже в следующем, двадцатом веке.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев М. П. Пушкин и Шекспир / М. П. Алексеев // Пушкин: Сравнительно исторические исследования – Ленинград: Наука, 1972. – 468 с.
- Захаров Н. В. Рецепция Шекспира в творчестве Сумарокова / Н. В. Захаров // Тезаурусный анализ мировой культуры: Сборник научных трудов. – Вып. 16 / Под общ. ред. Вл. А. Лукова. – Москва: Издательство Московского гуманитарного университета, 2008. С. 74–78.
- Катаев В. Б. Литературные связи Чехова / В. Б. Катаев – Москва: Издательство Московского университета, 1989. – 261 с.
- Михайловский Н. К. Сочинения: В 6-ти тт. / Н. К. Михайловский. – Т. 5. – Санкт-Петербург: Издание журнала «Русское богатство», 1897. – 932 с.
- Рубакин Н. Размагниченный интеллигент (Из частной переписки половины 90-х годов) / Н. Рубакин // На славном посту (1860-1900). Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому». – Ч. II. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 328 – 336.
- Смиренский В. Полет «Чайки» над морем «Гамлета» / В. Смиренский // University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. – 2004. – №10. <http://www.utoronto.ca/tsg/10/smirensky10.shtml>
- Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 12-ти тт. / И. С. Тургенев. – Т. 12. – Москва: Художественная литература, 1979. – 479 с.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30-ти тт. Сочинения / А. П. Чехов. – Т. 7. – Москва: Наука, 1977. – 733 с.
- Чехов А. П. Полное собр. сочинений и писем: В 30-ти тт. Сочинения / А. П. Чехов. – Т. 13. – Москва: Наука, 1978. – 521 с.
- Чехов А. П. Полное собр. сочинений и писем: В 30-ти тт. Сочинения / А. П. Чехов. – Т. 16. – Москва: Наука, 1979. – 622 с.
- Чехов А. П. Полное собр. сочинений и писем: В 30-ти тт. Письма / А. П. Чехов. – Т. 1. – Москва: Наука, 1976. – 572 с.
- Шах-Азизова Т. К. Линия Гамлета, или Герой драмы перед лицом рока: [тема рока в европейской драме (Шекспир-Метерлинк-Ибсен-Чехов)] / Т. К. Шах-Азизова // Понятие судьбы в контексте разных культур. – Москва: Наука, 1994. – С. 268–277.
- Шекспир и русская культура. – Москва – Ленинград: Наука, 1965. – 824 с.

Chekhov's 'Hamlets'

Summary

The present article discusses the problem of transformation of the perception of Shakespeare's image of Hamlet in Russian literature. The focus is on the problem of interpreting the image of Hamlet in Chekhov's prose fiction and drama. The theme of Hamlet is present in Chekhov's works as a constant motif from his early humorous novellas and to his plays of the 1890s.

It may be argued that creating his versions of the prince of Denmark Chekhov referred to the situation aroused by the epoch of the 1880-90s. Disillusionment in the previous ideas and a rapid shift to new ideologies, destruction of authorities were characteristic of that time, it was made apparent that the practical implementation of the accepted programs was impossible, etc. For this reason, Chekhovian Hamlet is depicted either employing a travestied or ironic interpretation. These attempts reveal the author's striving for analysis of the most general mistakes and illusions in the sphere of thought on the level of medium and mass consciousness.

Keywords: *Russian literature, Chekhov, Shakespeare, reception, interpretation.*

Г. С. Петкевич

*Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)*

«БЫЛИННАЯ ГЕОГРАФИЯ» В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»

Одним из важнейших элементов национальной картины мира, народной культуры в целом является семантическая оппозиция «свой – чужой». Она играет ключевую роль во многих верованиях, обрядах, в хозяйственной практике и общественном быту, в религиозном и семейном этикете. Испокон веков представления о «своих» и «чужих» базировались на антропо- и этноцентризме: «свое» почти всегда воспринималось как истинное, праведное, заслуживающее доверия, а «чужое» считалось ложным, ненадежным, а то и просто вредным. С течением времени данная антитеза, к сожалению, не утратила своей актуальности, о чём свидетельствуют ежедневно радио- и телевизионные новостные сообщения.

В повествовательных жанрах русского фольклора – волшебных сказках, былинах и быличках – оппозиция «свой – чужой» во многом определяет характер конфликтов, взаимоотношений и поведения персонажей. Однако сходство по основным параметрам не исключает и существенных различий. Противопоставление «своих» «чужим» играет не менее важную роль в пословицах, в духовных стихах (антитеза «христиане – язычники»), в исторических песнях, в лирической поэзии, в поверьях и народных обрядах (своя и чужая семья, деревня; родная земля и чужбина; «правильные» и «неправильные» обычаи и обряды). Даже детские игры, как правило, начинаются с жеребьевки или считалки – разделения играющих на две группы, которые затем противостоят друг другу и воспринимаются участниками игры как «своя» и «чужая».

В конкретных произведениях для реализации универсальной оппозиции «свой – чужой» используется целый ряд производных от нее антонимических пар: «люди – нелюди», «живые – мертвые», «свои – чужие» в родовом, семейном, этническом, языковом, профессиональном плане. «Свои» по общности целей

противопоставляются конкурентам, претендующим на тот же объект, которым стремится завладеть герой (соперничество из-за власти, имущества, невесты и т.д.). Во многих сюжетах важное значение приобретает социальный статус персонажей (*«бедный – богатый», «обладающий властью – бесправный»*). Указанные антонимические пары крайне редко выступают в чистом виде; они переплетаются, дополняют и уточняют друг друга. К тому же статус персонажа фольклорного произведения – величина переменная. В зависимости от конкретных обстоятельств и своего поведения он временно или навсегда может оказаться в положении *«своего среди чужих»* или *«чужого среди своих»* (сказки и былички о подмененных чертями детях, о колдунах, оборотнях, «ходячих покойниках»; о братьях, по стечению обстоятельств выросших в разных социальных группах и т.д.). Благодаря правильному поведению герой сказки может обзавестись «своими» и на чужой территории. Вспомним, как часто сказочные герои оказывают услуги корове, яблоне, печке, воротам, птице, незнакомому старцу и т.д.; позднее эта помощь возвращается им сторицей. «Свой» в родовом и этническом отношении временно или навсегда может стать территориально «чужим» (пленный врагами богатырь, похищенная змеем родственница героя, вышедшая замуж в другую деревню сестра). Иногда он резко отличается от близких по своему бытовому и обрядовому поведению (вероотступник; изменник; человек, после смерти жены вознамерившийся жениться на собственной дочери). И в сказках, и в былинах приключения героя обычно начинаются с того, что он покидает относительно безопасное «свое» пространство и оказывается в «чужом» мире. В мифологических сказаниях основные события тоже происходят на «чужой» или приграничной территории (кладбище, брошенное и забытое людьми одиночное захоронение, развалины домов и хозяйственных построек, перекресток дорог, болото, лес и т. п.) да еще и в самое опасное время.

В произведениях разных эпических жанров частично отличается набор признаков, по которым распознают «своих» и «чужих». В мифологических сказаниях и некоторых циклах преданий акцент переносится на необычную внешность демонических персонажей (исполинский рост великанов; способность к оборотничеству; вывернутая наизнанку и застенутая справа налево верхняя одежда лешего или водяного; хвосты, копыта и маленькие рожки у чертей, принявших человеческий облик). У тех, кто перешел из категории «своих» в категорию «чужих»,

подчеркиваются бросающиеся в глаза аномалии в поведении (правда, заметить их можно, лишь прибегнув к магическим средствам). Приобщившиеся к «бесовскому ремеслу» колдуны и чернокнижники не носят нательных крестов, в церкви стоят спиной к алтарю, держат свечи комлем вверх и т.п. В волшебных сказках подобные признаки либо вообще отсутствуют, либо сильно приглушены (уродливая внешность Бабы-Яги, огромные размеры великана или Ногай-птицы; мужичок сам с ноготь, борода с локоть). В произведениях этого жанра на первый план выдвигаются каннибальские (людоедские) наклонности мифических существ (у них даже жилище порой сооружено из человеческих костей, а забор увешан черепами), а также сверхъестественные способы передвижения (они летают по воздуху, иногда пользуясь нетрадиционными, послушными только им, средствами – ступой, метлой). Задействован в сказках редкий способ опознания по запаху: «Фу-фу, русским духом пахнет!» Люди, населяющие соседние царства, в сказках изображаются так же, как и «свои»; как правило, в текстах не отмечаются этнические, религиозные или языковые различия, своеобразие бытового уклада, обычаев и обрядов. Такая же картина наблюдается в произведениях не-сказочной прозы. Исключение составляют сюжеты исторических преданий, повествующих об осквернении церковей захватчиками-иноверцами, и некоторые мифологические сказания о колдунах (этнически «чужим», прежде всего язычникам, повсеместно приписывается особая магическая сила).

Наиболее сложная, многоуровневая система «опознавательных знаков» обнаруживается в *былинах*. В архаичных сюжетах богатырям противостоят великаны и мифические существа, как и в сказках, в них акцентируются их гигантские размеры: богатырь русский Святогор – головой «упирает под облако ходячее», кладет в карман Илью Муромца вместе с его конем:

*Поглядел богатырь в руку правую,
Увидал тут Илью Муромца,
Он берет Илью да за желты кудри,
Положил Илью да он к себе в карман,
Илью с лошадью да богатырской...*

(«Илья Муромец и Святогор»)

Весь облик былинного Идолища Поганого вызывает ужас и содрогание:

*...Как есть у нас погано есть Идолище
В долину две сажени печатных,*

*А в ширину сажень была печатная,
А головище что ведь люто лохалище,
А глазища что пивные чашища,
А нос - от на роже он с локоть был».*

(«Илья Муромец и Идолище в Царе-граде»)

Необходимо вспомнить и героя многих былин – Соловья-разбойника, сидящего на семи дубах, который так свистит по-соловьиному, шипит по-змеиному да кричит по-звериному, что *все травушки-муравушки улетаются, тёмные леса к земле приклоняются, а что есть людей – все мертвы лежат*. Дополняя эти «визуальные» характеристики, многие сказители подчеркивают прожорливость эпического противника (он за один присест съедает жареного быка, хлеб из семи печей и т.п.), его громовой голос (от свиста упомянутого Соловья-разбойника в Киеве рушатся терема; от крика Сокольника *сырые дубы погибалися, сухие дубы поломалися; новые терема пошаталися, старые терема повалялися*). Однако в большинстве былин в роли «чужих» выступают люди, представители других этносов.

Соотношение между исторической действительностью и художественным вымыслом в русских этнических песнях отнюдь не однозначно; наряду с явными фантазиями присутствуют факты и детали, отражающие реальную жизнь Древней Руси и её соседей. За многими былинными эпизодами угадываются социальные и бытовые отношения, военные и общественные конфликты. Значительная часть имен собственных отражает исторически достоверные антропонимы и этнонимы, реальные топонимы. В эпосе прослеживается тенденция различать западных и восточных соседей по титулам, которые закрепились за представителями верховной власти. В русских городах правят князья, в западно-европейском мире – короли, в странах востока и юга – цари. Первым обратил внимание на эту закономерность известный филолог-славист, фольклорист П.А. Бессонов в «Приложениях» к сборнику П. В. Киреевского (Киреевский 1860–1864: Вып. IV, CXV). Иногда цари противопоставляются королям в пределах одного текста:

*А углицки мужики были лукавья,
Город Углич крепко заперли
И взбегали на стену белокаменну,
Сами оне ево обмановают:
«Гой еси, удалой доброй молодец!
Поезжай ты под стену белокаменну,*

*А и нету у нас царя в Орде, короля в Литве,
Мы тебе поставим царем в Орду, королем в Литву.*

(«Царь Саул Леванидович и его сын»)

Видимо, нет необходимости подробно останавливаться на изображении в былинах семейного и общественного быта соседних народов. За исключением этнической и религиозной принадлежности в эпосе доминирует принцип максимального сближения «своих» и «чужих». Это касается разных сторон жизни – от жилища и одежды до представлений об идеале женской красоты и свадебных обычаев. В прионежских вариантах старины «Дунай-сват» литовский король упрекает богатыря, который сватает за князя Владимира его младшую, а не старшую дочь:

*Отрубил ты мни словом буйну голову,
А засадил у меня старшу дочь да во девочесьви.*

Вряд ли это связано с литовским свадебным обычаем, аналогичным русскому, скорее всего, перед нами еще один пример механического перенесения деталей их «своего» мира в «чужой».

При знакомстве с «былинной географией» бросается в глаза, что в былинах представлены далеко не все реальные западные страны, некоторые из них упоминаются довольно редко. К примеру, **Швеция** встречается только в перечислительном ряду, возможно потому, что рифмуется с **Турцией** (*Швеция – Туреция*). Отдельно название этой страны находим только в былине о Михайле Потыке. Песня эта, как и многие другие былины киевского цикла, начинается с картины пира у князя Владимира, на котором хозяин *намётывает службу* на богатырей. Илью Муромца он посылает в Золотую Орду, Добрыню – в Турцию, а Потыка – в Швецию (Гильфердинг 1949–1951: №150). Князь поручает им собрать дань с подвластных народов – мотив, довольно редкий в русском эпосе. В текстах пудожанина Никифора Прохорова и его преемников находим еще более необычную формулу: «*Кори-тко ты языки там неверныи, прибавляй земельки святорускии*» (Гильфердинг 1949–1951: №52).

Смутно представляя себе, где находятся реальные Швеция или Туреция, исполнители довольно часто допускали логические неувязки. Иногда в Литве оказывается и *король прусский* (Гильфердинг 1949–1951: №269), но это не воспоминание о пруссах, балтском народе, а, скорее всего, перенесение из исторических песен о русско-пруссских войнах. В одной из старин используется постоянный эпитет *булат иверьянский*. Маловероятно, что имеется в виду испанская провинция Иберия (древнее название

Испании, по наименованию населявших ее иберийских племен). Скорее всего, эпитет навеян древним названием географически гораздо более близкой **Грузии** (Иверии). С той же **Испанией** формально можно связать популярный эпитет *сарацинский* (*пшено, дубина, гора, гуня* и др.). Однако в русском эпосе он превратился в условное понятие, обозначающее далёкие страны. Видимо, довольно поздно в былины из народной лирики проник эпитет *тальянский* (*платок, платье*). С Аппенинским полуостровом связан и топоним *Римский город* вместо Киева (Григорьев 2002–2003: №128). Вероятнее всего, это механическое перенесение из духовного стиха «Алексей, человек божий».

Многие исследователи склонны связывать с названием итальянской **Венеции** упоминаемый в былине «Соловей Будимирович» город *Леденец / Веденец / земля Веденецкая*:

*Тут-то млад Соловей сын Будимирович
Не венчался во славном во городе во Киеве,
Поехал в свою землю Веденецкую
На тех-то на черных на кораблях.*

Но не исключено, что слово *Веденец* навеяно польским названием Вены – Wiedeń (Ведень). Других деталей, которые можно связывать с **Италией**, в былинах не обнаружено. Изредка сказители упоминали *Землю угорскую*. Но опять-таки связь этого топонима с древним наименованием **Венгрии** маловероятна. Видимо, это название условно-поэтическое, образованное от слова *угор* (гора, холм, возвышенность), характерного для севернорусских говоров. Сравните – *дальна земля, Загорская* в сборнике Кирши Данилова (Евгеньева, Путилов 1977: №26).

Болгария, Чехия, Сербия, Норвегия, Голландия, Франция и ряд других европейских стран вообще не упоминаются в русских эпических песнях. **Англия** и **Дания** фигурируют в единичных текстах: *стекла аглицьки* (Киреевский 1860–1864: Вып. I, 77) (вероятнее всего, позднее перенесение из авантюрных лубочных сказок), *земля датская* (Гильфердинг 1949–1951: №217). **Германия** как государство в былинах не упоминается, но в них часто встречается постоянный, как правило, идеализирующий эпитет *немецкий*: *дорога, застава, царство, языки* (то есть народы), *жеребцы, трубки* (подзорные трубы), *покрой, замки* (Евгеньева, Путилов 1977: №49; Гильфердинг 1949–1951: №187) и *стекло немецкое не простое* (Свод русского фольклора: 1, №125, 126). Видимо, в целях идеализации иногда *немецкими* называют даже гусли – сугубо русский музыкальный инструмент (Гильфердинг

1949–1951: №187). В большинстве случаев это слово является общеэпическим условным обозначением чего-то западноевропейского; не случайно *немецкими* часто оказываются изделия из металлов. Непосредственно с Германией правомерно связать лишь словосочетание *кирка соборная*, в которой Василий Окулович венчается с похищенной женой царя Соломана. Эта деталь есть только в вариантах кенозерских сказителей И. Сивцева-Поромского и его родственницы А. Артемьевой (Соколов, Чичеров 1948: №218). Любопытно, что некоторые потомки Сивцева заменили непривычную формулу типовым былинным словосочетанием *Божья церковь*, правда, оговаривались, что персонажи *брали венец по-своёму* (Соколов, Чичеров 1948: №208). Поздним вкраплением в былинные тексты можно считать и словосочетания *ренский погреб*, *ренское вино* (Свод русского фольклора: Т.1, №43, 44).

Вторым весьма распространённым эпитетом, обобщённо указывающим на западноевропейское происхождение каких-то предметов, животных и т.п., является слово *латинский* (*дорога, платье, жеребцы, застава* и др.). К примеру, герой одной из старин намеревается *вострубить в трубу да по-латынскому* (Миллер 1908: №79), а предводитель вражеского войска угрожает *православную веру облатынить всю* (Григорьев 2002–2003: №320Ю323; Свод русского фольклора: II, №199).

Обобщая вышеизложенные факты, можно констатировать, что большинство европейских стран упоминаются в героическом эпосе довольно редко, причём в ряде случаев мы имеем дело с поздними перенесениями из других жанров фольклора – лирических песен, баллад, исторических песен. Исключение составляют ближайшие северо-западные соседи – **Польша** и **Литва**. Правда, слова *Польша*, *польский* в былинах практически отсутствуют, их заменяют эпитеты *ляховинский / ляхоминский*. Народный термин *поляница* (женщина-воительница, которая *полякует в чистом поле*) вряд ли этимологически связан с Польшей, как и словосочетание *вороны польские* (Рыбников 1909–1910: №129). Скорее всего, они образованы от слова *поле*. Заметим, что одно из древних его значений – «*бой / поединок*». В одной из печорских старин Тугарин вызывает Алешу Поповича на единоборство такими словами: «*Ты будь-кё, Олёша, со мной на поле*» (Свод русского фольклора: 1, №115). За киевским богатырём, соратником Добрыни, закрепилось польское (литовское) по происхождению отчество – *Василий Казимирович*.

В большинстве былин о женитьбе князя Владимира, записанных в Архангельско-Беломорском крае, невеста родом из *Ляховинского королевства*, а в записях из бывшей Олонецкой губернии – из *Литвы*. Если в северо-восточных регионах доминируют негативные по семантике постоянные эпитеты *Литва поганая / проклятая / некрещёная* и даже *кособрюхая* (очевидное влияние популярного здесь эпитета *бояре кособрюхие*); то в Заонежье довольно часто встречаются мини-формулы *Литва хоробрая / славна*. Этот эпитет в основном фиксировался в Кижях, у сказителей, считавших своим учителем Илью Елустафьева. Но он есть и в одной из былин с далекого Алтая (Гуляев 1939: №25).

Соседнюю **ЛИВонию**, находившуюся под властью ордена меченосцев, сказители аттестовали не столь доброжелательно:

*Тая земля пребогатеюща,
Много есть злата и серебра,
Много есть бессчётной золотой казны,
Силы-войска-рати маломошица...*

(Рыбников 1909-1910: №135)

Отметим, что ещё чаще Литва упоминается в исторических балладах «Молодец и королевична», «На литовском рубеже», «Вдова и три дочери» и др.

Как и при описании стран восточного мира, в былинах представители чужого этноса, особенно второстепенные персонажи, нередко наделяются славянскими именами – короли *Силеван*, *Семен*, дочери литовского короля *Апраксия*, *Анастасия*. С другой стороны, сама форма имён иногда указывает на принадлежность человека к «чужому» этносу: литовский король *Цимбал*, *Чембал*, *Чурал*, в одном из вариантов использовано тюркское имя *Чолпан* (Тихонравов, Миллер 1894: №69). Литовские по происхождению имена, связанные с реальными историческими личностями, встречаются лишь в отдельных вариантах: *Сухман Домантьевич* (от имени князя Довмонта), *Мануил сын Ягайлов*, литовский король *Жиман*, *Этмануйло Этмануйлович / Этмануйло Этмануйлович*, образованное от слова «*etmonas*» – «*гетман*». Эти факты проанализированы в монографии профессора Ю.А. Новикова (Новиков 2000: 22 – 24).

Некоторые имена собственные явно связаны с Польшей. В Прионежье бытовала редкая старина «Королевичи из Крякова», где название города восходит к наименованию Кракова, древней столицы Польши. Однако сказители считали этот город русским. В одном из архангельских вариантов былины о первой поездке Ильи Муромца богатырь освобождает осаждённый врагами рус-

ский город Кряков – *морят Кряков обсадою голодную* (Киреевский 1860–1864: IV, 1). Кижанин Василий Щеголёнок в былине «Илья Муромец и Идолище Поганое» перенёс действие из Киева в город Кряков (Гильфердинг 1949–1951: №120).

Несмотря на обилие исторически достоверных названий средневековых городов, стран, соседних и дальних народов, в былинах очень часто обнаруживаются смысловые неувязки. Как уже отмечалось, в Литве иногда правит шведский король, а его подданными являются *татаровья поганые*; в былине «Дунай» Жиман именуется то польским, то литовским королём (Гильфердинг 1949–1951: №272); эпитет *заморский тур литовский* перемещает Литву за моря; некоторыми сказителями литовская земля осознавалась как Орда.

В заключении отметим, что в последнее время предприняты попытки рассмотреть отношение русского эпоса к представителям Востока и Запада сквозь призму войны и любви: войны с Востоком – основное содержание былинного эпоса; тюрки – это враги, брак с ними позорен; европейцы – свои, брак с ними – норма, войн с ними не бывает. Приведём одну из таких цитат: «Совершенно обратная картина с Западом: все многовековые войны с поляками, Литвой, Орденом, варягами, шведами былинный эпос попросту игнорирует. В «брачной» тематике, напротив, Западу уделяется гораздо больше внимания. Князь Владимир берёт себе жену из земли Ляховицкой или Поморянской. В Поморянской земле находит себе жену и богатырь Святогор. В Ляховицкой земле – невеста богатыря Дуная.<...>Илья Муромец живёт с некой вдовой в «Тальянской земле». <...> Всё это воспринимается былиной, как вполне нормальные явления» (Прозоров: интернет). Данную точку зрения можно оспорить. Есть эпические песни о военных столкновениях с западными или северо-западными соседями: «Наезд литовцев»; «Чудь белоглазая» – редкая версия сюжета «Камское побоище» (Соколов, Чичеров 1948: №215); историческая баллада «На литовском рубеже» (Евгеньева, Путилов 1977: №54) и др. А тема сватовства в сознании сказителей не обязательно ассоциируется с западным былинным миром («Сватовство Идолища», «Лука, змея и Настасья», историческая баллада «Князь Роман и Марья Юрьевна» и др.). Брачные мотивы устойчиво связываются с Литвой или Польшей лишь в сюжете «Дунай-сват». Однако в сборнике Кирши Данилова невеста князя Владимира родом из Золотой Орды, а Волх Всеславьевич в финале былины женится на «индейской царице» (Евгеньева,

Путилов 1977: №6, 11). Таким образом, и эту тенденцию нельзя абсолютизировать.

ЛИТЕРАТУРА

- Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. – Т. 1–3. – Санкт-Петербург, 2002–2003.
- Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков / Изд. подготовили А. М. Астахова, В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. – Москва; Ленинград, 1960.
- Былины и исторические песни из Южной Сибири. Записи С. И. Гуляева. – Новосибирск, 1939.
- Былины: В 25 томах. (Свод русского фольклора). – Санкт-Петербург; Москва, 2001. Т. I–II: Былины Печоры; 2003–2006. Т. III–V: Былины Мезени.
- Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. – Москва, 1977.
- Миллер В. С. Очерки русской народной словесности: Былины. / В. С. Миллер. – Москва, 1897. Т. 1; 1910. Т. 2; 1924. Т. 3.
- Новиков Ю. А. Сказитель и былинная традиция. / Ю. А. Новиков. – Санкт-Петербург, 2000.
- Онежские былины / Подбор былин и научная редакция текстов Ю. М. Соколова; Подготовка текстов к печати, примечания и словарь В. Чичерова. – Москва, 1948.
- Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. – Т. 1–3. – Москва; Ленинград, 1949–1951.
- Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 1–6. – Москва, 1860–1864.
- Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. – Т. 1–3. – Москва, 1909–1910.
- Прозоров Л. Р. Раса и этнос в былинах / Л. Р. Прозоров // <http://www.ruskolan.xpomo.com>
- Русские былины новой и недавней записи из разных местностей России / Под ред. В. Ф. Миллера. – Москва, 1908.
- Русские былины старой и новой записи / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера. – Москва, 1894.
- Сказитель Ф. А. Конашков / Подготовка текстов, вводная статья и комментарии А. М. Линецкого. – Петрозаводск, 1948.

Geography of Bylinas in Semantic Opposition *Own – Alien* Summary

The article deals with the semantic opposition *own – alien* as one of the most significant elements of both the national picture of the world and national culture in general. The opposition occupies a significant role in a great

number of different beliefs, customs, in domestic practice and social life, in religious and family etiquette.

The author of the article gives special attention to a multilevel system of 'identification signals' found in bylinas and claims that the prevailing number of proper nouns exposes historically reliable anthroponyms, ethnonyms and real toponyms. The tendency to distinguish between western and eastern neighbours on the basis of their titles which were common for representatives of the authority is evident in the epic tradition.

The article thoroughly investigates the world of bylinas during the period of the 'kings' reign'.

Keywords: *folklore, own – alien, bylina, geography of bylinas.*

Н. Авина*Литовский экологический университет
(Вильнюс, Литва)***О СОСТАВНЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ)**

Отличительной чертой развития русского языка в период последних десятилетий является необычайный динамизм изменений на всех уровнях языковой системы. Но именно словообразование, «используя морфемный инвентарь языка, выполняет заказ общества на создание необходимых для коммуникации наименований» (Земская 1996: 90). Конец XX – начало XXI вв. характеризуется активизацией деривационных процессов и обилием инноваций, которые отражают соответствующие потребности общества. «Дух времени» в словообразовательных процессах проявляется в высокой продуктивности определенных словообразовательных типов (аббревиации, именной префиксации, окказионального словообразования и др.) и производящих основ (например, имен собственных), специализации словообразовательных средств, эмоциональной нагруженности словообразования, склонности к языковой игре (см. об этом: Земская 1992, 1996, Костомаров 1994 и др.). Отношение к подобным процессам как лингвистов, так и носителей русского языка не может быть однозначным, однако язык «продолжает обогащать систему средств и способов производства новых слов, проявляя свою стойкую жизнеспособность и гибкую реакцию на те изменения, которые происходят в жизни его носителей» (Николаев 2009: 119). В наблюдаемых словообразовательных явлениях отражается один из фрагментов современной языковой картины мира, который показывает развитие и динамичность современной реальности, специфику современного мышления. Ведь каждое производное слово – это «мини-модель» представления знаний о мире как сложном процессе его восприятия и осознания человеком (Вендина 1998).

В ряду разнообразных процессов правомерным представляется обратить внимание именно на «те участки системы

словообразования, в которых обнаруживается воздействие современности на язык, отражаются важные явления и процессы жизни современного общества» (Земская 1996: 90) Один из таких участков словообразовательной системы – сложные и составные наименования. Об увеличении их количества в современных языках, в частности – славянских, пишут многие лингвисты. Так, Н. Ф. Клименко (2009) отмечает, что в период глобализации становится все более активной тенденция к интеллектуализации языка, и это проявляется в увеличении удельного веса композитов. В современном русском языке сложные и составные наименования – продуктивные словообразовательные типы на протяжении многих десятилетий. Количество таких наименований неуклонно растет вместе с появлением новых профессий, созданием новых учреждений и под. Русский язык «как язык, имеющий разветвленную систему номинативных средств, при необходимости называния новых предметов и явлений часто идет по пути уточнения и конкретизации уже имеющихся в языке номинаций» (Земская 1992: 89–90). Как известно, важный фактор, стимулирующий динамику языковой системы, – это взаимодействие противоположенных универсальных тенденций: языкового варьирования и языковой экономии. «Первая из них ведет к разрастанию вербальной материи за счет притока новых языковых знаков; вторая, напротив, оберегает языковую систему от чрезмерной громоздкости путем устранения избыточных номинаций, поиска более компактных средств выражения, максимального использования существующих знаков» (Нещименко 2009: 117). В результате создаются предпосылки «для установления столь необходимого соответствия между номинационным корпусом и насущными информационно-коммуникативными потребностями социума» (Нещименко 2009: 117) Это демонстрируют и составные наименования.

Активизация составных наименований в современном русском словообразовании наблюдается в последней трети XX в. – «высокопродуктивными оказываются не суффиксальные дериваты, а исторически менее свойственные русскому языку различные словосложения и сложносокращения...» (Костомаров 1994: 159). Постоянный рост употребительности промежуточных между словами и словосочетаниями образований типа *ракета-носитель* (не *ракетоноситель*) свидетельствует, как отмечает В. Г. Костомаров (1994), о дальнейшем продвижении русского словообразования в сторону аналитизма.

На рубеже XX–XXI вв. композитное словообразование характеризуется рядом новых тенденций, а высокая продуктивность различных моделей демонстрирует усиление смысловой компрессии, проявляющейся в разных сферах языка, и прежде всего в книжных стилях, в том числе, в словотворчестве в художественной речи (Николина 2009). Именно в сложном, составном слове возникает бóльшая, чем в словосочетании, смысловая и формальная слитность компонентов. Сложное слово или составное наименование, с одной стороны, служит способом свертывания, в частности, синтаксической конструкции, а с другой стороны, отражает несомненный синтетизм современного мышления и тенденцию к сопряжению лексических единиц (Николина 2003).

Новообразования последнего времени наиболее широко представлены в языке газет. Это объясняется тем, что «в наши дни газета – самый чуткий регистратор новых слов, значений, словосочетаний. Она значительно быстрее всех других жанров письменной речи отражает сдвиги, которые происходят во всех сферах жизни общества, и в большинстве случаев является первым письменным источником, фиксирующим рождение новых слов, значений и выражений, претендующих на вхождение в общеупотребительную лексику» (Попова, Рацибурская, Гугунава 2005: 69). Исследователи пишут, что в словообразовательных процессах находят яркое и непосредственное отражение изменения в словарном составе, связанные с развитием социального мировоззрения; на первом плане обозначения в СМИ – массовые, общественные явления. Значит, «наблюдения над современными деривационными процессами позволяют, с одной стороны, выявить наиболее активные звенья словообразовательного механизма, а с другой – установить способы, приемы освоения языковым сознанием новых реалий общественной жизни» (Попова, Рацибурская, Гугунава 2005: 71).

В связи с этим в нашей работе представлены некоторые наблюдения над составными наименованиями в таком популярном жанре СМИ, как газетная реклама. Материалом исследования являются рекламные объявления в русскоязычных газетах Литвы в период последнего десятилетия. Из различных словообразовательных типов составных наименований в нашей работе рассматриваются лишь имена существительные, распространенность которых в рекламных объявлениях очевидна и обусловлена спецификой жанра – необходимостью обозначить, сообщить информацию. Составные имена существительные анализируются

в структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах.

Среди анализируемых составных наименований выделяются лексико-семантические группы личных и неличных имен существительных. Значительную группу составляют личные наименования, в основном мужского рода, которые обозначают человека по профессии: *Требуются: раскройщики-укладчики* (Эк.Н., №39, 2007)¹; *Требуются в мебельный цех: столяры-мебельщики...; в механический цех: токари-револьверщики; в отдел комплектации: упаковщики-комплектовщики* (Эк.Н., №39, 2007); *Заводу по изготовлению манекенов ...требуются: операторы-формовщики...* (Эк.Н., №39, 2007); *Требуются снабженец-менеджер* (Эк.Н., №46, 2010); *Учебный центр приглашает учиться желающих приобрести специальность ...косметолога-визажиста* (Эк.Н., №46, 2010); *Требуются в сварочный цех: шлифовщик-полировщик по металлу* (Эк.Н., №47, 2010); *Предприятию, скупающему металлолом, требуется: экскаваторщик-оператор гидроманипулятора* (Эк.Н., №27, 2011); *Автосервису в Вильнюсе требуется автослесарь-автосборщик* (Эк.Н., №28, 2011). Наименования лиц могут включать и конкретизаторы иной семантики, например, пояснение: *Педагог-пенсонерка ищет работу няни* (ЛК, №1, 2002); *Мастер-профессионал ремонтирует телевизоры у клиента на дому* (Эк.Н., №14, 2010); *Для совместной работы ищу добросовестного, ответственного, без вредных привычек мастера-универсала по ремонту квартир...* (Эк.Н., №30, 2011).

Неличные составные наименования представляют: названия процесса, действия: *Срочный ремонт компьютеров. Установка программ у клиента на дому. Модернизация-оптимизация* (Эк.Н., №41, 2002); *Переезды: разборка-сборка мебели, упаковка вещей, перевозка* (Эк.Н., №5, 2011); *Быстро развивающееся ЗАО ищет специалистов-монтажников систем кондиционирования-вентиляции* (ЛК, №32, 2011); *Индивидуальное обучение профессии: парикмахер, мастер маникюра-педикюра, массажист* (Эк.Н., №41, 2011); названия мероприятий: *Концерт-презентация нового альбома панк-группы "Brosided"* (Эк.Н., №13, 2010); *Фестиваль-конкурс молодых дизайнеров* (Эк.Н., №47, 2010), кстати, в ряду названий мероприятий можно привести много примеров с одним из производящих слов «вечеринка»: *Вечеринка-кастинг танцоров* (Эк.Н.,

¹ Используются следующие условные сокращения названий газет: ЛК – «Литовский курьер», Обз. – «Обзор», Эк.Н. – «Экспресс-неделя».

№13, 2010); **Вечеринка-концерт** группы "Fresh" (Эк.Н., №15, 2010); **Вечеринка-дискотека** под российскую музыку с диджеем Scream (Эк.Н., №15, 2010); **Вечеринка-карнавал** «Yaga-Ball» с диджеями и исполнителями... (Эк.Н., №3, 2011); наименования помещений: **Ломбард-комиссионка** (ЛК, №14, 2010); **Квартиры-гостиницы...** **На час, сутки** (Эк.Н., №15, 2010).

С точки зрения структуры рассмотренные производные обычно представляют собой слова с двумя корнями. Особое же внимание привлекают трех-, четырехкомпонентные наименования, часто называющие лиц по профессии: **Врач-акушер-гинеколог** оказывает всестороннюю квалифицированную помощь (Эк.Н., №33, 2001); **Боксеры-тяжеловесы-профессионалы** (Обз., №4, 2001). Ср. другие многочисленные объявления в разных газетах: **Предлагают работу: столяр-плотник-маляр; столяры-плотники-отделочники; каменщик-бетонщик-кровельщик-столяр; маляр-плиточник-отделочник; плотник-кровельщик-слесарь; каменщик-штукатур-бетонщик; маляры-отделочники-плиточники-сантехники**. Реже встречаются многокомпонентные слова, обозначающие предметы, действия, процессы: **Продают: холодильник-морозильник-витрина, итальянский** (Эк.Н., №33, 2001); **Продаются новые: пылесос, мясорубка-терка-шинковка (комбайн)** (Эк.Н., №33, 2001); **Купля-продажа-обмен** (объявления в газетах).

Многокомпонентные составные наименования могут иметь интернациональные корни; таковы, например, названия современных музыкальных групп: **Концерт панк-рок-группы** (Эк.Н., №5, 2011); **Концерт фолк-рок-группы** (Эк.Н., №5, 2011). В написании некоторых интернациональных композитов проявляется стремление к употреблению нескольких дефисов: **Аудио-видео-бытовая техника** (Эк.Н., №50, 2001). Использование дефиса способствует как графическому, так и семантическому выделению отдельных частей слова.

В структуре составных наименований отмечаются и такие особенности, как включение прилагательного в качестве определения перед первым компонентом наименования – **Кулинарный урок-дегустация** «Гусь в польской кухне» (Эк.Н., № 45, 2010) или перед вторым компонентом – **Концерт-музыкальный спектакль** «Полнолуние»... (Эк.Н., №13, 2010); включение существительного в качестве управляемого слова: **Развивающееся предприятие ...предлагает работу монтажнику-сборщику мебели** (Эк.Н., №39, 2007); **печник-каменщик-мастер по каминам, плиточники-штукату-**

ры-бетонщики-мастера по монтажу пластиковых потолков и другие примеры, встречающиеся в газетных объявлениях. Интерес вызывает структура, а также написание следующих наименований: *Джазовый фестиваль «Нида джаз-марафон – 2009»* (Эк.Н., №31, 2009); *Вечеринка-музыкальная рок-лаборатория “Liperpool 31” с диджеями и исполнителями...* (Эк.Н., №15, 2010). В подобном написании составных наименований отражаются активные тенденции орфографии.

Относительно функционально-прагматических особенностей рассматриваемых составных наименований заметим следующее. Если в современных СМИ довольно распространены составные наименования как с нейтральным, так и с оценочным значением, то в объявлениях, которые отличаются от других жанров газетной рекламы стандартностью формы и отсутствием оценочности, обычно используются нейтральные по значению наименования. Составные наименования, по нашим наблюдениям, более типичны для рекламных объявлений, касающихся работы (рекламодатели предлагают или ищут работу), предоставления различных услуг, продажи бытовой техники и электроники, сдачи в наем недвижимости; в рекламе концертов, фестивалей и других развлекательных мероприятий. Требование, предъявляемое к рекламе и обусловленное таким экстралингвистическим фактором рекламы, как жесткие финансовые условия, – это максимальная компрессия и особая плотность содержания рекламного текста (см. подробнее: Стилистический энциклопедический словарь русского языка 2003: 635–642). Данное требование соблюдается, естественно, и в рекламе в русскоязычных газетах Литвы (Жаркова 2008). Одна из основных коммуникативных функций рекламы – репрезентативная (предоставление нужной информации) – отражается, соответственно, в составных наименованиях. Использование составных наименований позволяет при лаконичности изложения и экономии языковых средств достичь информативной насыщенности. Подобный прагматизм и необходим в рекламе.

Таким образом, рост продуктивности составных наименований – один из активных процессов в современном русском словообразовании. Это и факт развития самого языка, и результат изменений, происходящих в современной жизни. Составные слова прекрасно удовлетворяют потребности социума в номинации современных реалий. Особой прагматической направленностью характеризуются составные наименования, обладающие свойс-

твом компрессии и уточнения, в рекламном объявлении, одна из важных функций которого – оптимальная передача информации. Дальнейшие исследования, проведенные на более широком материале и включающие разные словообразовательные модели дериватов, позволили бы уточнить наши отдельные наблюдения и, возможно, отметить определенную региональную специфику составных наименований, например, в сравнении с аналогичными производными в русском языке метрополии.

ЛИТЕРАТУРА

- Вендина Т. Н. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (Макрокосм) / Т. Н. Вендина. – Москва: «Индрик», 1998. – 236 с.
- Земская Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – Москва: «Наука», 1992. – 221 с.
- Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства / Е. А. Земская // *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*. – Москва: «Языки русской культуры», 1996. – С. 90–141.
- Жаркова А. В. Рекламные тексты в русскоязычных газетах Литвы (лексика, композиция, пунктуационное оформление) / А. В. Жаркова // *Русистика и компаративистика. Сборник научных трудов. Вып. III / Отв. ред.: Е. Ф. Киров*. – Москва: Издательство МГПУ, 2008. – С. 34–43.
- Клименко Н. Ф. Словообразовательные средства интеллектуализации современного украинского языка / Н. Ф. Клименко // *Славянские языки и культуры в современном мире. Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 24–26 марта 2009 г.): Труды и материалы*. / О. В. Дедова, Л. М. Захаров (составители), под общим руководством М. Л. Ремневой. – Москва: «МАКС Пресс», 2009. – С. 109–110.
- Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи / В. Г. Костомаров. – Москва: «Педагогика-Пресс», 1994. – 248 с.
- Николаев Г. А. Активные процессы в современном русском словообразовании / Г. А. Николаев // *Славянские языки и культуры в современном мире. Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 24–26 марта 2009 г.): Труды и материалы*. / О. В. Дедова, Л. М. Захаров (составители), под общим руководством М. Л. Ремневой. – Москва: «МАКС Пресс», 2009. – С. 118–119.
- Нещименко Г. П. Тенденция языковой экономии как фактор динамики литературной нормы в славянских языках / Г. П. Нещименко // *Славянские языки и культуры в современном мире. Междуна-*

- ный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 24–26 марта 2009 г.): Труды и материалы. / О. В. Дедова, Л. М. Захаров (составители), под общим руководством М. Л. Ремневой. – Москва: «МАКС Пресс», 2009. – С. 117–118.
- Николина Н. А. Новые тенденции в современном русском словотворчестве / Н. А. Николина // Русский язык сегодня. Активные языковые процессы конца XX века / Отв. ред. Л. П. Крысин. – Вып. 2. – Москва: «Азбуковник», 2003. – С. 376–387.
- Николина Н. А. Новые явления в сфере сложения и сращения / Н. А. Николина // Славянские языки и культуры в современном мире. Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 24–26 марта 2009 г.): Труды и материалы. / О. В. Дедова, Л. М. Захаров (составители), под общим руководством М. Л. Ремневой. – Москва: «МАКС Пресс», 2009. – С. 119–120.
- Попова Т. В. Неология и неография современного русского языка. Учебное пособие. / Т. В. Попова, Л. В. Радибурская, Д. В. Гутунава. – Москва: «Флинта», «Наука», 2005. – 168 с.
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожин; члены редколлегии: Е. А. Баженова, М. П. Котурова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: «Флинта», 2003. – 696 с.

On Compound Naming Units in the Contemporary Russian Language (On the Basis of Advertising Material)

Summary

Activation of word building processes is characteristic of the end of the 20th century - the beginning of the 21st century, and building of compound naming units is one of them. The compound naming units exhibiting properties of compression and more precise definition meet the requirements of the contemporary socium in nomination of new realities very well, and our material is a confirmation of this. This article represents some observations relating compound naming units in advertisements published in the Russian newspapers of Lithuania of the last decade. In a number of compound naming units, nouns with neutral meaning are considered under the structural semantic and functional pragmatic aspect. Compound naming units are defined by a special pragmatic appeal of advertisements of which, an optimum-scale information transfer is one of the most critical functions.

Keywords: *active processes in word building, compound naming units, advertisements.*

Э. Андриевская, Г. Кундротас

*Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)*

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОГО, ЛИТОВСКОГО И ТУРЕЦКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА (НА МАТЕРИАЛЕ БАЗОВЫХ ФОРМУЛ ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ)

Вводные замечания

Понятие речевого этикета (РЭ) в русистику вошло более сорока лет назад. Современные исследования РЭ проводятся в основном в рамках коммуникативно-прагматического подхода, (Формановская 2009: 13). Словарно-фразеологический состав русского РЭ наиболее полно представлен в словаре А. Балакая (2007).

Первое издание, посвященное литовскому РЭ появилось в 1985 году. Современное изучение литовского РЭ наиболее полно представлено в монографии Г. Чепайтене (Čepaitienė 2007).

Турецкий РЭ изучен и представлен гораздо менее подробно. Базовые турецкие формулы обращений, приветствий и прощаний в сопоставлении с немецкими анализируются в статье А. Сельчука (Selçuk 2005). Национально-культурная специфика стратегий вежливого речевого общения в Турции рассматривается в статье Д. Зейрека (Zeyrek 2001).

То, что РЭ представляет собой многоаспектное явление, в достаточной степени иллюстрирует определение, данное Н. Формановской: РЭ – это «социально заданные и национально специфические регулирующие правила речевого/коммуникативного поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения» (Формановская 2007: 390).

По словам ученого, РЭ «создает целостную языковую картину мира, связанную с достойным, уместным, вежливым обхождением людей друг с другом» (Формановская 2009: 5). На наш взгляд, РЭ, скорее, не создает целостную языковую картину мира, а лишь является составляющей фрагмента языковой картины

мира (языкового образа мира), так называемого «концепта» (или, возможно, «концептов»), связанного с «достойным, уместным, вежливым обхождением...».

Сопоставительные исследования РЭ позволяют выявить лингвокультурные особенности указанных фрагментов национального языкового образа мира. Применение сопоставительного метода относит подобные исследования к области сопоставительной лингвокультурологии и межкультурной коммуникации (МКК).

В рамках лингвокультурологии **теоретическая актуальность** сопоставительного рассмотрения формул РЭ заключается в обнаружении и расшифровке лингвокультурного кода, посредством которого осуществляется трансляция культуры в стереотипное речевое поведение, и ее отражение (фиксация, «маркировка») в национальном языковом образе мира. Владение «чужим» лингвокультурным кодом обеспечивает адекватную речевую коммуникацию с представителями «чужой» лингвокультуры, что указывает на **прикладную актуальность** подобных исследований в контексте осмысления проблем МКК.

Объектом данного исследования служит русский, литовский и турецкий РЭ. Основной предпосылкой сопоставительного изучения русского, литовского и турецкого РЭ является активное русско-литовское, русско-турецкое и заметно развивающееся литовско-турецкое культурное и торгово-экономическое сотрудничество. В рамках данного сотрудничества особую важность представляет межличностная коммуникация, успешность которой в значительной степени зависит от знаний национально-культурных особенностей речевой коммуникации.

Предметом исследования являются лингвокультурные особенности формул приветствия и прощания в русском, литовском и турецком РЭ. Выбор указанных типов формул объясняется необходимостью рассмотрения первоначально значимых элементов структуры устного межличностного дискурса, составляющих его этикетную рамку.

Целью исследования является обнаружение схожих и специфических черт языкового образа мира, связанных с вежливым речевым поведением, отраженных в устойчивых речевых формулах приветствия и прощания. Из основной цели вытекают следующие **задачи**: во-первых, рассмотреть теоретические аспекты изучения РЭ в рамках лингвокультурологии и МКК; во-вторых, на основе сопоставительного анализа выявить схожие и

специфические средства актуализации вежливости в указанных формулах.

Основным **материалом** для сопоставления служат нормативные русские этикетные выражения и ситуативные параметры их использования, подобранные Н. Формановской (Формановская 2009).

Литовские и турецкие соответствия подобраны на основании их способности производить один и тот же перлокутивный эффект. Таким образом, основным параметром для подбора соответствий избрана прагматическая (иллокутивная) функция формул РЭ в сочетании с определенными параметрами контекста их употребления.

Правильность с точки зрения культуры речи и употребительность литовских соответствий, отсутствующих в печатных изданиях, подтверждена старшим научным сотрудником отдела культуры речи Института литовского языка, ответственным редактором периодического издания «Kalbos kultūra», Расуоле Владарскиене. Турецкие соответствия, отсутствующие в печатных изданиях, были подобраны по заданным контекстуально-прагматическим параметрам путем интервьюирования турок, как владеющих, так и не владеющих русским/литовским языком(-ами).

Основная часть

Конструктивное общение как связующее звено между членами общества осуществимо лишь при наличии общепринятого регулятора человеческих отношений, некоего конвенционального ориентира. Подобным ориентиром являются нравственные (моральные) **ценности**, являющиеся производными культуры общества и способствующие его устойчивости. В межличностном общении *особую* ценность представляет **вежливость** — «моральное *качество*, характеризующее поведение человека, для которого уважение к людям стало повседневной *нормой* поведения и привычным способом обращения с окружающими» .

Если вежливость как нравственная норма предписывает, *что* должны делать люди, т.е., прежде всего, уважать друг друга, то культура поведения (как часть культуры общества) раскрывает, *каким образом* уважение к людям должно проявляться в поведении человека.

Правила поведения и общения относятся к области этикета. «ЭТИКЕТ – (фр. *Etiquette* - ярлык, этикетка) – совокупность правил поведения, касающихся отношения к людям (обхождение с

окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда» (Там же). Упомянутые в скобках формы обращений и приветствий относятся к правилам РЭ.

РЭ как система *правил и средств* речевого воплощения вежливости свойствен всем народам, т.е. представляет собой, по словам Н. Формановской, функционально-семантическую и прагматическую универсалию (Формановская 2007: 407), другими словами, - речеповеденческую универсалию. Весь РЭ исследователь относит к области речевого поведения и отмечает, что, не смотря на стереотипность и избитость *актов* РЭ, их осуществление в общении является необходимым, «потому что так принято, так необходимо себя вести в соответствующих ситуациях, и если хочешь быть «своим», если не хочешь выпасть из нормы общественного поведения, необходимо совершать эти *действия* с помощью *речи* (курсив наш – Э. А.)» (Формановская 2009: 18).

РЭ является составляющей культуры речевого (шире – коммуникативного) поведения. Наличие коммуникативной культуры – явление универсальное, то есть свойственное всем национальным культурам. Но коммуникативная культура каждой нации есть явление специфическое.

В основе речевого поведения, как и коммуникативной культуры, и культуры поведения в целом, лежит вежливость. Т. Ларина (2009: 126–171) рассматривает ее как *регулятор* коммуникативного поведения. По мнению ученого, вежливость это, прежде всего, «соблюдение норм общения путем соблюдения коммуникативных стратегий, которые отражают социально-культурные ценности и соответствуют коммуникативным ожиданиям партнера» (Там же: 166).

Еще в середине 90-ых Е. А. Земская отмечает, что пришло время рассматривать вежливость как «специфическую категорию коммуникативно-прагматического характера, *регулирующую* (оба курсива наши – Э. А.) речевое поведение человека» (Земская 1994: 131). Автор отграничивает категорию вежливости от понятия РЭ: «категория вежливости распространяется не только на устойчивые, повторяющиеся *ритуализованные формулы* (курсив наш – Э. А.) типа приветствия, прощания, благодарности и т.п., но на более широкий круг разнообразных явлений» (там же). Таким образом, вежливость является шире РЭ. Эта регулирующая категория лежит в основе РЭ, который в свою очередь представляет собой одну из ее составляющих.

На наш взгляд, вежливость, свойственную всем народам, можно рассматривать как морально-этическую универсалию. Вежливость как культурная ценность осваивается и принимается человеком, то есть отражается в его сознании, становясь частью его образа мира. Следовательно, ее можно рассматривать как некую «ячейку» сознания, находящуюся в неразрывной связи с культурой и языком, то есть как лингвокультурный **концепт**, *содержание* и *выражение* которого меняется при «переходе» от одной лингвокультуры к другой.

«Ядро» лингвокультурного концепта *вежливость*, находится в лингвокультурном сознании **человека говорящего**¹ и обуславливает национальные особенности его коммуникативного поведения, а также особенности восприятия и оценки коммуникативного поведения партнера по общению, что представляет особый интерес при изучении проблем МКК.

Вежливость как предмет научного исследования подробно рассмотрена Т. Лариной (2009: 149–164). По мнению ученого, «национально-культурные особенности коммуникативного поведения обусловлены тем, что концепт *вежливость* в коммуникативном сознании представителей различных культур имеет разное содержание, в процессе коммуникации они исходят из различных представлений (обе разрядки наши – Э. А.) о том, что является вежливым, а что невежливым» (там же: 166).

Систему национально-специфических речевых *коммуникативных стратегий* и обслуживающих их конвенциональных *языковых средств* Т. Ларина именует **языковой вежливостью** (от англ. *linguistic politeness*) (там же: 169). На наш взгляд, лингвистическая вежливость входит в структуру лингвокультурного концепта *вежливость* в виде системы частных концептов - стереотипов речевого поведения. Данные концепты содержатся в лингвокультурном сознании, как нам представляется, в виде схем, сценариев. Разнообразные стратегии направлены на демонстрацию партнеру уважительного и доброжелательного отношения - главную цель (интенцию) вежливого речевого поведения и естественное ожидание партнера по общению.

Мы придерживаемся точки зрения, высказанной Т. Лариной, касательно вежливости как **категории дискурса**: «фраза, взятая вне контекста, сама по себе не может расцениваться с точки зрения вежливости/невежливости, сохранения гармонии в общении

¹ Термин В. Красных (см. Красных 2003: 50).

(основная интенция вежливого речевого поведения – Э. А.) или ее нарушения, она может получить данную оценку только с учетом всего социально-культурного контекста <...> Самая безусловно построенная *этикетная фраза* в том или ином *коммуникативном контексте* (оба курсива наши – Э. А.) может оказаться неуместной и быть воспринята не как вежливость, а как насмешка, ирония, сарказм, то есть оказаться грубостью» (Ларина 2009: 167).

Значение как постоянная часть содержания речевых этикетных формул формируется и расшифровывается при помощи *лингвистического (языкового кода)* и является, как нам представляется, ее «этимологическим смыслом». По Н. Формановской, есть множество примеров этикетных формул, исконный, этимологический смысл которых стерт, и в *Спасибо*, например, русский не «слышит» благопожелания – *Спаси бог* (Формановская 2007: 411).

Актуальное значение (смысл) вежливости этикетная формула приобретает в дискурсе, будучи уместной в определенной коммуникативной ситуации, в определенном **коммуникативном контексте**. Уместность/неуместность употребления речевых этикетных формул в том или ином контексте детерминирована культурно специфическими нормами поведения, общения, то есть *культурным кодом*. Следовательно, смысл единицы РЭ формируется и постигается при взаимодействии лингвистического и культурного кодов. Это смыслообразующее взаимодействие кодов, разделение которых, на наш взгляд, является исследовательской условностью, имеет смысл именовать **лингвокультурным кодом**².

Различия лингвокультурных кодов обуславливают и объясняют различия лингвокультурных сознаний и коммуникативных стилей участников межкультурного общения. Именно знание/незнание «чужого» лингвокультурного кода представляется ключевой проблемой понимания в МКК.

Если речевое поведение в целом определяется как применение гибких стратегий и тактик организации дискурса, то РЭ, на наш взгляд, в виде устойчивых стандартизированных стереотипных речевых поступков оформляет дискурс, входит в его структуру, составляя его *фатический каркас* и *рамку* обязательного

² Термин «лингвокультурный код» используется В. Карасиком и определяется как система взаимосвязанных значений, отражающих специфическое, присущее определенному языковому сообществу исторически обусловленное миропонимание (Карасик 2010: 122).

характера. Приветствие и прощание образуют рамку межличностного дискурса: репликами приветствия начинается общение, репликами прощания оно завершается.

Как отмечает В. Карасик, минимальной единицей дискурса многие ученые признают **речевой акт** (Карасик 2010: 288). Свойства речевого акта Н. Формановская приписывает и этикетным формулам (см. Формановская 2009: 16). Как отмечает исследователь, любая единица РЭ всегда адресована и служит коммуникативной цели (интенции) вступления в речевой контакт с другим, коррекции общения, создания тональности согласия (там же: 12).

Факт понимания смысла этикетного высказывания-действия, то есть достижения его **иллокутивной цели**, обнаруживает себя на уровне перлокуции, которая, на наш взгляд, заключается в создании опции перехода к последующим актам или дискурсивным фазам, при наличии *установки* на речевой контакт. Перлокутивный акт, имеет непосредственное отношение к понятию обратной связи (эффективности) в коммуникации и является «движущей силой» коммуникативного хода.

Истинный смысл этикетных поступков выводится из совокупности вербальных и невербальных средств их осуществления. Национально-культурная специфика прослеживается как на вербальном, так и на невербальном уровне коммуникативного поведения. Интерес для сопоставительного исследования представляют оба уровня в их сочетании, но на данном этапе нашего исследования невербальный уровень не анализируется.

Приветствие

- К вышестоящему или незнакомому; в официальной обстановке:

1) *Здравствуйте!* (с Вы-формами)

[L] *Sveiki!* (Č. G.³: 121) [= здоровы]

[T] 1. *Merhaba!* (S. A.⁴: 3) [араб. *располагайтесь удобно* (TS⁵: 615)]

2. *Selamünaleyküm!* (S. A.: 3) [*Мир Вам!* от араб. *Да будет благополучие над Вами!* (TS: 760)]

³ Čepaitienė G. Lietuvių kalbos etiketas: semantika ir pragmatika. Šiauliai, 2007.

⁴ Selçuk A. Kültürlerarası İletişim Açısından Gündelik İletişim Davranışları// S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/2005 (1–17 s.), Konya.

⁵ Türkçe Sözlük. İstanbul, 2005.

(отв.) *Aleykümselam!* (S. A.: 3)

По наблюдению Н. Формановской (2009: 169-170), приветствия типа <1>, в этимологическом значении содержащие пожелание здоровья, присутствуют во многих языках. В данном случае формулы <1> и <1L> являются эквивалентами на уровне семантики корня составляющих их лексем. Г. Чепайтене отмечает, что в литовском языке само действие приветствия именуется словом *pasisveikinimas*, корень которого [*sveik-* = *здоров*] указывает на то, что здоровье представляет собой особую ценность для литовского народа (Šeraitienė 2007: 121).

Приветствия <1L> и <2L1>, по мнению Г. Чепайтене, представляют собой сокращенный вариант пожелания *Būk sveikas!*, соответствующего русскому пожеланию *Будь здоров!*. Последнее традиционно употребляется как вежливая, дружеская форма прощания (СРРЭ⁶: 196). Просторечным вариантом приветствия при встрече с родственниками, приятелями, знакомыми (с Ты-формами) является частотная формула *Здорово!(Здоров(-а)!)* (СРРЭ: 197).

Турецкие соответствия, представленные во втором варианте репликой-приветствием и инверсивной репликой-ответом (<1T2> и <1T2(отв.)>), не содержат прямого пожелания здоровья. Формула <1T1> содержит скрытое приглашение и пожелание «удобного пребывания». Этимологическое значение формул <1T2> и <1> можно соотнести по второму значению слова *Selam* [араб. *благополучие* (КОТС⁷: 685) и второму же значению слова *здоровствовать* [*благополучно существовать* (по ТСУ⁸)].

Русская формула <1> представлена междометием, производным от глагола *здоровствовать* в форме множественного числа повелительного наклонения. Императив содержится и в формуле <1T1>. Литовское соответствие <1L> представлено формой множественного числа именительного падежа прилагательного *sveikas* [*здоровый*]. Данные формы соотносятся непосредственно с адресатом, с его состоянием. Формулы же <1T2> и <1T2(отв.)> апеллируют к «внешним силам». Эта особенность культурно обусловлена. Данная формула является традиционным приветствием мусульман, широко употребляемой в обыденном общении турок.

⁶ Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. М., 2007.

⁷ Küçük Osmanlıca-Türkçe Sözlük. İstanbul, 2006.

⁸ Толковый словарь русского языка Ушакова.

- К равному – другу, родственнику:
- 2) *Здравствуй!* (с Ты-формами)
 - [L] 1. *Sveikas(-a)!* (Č. G.: 121) (К. А.⁹: 7) (SLKŽ¹⁰: 283)
 - 2. *Labas!* (Č. G.: 119) (К. А.: 7) (SLKŽ: 283)
 - [T] 1. *Merhaba!* (S. A.: 3)
 - 2. *Selam!* (S. A.: 4)

Литовская формула <2L1>, как отмечает Г. Чепайтене, не утратила особенностей прилагательного, так как соотносится с полом адресата (Šeraitienė 2007: 121). Русская же формула <2> в форме императива с полом адресата не соотносится. Примечательно, что турецкие формулы с полом адресата не соотносятся, так как в турецком языке отсутствует грамматическая категория рода.

Формула <2L2> представляет собой сокращенный вариант формул <3L>, <4L> и <7L>. По словам Г. Чепайтене, данная форма прилагательного перешла в разряд междометий, так как утратила характерные для прилагательного признаки: она не соотносится с полом адресата (Šeraitienė 2007: 119).

Выражение <2T2> также представляет собой сокращенный вариант формулы приветствия <1T2> и, по словам А. Сельчука, является широко употребляемым в речи молодежи (Selçuk 2005: 4).

- Приветствия в разное время суток, когда не надо подчеркивать Вы-/Ты-формы общения:
- 3) *Добрый день!*
 - [L] *Labą diena!* (Č. G.: 119) (К. А.: 5) (SLKŽ: 283)
 - [T] 1. *İyi günler!* (S. A.: 2) [= хороших дней]
 - 2. *Hayırlı günler!* (S. A.: 4) [= добрых дней]
- 4) *Доброе утро!*
 - [L] *Labas rytas!* (Č. G.: 119) (К. А.: 5) (SLKŽ: 283)
 - [T] 1. *Günaydın!* (S. A.: 2)
 - 2. *Hayırlı sabahlar!* (S. A.: 2) [= добрых утр]
 - 3. *İyi sabahlar!* (S. A.: 4) [= хороших утр]
- 5) *С добрым утром!*
- 6) *Доброго утра!*
- 7) *Добрый вечер!*
 - [L] *Labas vakaras!* (Č. G.: 119) (К. А.: 5) (SLKŽ: 283)
 - [T] 1. *İyi akşamlar!* (S. A.: 2) [= хороших вечеров]
 - 2. *Hayırlı akşamlar!* (S. A.: 4) [= добрых вечеров]

⁹ Kučinskaitė A. Lietuvių kalbos etiketas. Vilnius, 1985.

¹⁰ Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1987.

В формулах <3L>, <4L> и <7L>, как и в формулах приветствия многих европейских народов, по словам Г. Чепайтене, содержится скрытое пожелание (Čeraitienė 2007: 117). Предположительно, оно восходит к устаревшей формуле *Teesie Jums labas rytas, laba diena!*, а также к разговорному употреблению данных формул в форме винительного падежа: *Labą dieną!, Labą rytą!, Labą vakarą!*, которые являются сокращенным вариантом выражения *Linkiu Jums labą dieną/rytą/vakarą!* (Там же: 117-118). Таким образом, данные формулы содержат скрытое пожелание хорошего дня/утра/вечера, которое также содержится и в русских формулах <3>, <4>, <7>, а особенно прозрачно в <6>, которая формально в наибольшей степени соответствует формулам *Labą dieną/rytą/vakarą!*.

Формула <5> звучит как поздравление: (*Поздравляю*) *с добрым утром!* Можно предположить, что скрытое пожелание содержится и в турецких эквивалентах, так как существуют пожелания типа *Hayırlı akşam dilerim!* [= *доброе вечера желаю*].

Литовские формулы <3L>, <4L> и <7L> являются эквивалентами <3>, <4> и <7> как на уровне семантики лексических компонентов, так и на уровне формально-грамматической структуры высказывания. Турецкие же их соответствия <3T>, <4T> и <7T> употребляются в форме множественного числа.

Формула <4T1> структурно отличается от ее варианта <4T2> и прагматических эквивалентов <4> и <4L>. Она, очевидно, образована при помощи соединения *gün* (*день* от араб. *солнце* (TS: 395)) и *aydın* (*свет*), и, таким образом, содержит скрытое пожелание *солнечного (светлого) дня*.

В русском и литовском языках нет эквивалентов специфической турецкой формулы *Tünaydın!* (лексическая лакуна), которая в Большом турецко-русском словаре (BTRS)¹¹ переводится как *Добрый вечер!*. Она, очевидно, образована при помощи соединения *tün* (устар. *вечер*) и *aydın* (*свет*), и, следовательно, содержит скрытое пожелание *солнечного (светлого) вечера*. Как отмечает А. Сельчук, прагматическим эквивалентом данному выражению является английское *Good afternoon!* (Selçuk, 2005: 3). Таким образом, применение данной формулы ограничено временным отрезком от полудня до вечера. По наблюдениям А. Сельчука, в употреблении формула *Tünaydın!* встречается реже, чем остальные формулы приветствия.

¹¹ Büyük Türkçe-Ruşça Sözlük. İstanbul, 1999 – турецкое переиздание Большого турецко-русского словаря (Москва, «Русский язык», 1977).

По сравнению с формулами групп <1> и <2>, употребление формул групп <3> - <7>, ограничено временем суток, наименование которого в них содержится.

• К равным, друзьям, родственникам в непринужденном общении хорошо знакомых людей, (разговорное):

8) Привет!

- [L] 1. *Sveikas(-a)!* (Č. G.: 119) (K. A.: 7) (SLKŽ: 283)
2. *Sveikas(-a) gyvas(-a)!* (Č. G.: 119) (K. A.: 7) (SLKŽ: 283) [= *здоров(-а) жив(-а)*]
3. *Labas!* (Č. G.: 119) (K. A.: 8) (SLKŽ: 283)
- [T] *Selam!* (S. A.: 4)

9) Приветик!

- [L] 1. *Labutis!/Labuks!* (Č. G.: 119) (K. A.: 8)
2. *Sveikutis(-ė)!* (Č. G.: 121) (K. A.: 8)

Формула <8> и ее деминутив <9> являются однокоренными со словом *приветствие*, именующим комплекс речевых действий, при помощи которых люди здороваются друг с другом. Несмотря на это, данные формулы приветствия не являются основными, их употребление ограничено указанными выше ситуативными параметрами.

Литовская формула <8L3> представляет собой сокращенную <4L>/<7L> конструкцию. Примечательно, что существует литовское (<9L1>, <9L2>), но отсутствует турецкое деминутивное соответствие формулы <9>.

Добавочным лексическим компонентом *gyvas(-a)* [= *жив(-а)*] от остальных соответствий отличается конструкция <8L2>. В некоторых русских просторечных областных вариантах приветствия так же присутствует данный компонент, например, *Живого (живых) (Вас) видеть!* (СРРЭ: 185).

• К приехавшему, пришедшему, входящему в дверь в непринужденном и в официально-деловом общении (приветствие-приглашение):

10) Добро пожаловать!

- [L] *Sveikas/-i atvykęs/-ė!* (Č. G.: 121) (K. A.: 7) [= *здоров(-ы) прибывший(-ие)*]
- [T] *Hoş geldin/-iz!* (S. A.: 6) [= *приятно прибыл(-и) <вы>*] (отв.) *Hoş bulduk!* (S. A.: 6) [= *приятно нашли/прибыли <мы>*]

Русский вариант включает глагол в форме инфинитива, что напоминает конструкцию просьбы или совета типа *прошу/советую + инфинитив* и является употребительной как по отношению

к одиночному так и по отношению к множественному адресату. Литовский вариант включает действительное причастие в форме прошедшего однократного времени, а турецкий – глагол в форме прошедшего времени.

Приветствие <10L> Г. Чапайтене истолковывает так: хозяева рады тому, что гости добрались удачно, что они здоровы, что в пути они не заболели и не пострадали (Šeraitienė 2007: 121). Исследователь сопоставляет данную формулу с русской <10> и отмечает, что последняя, в отличие от литовской, ориентирована на ситуацию прибытия и представляет собой приглашение погостить (Там же). Турецкая формула <10T> представляет собой клише, требующее определенного клишированного ответа <10T(отв.)>. В ней (так же как и в русской формуле <10>) отсутствует сема «здоровый», но содержится смысл положительных эмоций, вызванных прибытием гостя.

К приехавшему (приветствие-поздравление):

11) С приездом!

[L] *Sveiki atvykę!* (V. R.¹²)

Й. Шукис (J. Šukys 2006: 397) отмечает, что в употреблении встречается формула *Su atvykimu!* Очевидно, что это калька с русской формулы <11>. Ее употребление в литовском общении не является оправданным с точки зрения культуры речи и не отражает литовских лингвокультурных традиций. Множество подобных случаев употребления лишь иллюстрируют последствия языкового контактирования.

• К работающему человеку в непринужденной обстановке:

12) Бог в помощь!

[L] *Padėk, Dieve! / Padėk die!* (Č. G.: 123) (SLKŽ: 283) [= *помоги, Боже*]

[T] *Kolay gelsin!* (S. A.: 4) [= *<пусть> легко придется/легким покажется*]

Русская <12> и литовская <12L> формулы являются семантическими эквивалентами с общей лексемой *Бог (Dievas)*. Пожелание божьей помощи работающему человеку является традиционным как для русской, так и для литовской лингвокультуры. Но для турецкой лингвокультуры оно не свойственно в данном ситу-

¹² Vladarskienė R. – старший научный сотрудник отдела культуры речи Института литовского языка, ответственный редактор периодического издания «Kalbos kultūra».

ативном контексте. Семантически эквивалентным выражением с лексемами *Бог (Allah)* и *помощь (yardımcı [= помощник])* является формула *Allah yardımcın(-ız) olsun!* (Жив. р.) [= <да> *будет Бог <твоим/Вашим> помощником!*]. Но данная формула употребляется в ситуации, когда адресату предстоит выполнить непосильную либо очень сложную работу/задачу. При выполнении рутинных работ не принято призывать к помощи Аллаха, достаточно пожелать, чтобы работа оказалась легкой, посильной.

Специфической, свойственной турецкой лингвокультурной традиции, является формула приветствия/прощания, широко употребляемая покупателями по отношению к хозяевам/работникам небольших магазинов, торговых лавок, а также по отношению к торговцам на рынке *Nayırlı işler!* [*выгодных дел/работ*].

Прощание

- Наиболее употребительное (нейтральное):

13) До свидания!

[L] *Sudie(v)!* (С. Г.: 124) (К. А.: 21) (SI¹³.: 40) (SLKŽ: 283)

[T] 1. *İyi günler/akşamlar/geceler!* (S. A.: 8) [= *хорошего дня/вечера/ночи*]

2. *Noşça kalın!* (уходящий) (S. A.: 9) [= *приятно оставайтесь*]

3. *Allahaismarladık.* (уходящий) (S. A.: 8) [= *<мы> поручили Аллаху*]

Наиболее частотным в русском употреблении является выражение <13>, имплицитно выражающее прощание до следующей встречи. В литовском общении наиболее употребительно выражение <13L>. Этому сокращенному варианту традиционного приветствия *Su Dievu!* Г. Чепайтиене дает такое толкование: «... адресант знает, что только Всевышний может уберечь адресата от несчастий <...> и желает адресату быть с Богом, т.е. находиться под его опекой» (Šepaitienė 2007: 125).

Русским формально-лексическим эквивалентом данного выражения является формула *С Богом!*. Она квалифицируется как разговорная и употребляется как напутственное прощальное пожелание (см. СРРЭ: 65).

Нейтральной и наиболее употребительной формой прощания в турецком общении является формула <13T1>, аналог конструкции приветствия <3T1>/<7T1> и представляющее скрытое

¹³ Slenkstis. Council of Europe Publishing, 1997.

пожелание доброго дня/вечера/доброй ночи. Частотны также формы <13Т2> и <13Т3>, но они употребляются только уходящими. Выражение *Hoşça kalın!* весьма схоже с русским *Счастливо оставаться!* (пожелание благополучия при прощании или самостоятельная форма дружеского прощания (СРРЭ: 536)). Выражение *Allahaismarladık* также употребительна уходящими. По своему первоначальному значению (= *мы поручили (Вас) Аллаху*) эта формула, возможно, близка русской возвышенной форме пожелания благополучия *Молю Бога* (см. СРРЭ: 296).

Таким образом, из наиболее распространенных формул прощания больше всего сходств наблюдается в литовском <13L> и турецком <13Т3> вариантах с семантикой пожелания «*божьей опеки*».

• Уточняющие временной отрезок до нового свидания:

14) До встречи!

- [L] 1. *Iki susitikimo!* (К. А.: 20)
2. *Iki/ligi/lig pasimatymo!* (Č. G.: 130) (К. А.: 20) (SLKŽ: 283)

3. *Iki kito susitikimo!* (Č. G.: 128)

4. *Iki malonaus pasimatymo!* (Č. G.: 131)

[T] (*Tekrar*) *görüştük üzere!* (S. A.: 8) [= до встретиться (повторно)]

15) До скорого свидания!

16) До скорой встречи!

[L] *Iki greito pasimatymo!* (Č. G.: 130) (К. А.: 20)

17) До встречи + место (в театре/в университете)!

[L] *Iki pasimatymo + место (teatre/universitete)!* (V. R.)

[T] *Место (tiyatroda/universitede) + görüşmek üzere!* (Жив. р.¹⁴)

18) До встречи + время (в воскресенье/вечером)!

[L] *Iki pasimatant + время (sekmadieni/vakare)!* (V. R.)

[T] *Время (pazar günü/akşam) + görüşmek üzere!* (Жив. р.)

19) До завтра!

[L] 1. *Iki rytojaus!* (К. А.: 20)

2. *Iki rytdienos!* (Č. G.: 130)

20) До воскресенья!

[L] *Iki sekmadienio!* (К. А.: 20)

21) До вечера!

[L] *Iki vakaro!* (Č. G.: 130) (К. А.: 20)

¹⁴ Живая речь.

22) До праздника!
[L] *Iki švenčių!* (К. А.: 20)

23) До лета!
[L] *Iki vasaros!* (К. А.: 20)

Конструкции <13> - <23> с предлогом *до* = *iki* и существительным в форме родительного падежа выражают прощание на некоторое время, до указанного отрезка времени. В данных формулах содержится семантика временного расставания и интенция возобновления контакта/общения в будущем. Время потенциального контакта в будущем именуется в эквивалентных русских и литовских формулах как *свидание/встреча* = *pasimatymas/susitikimas*, иногда с определением *скорая(-ое)* = *greitas* либо с дополнением места/времени. Применяются такие наименования времени последующей встречи: *завтра* = *rytojus/rytdiena*, *вечер* = *vakaras*, название дня недели, времени года и др. В литовском языке употребляется вариант с определением *malonus* = *приятный* (<14L4>). В словаре А. Балакая отмечен его устаревший русский эквивалент *До приятного свидания!* (СРРЭ: 151).

В турецком языке используются формулы, структурно-лексически эквивалентные русским вариантам <14>, <17> и <18> с компонентами = *До встречи/+ место/+ время*. Нет в турецком употреблении формулы с определением = *скорая(-ое)*, указывающим на желание/ожидание скорого возобновления общения. Семантика прощания *до следующей встречи* содержится в литовском <14L3> и турецком <14T> выражениях, а также имплицитно в русских <13> и <14>.

Формулы <19> - <23>, предположительно, представляют собой эллиптический вариант устаревшей формулы *Прощай(те) до свидания (до вечера, до завтра<...>)* (см. СРРЭ: 451). Формулы такого типа не характерны для турецкого языка. Неясно, каким образом образовались литовские их эквиваленты. По словам А. Кучинскайте, на возникновение данного типа формул прощания могли повлиять аналогичные формы, втекающие в языках славянской группы и в немецком языке (Kučinskaitė, 1985: 22).

- Прощание надолго или навсегда:

24) Прощай(-те)!
[L] *Sudie(v)!* (V. R.)
[T] *Allahaismarladik!* (Жив. р.)

В литовском и турецком общении в данном ситуативном контексте употребляются те же, что и рассмотренные выше нейтральные формулы: <13L> = <24L>, <13T3> = <24T>. Этимоло-

гическое значение формулы *Прощай(-те)!* восходит к старинному обычаю просить прощения друг у друга при расставании (см. СРРЭ: 450, 447).

25) Не поминайте лихом!¹⁵

[L] *Atleiskit, jei kas buvo netaip.* (V. R.)

[T] *Hakkina(-iza) helal et(edin)!* (Жив. р.)

[Да будет Бог свидетелем твоей (Вашей) правоты!]

По этимологическому значению формулу <25> можно сопоставить с формулой <24>. По этому же значению ее можно сопоставить с формулами: *Не обижайтесь, не сердитесь, не судите слишком строго, если что не так* (см. СРРЭ: 396); *Прости(-те), если что не так* (см. СРРЭ: 445). Последний вариант структурно-лексически эквивалентен литовской формуле <25L>, часто употребляемой уходящими гостями, особенно после шумного застолья.

Формулам данной группы близка по смыслу турецкая формула <25T>, в которой акцент поставлен не на «виновность» адресанта, а на «правоту» адресата.

• Содержащие скрытые пожелания:

26) Всего хорошего!

[L] *Viso gero!* (Č. G.: 126) (К. А.: 19) (SLKŽ: 283)

27) Всего доброго!

[L] *Viso labo!* (Č. G.: 126) (К. А.: 19) (SLKŽ: 283)

[T] *Selametle!* (уходящему) (S. A.: 8) [С Богом! (= с благополучием/ благополучно)]

Лексически-структурно эквивалентны русские и литовские имплицитные пожелания. Подобной конструкции в турецком языке нет. Скрытое пожелание содержится в формуле, применяемой по отношению к уходящему <27T>, ситуативно-семантически схожей с упомянутой выше русской формулой *С Богом!* и литовской *Sudie(v)!* (*Su Dievu!*).

28) Будь(-те) здоров(-ы)!

[L] 1. *Būk sveikas/būkite sveiki!* (Č. G.: 129)

2. *(Paš)lik sveikas/likite sveiki!* (Č. G.: 129) (К. А.: 20) (SLKŽ: 283)

[T] *Sağlıcakla kal/in!* (уходящий) (S. A.: 9) [= здорово оставайтесь]

¹⁵ «Лихо – зло. Первонач. только о покойниках (*Покойника не поминай лихом. О покойнике худа не молви.*) или как просьба умирающего. Из широко распростр. поверья, что покойнику на том свете будет плохо, если вспомнить о нем недобрым словом» (СРРЭ: 396).

29) Счастливо!

[L] *Laimingai!* (К. А.: 20) (SLKŽ: 283)

[T] *Güle güle!* (уходящему) (Жив. р.) [= смеясь!]

В трех рассматриваемых языках присутствуют формулы прощания с семьей «здоровье» (группа <28>). Примечательно, что в трех языках применяется форма императива = *будь(-те)/оставайся(-тесь)* и без каких-либо добавочных компонентов смягчения императивности, как в некоторых формах просьбы, рассмотренных выше. Думается, что это связано с семантикой желания «блага для другого», как в данном случае, и «блага для себя» в случае просьбы.

Литовская формула <29L> является формально-лексическим эквивалентом русской <29>. Турецкое их соответствие является семантически близким по ассоциативной цепочке «счастье - радость - смех».

- Стилистически повышенное (официальное):

30) Разрешите/позвольте попрощаться!

[L] *Leiskite atsisveikinti!* (Č. G.: 131)

[T] *Müsadenizle vedalaşmak/ayrılmak istiyorum.* (Жив. р.)
[= с Вашего разрешения хочу попрощаться/разойтись]

Стилистически повышенными прощаниями в трех рассматриваемых языках являются формулы группы <30> с семьей «разрешение/позволение», которая в литовском и русском соответствиях оформляется императивом = *разрешите/позвольте*, в отличие от турецкого = *с разрешения/позволения*.

- Стилистически сниженное в непринужденной обстановке (фамильярно-дружеское):

31) Всего!

[L] *Viso!* (Č. G.: 127)

32) Пока!

[L] 1. *Iki!* (Č. G.: 131)

2. *Iki malonaus!* (Č. G.: 131)

[T] 1. *Güle güle!* (уходящему) (Жив. р.)

2. *(Hadi) Eyvallah!* (уходящий) (S. A.: 9) [син. *Allahaismarladık*]

В турецком языке отсутствует эллиптическое (от = *желаю всего хорошего/доброго*) соответствие русскому и литовскому эквивалентам <31> и <31L>. Русскому *Пока!* (от *Пока до свидания/Пока прощай(-те)* (СРРЭ: 388)) прагматически соответствуют литовские конструкции <32L1>/<32L2> (= *До!!/До приятного!*). Данные эллиптические конструкции также не имеют турецких структурных

эквивалентов. В непринужденной обстановке используются <32T1>/<32T2>, первое из которых направляется только уходящему, а второе произносит только уходящий.

- Прощание вечером, на ночь, скорее непосредственно перед сном:

33) Спокойной ночи!

34) Доброй ночи!

[L] 1. *Labos nakties!* (Č. G.: 131) (К. А.: 22) (SLKŽ: 283)

2. *Labanaktis!* (Č. G.: 131) (К. А.: 21) (SLKŽ: 283)

[T] *İyi/hayırlı geceler!* (S. A.: 8)/(Жив. р.) [= *Хороших/добрых ночей*]

Стандартные прощания (имплицитные пожелания) на ночь перед сном в трех рассматриваемых языках содержат общее смысловое ядро пожелания «*доброй/хорошой*» ночи. Русское выражение <33> содержит более конкретизированное пожелание «*спокойной*» ночи.

Выводы

По результатам сопоставительного анализа, большинство формул приветствия в трех рассматриваемых языках представляют собой различного рода благопожелания. В наиболее употребительных формулах приветствия в русском и литовском языках содержатся пожелания *здоровья*, что указывает на ценность данного качества для указанных лингвокультур. В турецких формулах, заимствованных из арабского языка, содержится скрытое приглашение либо пожелание *благополучия*. В трех рассматриваемых языках имеются конструкции приветствия в разное время суток, содержащие пожелания *добра/блага*.

Пожелание божьей помощи работающему человеку характерно для русской и литовской коммуникативной традиции и запечатлено в определенных формулах приветствия. В турецкой культуре принято желать, чтобы работа пришлась легкой.

Среди наиболее употребительных формул прощания наблюдается смысловое сходство основной литовской и вариантной турецкой лакунарных формул с семантикой пожелания «*божьей опеки*». Наиболее употребительной русской формулой, характерной также для литовского и турецкого прощаний, является конструкция, имплицитно выражающая ожидание нового свидания. Таким образом, в самих выражениях прощания отражена желательность возобновления контакта, который, следо-

вательно, представляет высокую коммуникативную ценность в рассматриваемых лингвокультурах.

Специфической является формула *Прощай(-те)!*, используемая при прощании надолго или навсегда, отражающая старинный русский обычай просить прощения перед расставанием. Специфически русским является прощание *Не поминай(-те) лихом!*, то есть недобрым словом. В подобных лакунарных единицах просматривается глубокая традиция заботиться о сохранении доброжелательного отношения к себе со стороны партнера по общению, что является необходимым условием для дальнейшего контактирования. В трех рассматриваемых языках присутствуют формулы так или иначе выражающие данную интенцию, а также формулы с семантикой пожелания добра/благополучия, здоровья, счастья/радости.

Общими являются смысловые ядра прощаний-пожеланий уезжающим, содержащие семы «*удачный*», «*добрый/хороший*», «*счастливый*». Интересной особенностью некоторых турецких формул прощания является их употребляемость только уходящими или только по отношению к уходящим.

В процессе сопоставительного анализа коммуникативно-прагматических соответствий обратил на себя внимание тот факт, что некоторые выражения в сопоставляемых языках имеют соответствия разной степени эквивалентности, которые употребляются в разных ситуативных контекстах, то есть не являются ситуативно адекватными.

ЛИТЕРАТУРА

- Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. М., 2007.
- Земская Е. А. Категория вежливости в контексте речевых действий // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994 – С. 131–136.
- Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла. М., 2010.
- Красных В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003.
- Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М., 2009.
- Словарь по этике. (Доступ в интернете: <http://www.moralphilosophy.ru/index.htm>).
- Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М., 2007.
- Формановская Н. И. Речевой этикет в русском общении. Теория и практика. М., 2009.

- Büyük Türkçe-Rusça Sözlük. İstanbul, 1999.
- Čepaitienė G. Lietuvių kalbos etiketas: semantika ir pragmatika. Šiauliai, 2007.
- Kučinskaitė A. Lietuvių kalbos etiketas. Vilnius, 1985.
- Küçük Osmanlıca-Türkçe Sözlük. İstanbul, 2006.
- Selçuk A. Kültürlerarası İletişim Açısından Gündelik İletişim Davranışları// S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/2005 (1–17 s.), Konya.
- Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1987.
- Šukys J. Kalbos kultūra visiems. Kaunas, 2006.
- Türkçe Sözlük. İstanbul, 2005.
- Zeyrek D. Politeness in Turkish and its linguistic manifestations: a socio-cultural perspective// Linguistic Politeness Across Boundaries. The case of Greek and Turkish. Amsterdam, 2001 – P. 43–75.

Comparative Lingua-cultural Analysis of Russian, Lithuanian and Turkish Speech Etiquette (Basic Forms of Greeting and Farewell) Summary

This article studies theoretical aspects of the speech etiquette as an object of lingua-cultural and intercultural communication. Concepts such as speech etiquette, politeness and linguistic politeness have been defined in this work. A comparative analysis of forms of greeting and farewell in the Russian, Lithuanian and Turkish languages has been applied. In the research, common and specific means of expressing politeness in the forms of greeting and farewell have been determined. The results have shown peculiarities of fragments of the Russian, Lithuanian and Turkish linguistic worldview related to polite communication in greeting and farewell situations.

Keywords: *speech etiquette, politeness, linguistic politeness, greeting, farewell.*

Т. В. Белошапкина

*Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)*

КОГНИТИВНО–ДИСКУРСИВНАЯ ПАРАДИГМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ КАТЕГОРИИ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ)

Общепринятой является мысль о том, что переводоведение, будучи прикладной отраслью лингвистики, вбирает в себя идеи различных лингвистических направлений (Гарбовский 2004; Комисаров 2002; Федоров 1983; Цвиллинг 2003; см.: Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике 1978).

В XXI веке когнитивная лингвистика стала одним из ведущих направлений. За этот период времени у нас появилось несколько интересных работ по переводоведению, выполненных в русле этого направления, – в первую очередь, это книга Т. А. Фесенко (Фесенко 2002).

Когнитивная лингвистика в целом характеризуется множественностью школ и направлений. В России было выработано свое собственное направление, которое получило название **когнитивно-дискурсивной** парадигмы лингвистического знания, которое было сформулировано замечательным лингвистом – Е. С. Кубряковой в ее монографии (Кубрякова 2004а).

Однако сам термин «когнитивно-дискурсивная парадигма» появляется в другой работе Е. С. Кубряковой, в которой ею обращается внимание на то, что «каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на **перекрестке когниции и коммуникации**» (Кубрякова 2004b: 11).

Сегодня в российской когнитивной лингвистике наиболее разработанным является направление, связанное с когнитивной лексикологией, где ключевым является понятие концепта, а во главу угла поставлен лингвокультурный компонент. Однако не менее интересным является и описание концептов базового уровня, у которых этот компонент отсутствует.

Категория аспектуальности давно интересует лингвистов. Установлено, что организация категории аспектуальности в русском языке имеет много общего с организацией ее в других

языках, например в английском (см. Комарова 1988; Зуммер 1989; Ордонова 2004).

Для переводоведения эта категория также является небезынской, о чем свидетельствуют депонированные в ИНИОН РАН работы Г. И. Митрушиной (1990) и О. П. Акишевой (1988).

Когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистического знания несет много интересных идей, краеугольной же мыслью при изучении категории аспектуальности в русле этого подхода является мысль Е. С. Кубряковой, что «одно и то же содержание может быть передано в языке альтернативными средствами» (Кубрякова 2004: 313).

Проанализированный материал современного русского литературного языка, представленный в монографии автора (Белашапкина 2007) позволяет говорить о том, что **категория аспектуальности** является набором девяти концептов-примитивов, служащих для модификации ситуации и передающихся в языке тремя типами фреймов: поверхностным синтаксическим, поверхностным семантическим и тематическим, – осмысление которых происходит с помощью трех когнитивных моделей: позициональной, образно-схематической, метафорической.

Перечислим эти концепты: **единичность, длительность, начало, продолжение, конец, результативность, повторяемость, степень проявления, соотношение с нормой.**

В этом определении используются термины, которые требуют определенного пояснения.

1. Выделяемые концепты получили обозначение **концептов-примитивов**, потому что, во-первых, они обозначают не ситуацию, а лишь ее модификаторов, во-вторых, они обладают свойством семантических примитивов, выделяемых А. Вежбицкой (Вежбицкая 1999а, 1996b) – обозначаются абстрактными словами. Интересно отметить, что среди семантических примитивов, выделяемых А. Вежбицкой, есть «метапредикат» *очень*, «детерминатор» *несколько, немного*, «усилитель» *больше*, «время» *долго, недолго*. Но в отличие от семантических примитивов, где семантический примитив, как указывал В. А. Лукин – «это не значение, не смысл, не сема, а именно слово» (Лукин 1990: 18, 7), а они обладают иным планом выражения – от слова до текста.

2. Понимание фрейма строится на основе фреймовой теории М. Минского (Минский 1979), фрейм в данном исследовании понимается как структура данных, представляющих (стандартную) типическую ситуацию, которая может включать в себя либо один

эпизод, либо несколько эпизодов, то есть быть как моноситуативной, так и полиситуативной. Поверхностный синтаксический фрейм – это моноситуативный фрейм (в традиционной лингвистике – это предложение), а поверхностный семантический и тематический – полиситуативные фреймы (в традиционной лингвистике они соотносятся со СФЕ или ССЦ).

3. Идеализированная когнитивная модель (ИКМ) – понятие, предложенное Дж. Лакоффом (Лакофф 2004), по сути является способом категоризации, осмысления ситуации. Аспектуальные концепты передаются тремя типами ИКМ: пропозициональной ИКМ, образно-схематической ИКМ и метафорической ИКМ. Основным способом передачи категории аспектуальности является пропозициональная ИКМ: этой ИКМ передаются все концепты.

Интересно указать, что выделяемые языковые структуры, способные передавать эту категорию, определенным образом соотносятся такими единицами перевода, как слово, целое предложение и абзац, об этом писал Я. И. Рецкер в своей книге (Рецкер 1974).

Ввиду того, что понятие дискурса является размытым, нами было предложено собственное определение понятия дискурса. **Дискурс** – это реализация языковой системы в определенных формальных и семантических структурах, обладающих в зависимости от социально-временной детерминированности различной степенью продуктивности и служащих социуму в качестве инструмента познания мира.

Термин **дискурсивный** используется в значении, отличном от того, что представлено в «дискурсивной теории аспекта», а именно в значении ‘функциональный’, которое определяется как «обычай, принятая практика, мода или манера (подробнее см.: Демьянков 2000).

Изучение функционирования категории аспектуальности шло на основании трех выработанных параметров.

Первый параметр – это **структурно-семантическая модель** концепта. В этот параметр входит тип ИКМ, передающий исследуемый концепт, а также способы и средства передачи концепта.

Второй параметр – это **продуктивность**. Понятие **продуктивности** не следует смешивать с понятием частотности, которое употребляется в социолингвистике. **Продуктивность** – это общее представление об употребляемости вне статистических исследований.

Третий параметр – это **функциональность**. Понятие **функциональность** – это принятая практика, мода в употреблении средств и способов передачи аспектуального концепта. Это понятие вводится для определения различий между двумя исследуемыми дискурсами.

Материал, привлекаемый к анализу, был получен из текстов второй половины XIX и XX веков. Всего к анализу было привлечено около 500 языковых единиц.

Исследование строилось так, что материалы разных веков исследовались отдельно. Сопоставительный анализ дискурсов второй половины XIX века и XX века позволил увидеть динамику развития языкового сознания человека.

В дискурсе второй половины XIX века категория аспектуальности передается только двумя ИКМ: пропозициональной ИКМ (... *от аппетита она все щелкала зубами* ... А. П. Чехов), образно-схематической (*Я спал мертвым сном*... В. М. Гаршин), причем каждая ИКМ обладает собственной продуктивностью. Наиболее продуктивной является пропозициональная ИКМ, с помощью которой передаются все концепты. Образно-схематическая ИКМ участвует в передаче только одного концепта: **степень проявления**, вариант – **количественная детерминация действия в зоне выше нормы**.

В дискурсе второй половины XIX века в передаче категории аспектуальности участвуют два фрейма: – поверхностный синтаксический фрейм и тематический фрейм. Поверхностный синтаксический фрейм участвует в передаче всех концептов. Тематический фрейм – в передаче концептов **единичность**, **повторяемость**, вариант **итеративность** (*Только однажды мы с ним шутку сделали: подсмотрели, где у него просвиры лежат, подрезали в просвире дно, вынули мякиш да чухонского масла и положили!* М. Е. Салтыков–Щедрин – в этом фрейме все рассказанные героем события случаются однажды, один раз. Информация о событиях передается с помощью четырех пропозиций: осознания определенной информации, подрезания в просвире дна, вынимания мякиша из просвиры, заполнения пустого пространства чухонским маслом).

В современном дискурсе категория аспектуальности передается тремя ИКМ: пропозициональной (... *они часто ссорились*... В. Распутин), образно-схематической (*Он сломя голову помчался в клинику*... Б. Пастернак; *Одна, как буря, ворвалась за занавеску* ... М. Булгаков), метафорической (*Их бег звенел по такыру*... А. Пла-

тонов). Здесь наблюдается та же самая ситуация, что и в дискурсе XIX века – каждая ИКМ имеет собственную продуктивность. Наиболее продуктивной является пропозициональная ИКМ, с помощью которой передаются все концепты. Образно-схематическая ИКМ участвует в передаче только одного концепта: **степень проявления**, вариант - **количественная детерминация действия в зоне выше нормы**.

Образно-схематическая ИКМ имеет достаточно устоявшуюся сферу использования и не ограничена временными рамками какого-либо из изучаемых дискурсов. В объяснении этого кажется интересным опереться на мысль Ю. А. Бельчикова о том, что «движение русского литературного языка в середине второй половины XIX века теснейшим образом связано с развитием русской реалистической литературы. Изменения в самой структуре словесно-художественного творчества, связанные со сменой критериев художественности, глубоко демократический характер теории и практики русского реализма создали благоприятные обстоятельства для приобщения к литературному языку наиболее выразительных, наиболее емких по смыслу и экспрессии лексико-фразеологических единиц и синтаксических образований из ненормированной сферы русского языка» (Бельчиков 1974: 190) – такими средствами в исследуемом материале явились фразеологизмы и сравнительные обороты.

Метафорическая ИКМ участвует в передаче двух концептов: **степень проявления и начало**. Следует обратить внимание, что метафорическая ИКМ как способ осмысления категории аспектуальности появляется только в дискурсе XX века. Возможно, это можно объяснить стремлением к поиску новых путей категоризации уже известного. Так, Ю. М. Лотман в своей работе обращал внимание на то, что «в талантливом произведении искусства все воспринимается как создание *ad hoc*. Однако в дальнейшем, войдя в художественный опыт человечества, произведение для будущих эстетических коммуникаций все становится языком, и то, что было случайностью содержания для данного текста, становится кодом для последующих» (Лотман 1998: 31).

В передаче категории аспектуальности в современном дискурсе участвуют три фрейма: поверхностный синтаксический фрейм, поверхностный семантический фрейм и тематический фрейм. Фреймы обладают индивидуальной продуктивностью – наиболее продуктивным является поверхностный синтаксический фрейм, который участвует в передаче всех концептов.

Поверхностный семантический фрейм передает только один концепт **степень проявления** (*Что обстрел сильный и точный, они поняли сразу. Все кругом гудело от близких разрывов.* К. Симонов – в этом фрейме передается информация об интенсивности артиллерийского обстрела. Первое высказывание передает ситуацию, имеющую место в реальной действительности, – ситуацию артиллерийского обстрела и дает характеристику степени признака, представленного в этом высказывании. Но представленная информация не достаточна для идентификации с реальной ситуацией – не хватает сведений о степени признака. Второе высказывание уточняет степень интенсивности признака, представленного в первом высказывании).

Тематический фрейм участвует в передаче пяти концептов: **степень проявления, единичность, длительность, начало, повторяемость, вариант итеративность**: *Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга на той стороне балки на немецкие автомашины обрушились "КВ", сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метров от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад к глубокому оврагу* (М. Шолохов). В этом фрейме передается информация о границах временного промежутка, границы которого весьма условны: первое высказывание определяет границы промежутка, в котором совершается действие, представленное во втором высказывании.

В проведенном исследовании последовательно учитывался критерий продуктивности. Относительно каждого описываемого средства дается указание, в каких источниках оно встречается.

Средства передачи категории аспектуальности были описаны с точки зрения их функциональности. Все средства, используемые в обоих дискурсах, делятся на две группы. Первая группа – «**универсальные**» средства, которые используются во всем дискурсе современного русского литературного языка. Вторая группа – «**неуниверсальные**» средства, используемые только в каком-либо одном источнике и определяющие идиостиль писателя. Но оказалось, что «**универсальные**» средства обладают разной **функциональностью**.

Так, например, в монопредикативном высказывании средства с точки зрения функциональности делятся на три группы.

Первая группа – средства, используемые в обоих дискурсах: адвербиальные выразители, синтаксически связанные сочетания, предложно-падежные сочетания, частицы, модальные слова. Вторая группа – средства, используемые только в современном дискурсе: сравнительные обороты, а также отдельные семантические типы высказывания (лично-субъектные номинативные предложения –... и вот **опять** стрельба ... Б. Пастернак). Третья группа – средства, используемые в дискурсе XIX века: определительные местоимения **такой, какой** (... **такая** чувствительная душа! И. С. Тургенев).

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что когнитивно-дискурсивное исследование может иметь практическое использование в теории литературного перевода.

Во-первых, этот подход позволяет увидеть целостную картину способов и средств передачи категории аспектуальности. Следовательно, переводчик может выбрать из этого списка наиболее адекватное средство для перевода.

Во-вторых, этот подход позволяет определенным образом решить проблему исторической стилизации переводного языка. Вопросы стилистической позиции и стратегии переводчика при переводе произведений, написанных не современным языком, описаны достаточно хорошо. Об этом писали А. В. Федоров (Федоров 1983), И. Левый (Левый 1974), А. Попович (Попович 1980), Б. Хохел (Хохел 1986), В. С. Виноградов (Виноградов 2009). Художественные произведения переводятся современным переводчику языком, но он работает, как указывал А. В. Федоров, «с таким отбором словарных и грамматических элементов, которые в известных случаях позволили бы соблюсти историческую перспективу» (Федоров 1983: 285). Поэтому функциональная характеристика того или иного средства в рамках литературного языка может участвовать в создании исторической перспективы переводимого произведения.

Так, например, с одной стороны, в дискурсе второй половины XIX века используются средства, которые в XX веке считаются устаревшими и практически вышли из употребления (об этом свидетельствуют данные словарей):

- союз **покуда**;
- союзное слово **что за**;
- наречие **невдолге**;
- многоактные глаголы типа **хаживать, сживать**;

- синтаксически связанные сочетания *часы за часами, несколько дней сряду*;
- также в языке этого периода встречается употребление существительного в творительном падеже, примыкающего к глаголу *походом идти*.

А с другой стороны, определительные местоимения *такой, какой*, которые во всех словарях современного русского языка не имеют никаких помет, являются средствами, используемыми в только дискурсе XIX века. Эти местоимения имеют разную продуктивность. Местоимение *такой* встречается у М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева: *Это такой поступок!* (М. Е. Салтыков-Щедрин); ... *такая чувствительная душа!* (И. С. Тургенев). Местоимение *какой* относится к «неуниверсальным средствам» и встречается только у А. П. Чехова: *Какая прелесть эта Мисюся!*.

В-третьих, думается, что этот подход может лечь в основу филологического направления в переводе, о котором писал В. С. Виноградов. Им обращалось внимание на то, что «на материале художественного перевода лингвисту не обойтись без эстетических оценок и литературоведческих подходов, а литературоведу, размышляющему о переводе, постоянно приходится обращаться к лингвистическим понятиям» (Виноградов 2009: 10).

Проведенное исследование здесь, думается, может быть весьма полезно. Как уже говорилось выше, все средства, привлекаемые к анализу, характеризуются по степени продуктивности, то есть делятся на «универсальные» средства, встречающиеся в разных источниках и «неуниверсальные» средства, встречающиеся только в одном источнике. «Универсальные» средства градуируются по степени продуктивности, таким образом выделяется некое ядро аспектуальных средств и периферия. Это, с нашей точки зрения, может стать некоей лингвистической основой для определения лингвистом эстетических оценок, ведь эстетическая оценка во многом определяется через такие понятия, как **обычай, принятая практика, мода или манера**, а это не что иное, как наше понимание дискурсивности.

Так, например, Наречие *тихо/ тихонько* в современном дискурсе встречается в 50% источников, у Ю. Трифонова, М. Шолохова, М. Булгакова, И. Бунина, А. Платонова, К. Паустовского: ... *льды тихо* плыли своим путем ... (Ю. Трифонов); ... *тихо дрожит* [нитка паутины] ... (М. Шолохов); ... *тихо стукнул* ... (М. Булгаков); ... *тихонько* щипал себе кисть левой руки... (М. Булгаков); ... *я тихо* шел по темнеющим улицам... (И. Бунин); ... *тихо* поехал

через стрелки ... (А. Платонов); ... лес ... **тихо** тлеет от солнечного зноя ... (К. Паустовский).

В дискурсе же 19 в. наречие **тихо** встречается в 20% источников, у Л. Н. Толстого, А. И. Герцена: ... [Долохов осторожно] и **тихо** полез в окно ... (Л. Н. Толстой); [В эту минуту демонстрация получила величавый характер.] По мере того как мы **тихо** двигались по бульварам, все окна отворялись... (А. И. Герцен).

Это наблюдение показывает, что на протяжении более чем ста лет не произошло каких-то заметных изменений в употреблении этого наречия, однако наблюдается тенденция к увеличению его продуктивности. Что это как не практика и мода?

Наблюдения над переходом универсальных средств в неуниверсальные и наоборот показывают, как меняется мода в употреблении. Так, в современном дискурсе наречие **чуть/ чуть-чуть** встречается в 41,6% источников, у Б. Пастернака, М. Булгакова, В. Распутина, М. Шолохова, К. Паустовского: В вагоне **чуть-чуть** несло из уборных ... (Б. Пастернак); ... губы его шевелились **чуть-чуть** ... (М. Булгаков); Катя **чуть** оживлялась ... (В. Распутин); ... хирург **чуть-чуть** улыбнулся... (М. Шолохов); ... солнце на льду **чуть-чуть** светится ... (К. Паустовский). В дискурсе 19в. это наречие относится к разряду «неуниверсальных»: ... сквозь которые [шторы] **чуть-чуть** пробивался свет ... (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что когнитивно-дискурсивные исследования имеют выход в теорию и практику перевода, но их использование требует особого вида презентации, а именно в виде справочных изданий. Думается, что это должны быть как словари-справочники на русском языке, так и некие сопоставительные исследования, отраженные в двуязычных справочных изданиях, что, впрочем, требует дальнейших когнитивных исследований.

ЛИТЕРАТУРА

- Акишева О. П. «Способ протекания глагольного действия как частный вопрос переводоведения» Барнаул, 1988. Депонировано в РАН ИНИОН.
- Белошапкина Т. В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке. М., 2007.
- Бельчиков Ю. А. Русский литературный язык во второй половине XIX века. М., 1974.

- Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999а.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996b.
- Виноградов В. С. Перевод. Романские языки: общие и лексические вопросы. М., 2009.
- Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике М., 1978.
- Гарбовский Н. К. Теория перевода. М., 2004.
- Демьянков В. З. Функционализм в зарубежной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: сб. обзоров. М., 2000. – с. 26–136.
- Зуммер С. М. Функционально-семантические взаимосвязи глагольных категорий в русском и английском языках: (футуральность, аспектуальность, таксис, модальность) Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1989.
- Комарова О. А. О различных подходах к изучению категории вида в английском языке // Аспектология и контрастная лингвистика. Калинин, 1988. – с. 52–56.
- Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. М., 2002.
- Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004а.
- Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Известия АН. Серия литературы и языка. Т.63, 2004b, №3. – с.3–12.
- Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.
- Левый И. Искусство перевода. М., 1974.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб., 1998. – с. 14 – 285 .
- Лукин В. А. Семантические примитивы русского языка: основы теории (предварительные публикации / Ин-т рус. яз. АН.СССР). М., 1990.
- Минский М. Фреймы для представления знаний. – М., 1979.
- Митрушина И. «Русская начинательность и ее перевод на английский язык» Брянск 1990. Депонировано в РАН ИНИОН.
- Ордонова Р. Б. Аспектуальность как лингвистическая парадигма в разносистемных языках (на материале русского, английского и кабардинского языков). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Нальчик 2004.
- Попович А. Проблемы художественного перевода М., 1980.
- Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода М., 1974.
- Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1983.
- Фесенко Т. А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода. Тамбов, 2002.

Хохел Б. Время и пространство в переводе // Поэтика перевода М., 1986, с. 152–171.

Цвилинг М. Я. Когнитивные модели и перевод // Вестник МГЛУ. Вып. 480. М., 2003. – с. 21–26.

The Cognitive-Discourse Paradigm of Linguistic Knowledge and Literary Translation (On the Material of Category of Aspectuality)

Summary

The article is devoted to the questions of translations of the category of aspectuality in the light of cognitive-discourse paradigm of linguistic knowledge.

The category of aspectuality is described as a set of nine primitive-concepts, namely, the degree of representation, beginning, continuation, end, solitude, length, result, regularity, and existence of norm correlation.

The discourse analysis includes the following parameters: the structural-semantic model of concepts, the productivity, and the functionality.

This approach helps solve the problem of historical stylization of a source or target language.

Keywords: *category of aspectuality, cognitive-discourse paradigm, discourse analysis, structural-semantic model of concepts, productivity, functionality.*

М. В. Беляева, Е. Ф. Киров

Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)

О СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ В ТЕКСТЕ

Понятие позиции в синтаксисе, как и морфологию, пришло из фонологии. По аналогии с фонетической позицией: сильной или слабой (Н. С. Трубецкой, Московская фонологическая школа), а также сверхслабой (Е. Ф. Киров), стало возможным говорить о синтаксической позиции: сильной, слабой, сверхслабой. Понятие позиции в фонологии связано с понятием нейтрализации различительных признаков фонемы: в сильной позиции сохраняются все ее различительные признаки, в слабой позиции происходит нейтрализация некоторых признаков, в сверхслабой позиции сохраняются только категориальные и интегральные признаки фонемы, а различительные признаки полностью нейтрализуются (Киров 1989).

Хотя понятие синтаксической позиции пока не нашло широкого применения в лингвистических исследованиях, можно обнаружить два направления в интерпретации синтаксической позиции:

- изучение синтаксических позиций единиц в предложении,
- изучение синтаксической позиции предложения в тексте.

В первом случае речь идет о функционально-синтаксических позициях в предложении, которые выделяются вместо общепринятых членов предложения (см. подр.: Норман 2011). Так, например, Б. Ю. Норман показывает, как происходит распределение сильной или слабой позиции для элемента внутри предложения, взяв за основу рассмотрения субъект действия. Сильная позиция, по Норману, – это позиция подлежащего, выраженная формой именительного падежа, что является реализацией его основного грамматического признака: *Иванов* написал книгу.

В слабой функционально-синтаксической позиции субъект действия может быть выражен таким образом, что сама функция субъекта уже не столь однозначна, она нейтрализуется и совмещается с иными семантическими функциями, например: *Книга написана Ивановым. У Иванова написана книга.* Таким образом,

функционально-синтаксическая позиция сочетает в себе две и более семантических функции типа «субъект-локатив», «субъект-объект», «субъект-инструментарий» и т.д. (Норман 2011).

Иными словами, в одном случае в зависимости от ситуации общения используется вполне конкретный субъект действия, в другом же – субъект действия представляется размыто, неопределенно. В таком случае можно сказать, что грамматическая субъектность имплицитована, что, видимо, мотивировано прагматическими факторами и коммуникативным намерением говорящего/пишущего. В связи с этим нам представляется, что можно говорить не только о субъекте как грамматико-синтаксической единице высказывания, но вслед за Ч. Филлмором и Л. Теньером также и об акторе пропозиции как непосредственном инициаторе (производителе) действия – в рамках семантического синтаксиса. Рассмотрим синтаксические позиции актора в пропозиции предложения-высказывания.

Сильная позиция актора (субъекта действия) внутри высказывания / предложения – актор пропозиции вполне определен: *Иван построил дом*. В таком высказывании мы обнаруживаем собственно конкретный субъект, воплощающий роль конкретного актора пропозиции, при этом субъект может быть и множественный (*мы с Иваном, четыре студента* и т.д.). Таким образом, грамматический субъект в структуре предложения и актор пропозиции высказывания полностью совпадают.

Слабая позиция актора (субъекта действия) – в данном случае частично нейтрализованы семы определенности актора, что приводит к размытости субъекта действия, например, в высказывании типа: *Не без Ивана построен дом*. В таком высказывании целесообразно выделять архисубъект (используя мотивирующую терминологию Н. С. Трубецкого), и в данном случае потенциальный субъект не является единственным производителем действия: в зависимости от контекста возможна расширенная интерпретация актора, который превращается в архиактора, т.е. совмещенного актора, о чем свидетельствует приведенное выше высказывание.

Сверхслабая позиция актора (субъекта действия). Введение такой позиции и соответствующей синтаксической единицы потребует предварительного комментария, поскольку в системе единиц фонологии Н. С. Трубецкого нет квазифонемы. Тем не менее, основания для введения в фонологию и в лингвистику в целом такой предельно обедненной различительными признаками

единицы имеются. Дело в том, что в ряде позиций русского слова имеются такие, для различения смысла которых вовсе не важно, какая именно гласная единица присутствует в особой позиции, названной сверхслабой (Киров 1997). Примером сверхслабой позиции и гласной квазифонемы может служить гласная единица во втором предударном слоге – типа *пѣсматр'И*, *зѣпишиЫ* и т.д. (заглавными буквами обозначена ударность). Вполне понятно, что редуцированные гласные в русском языке являются манифестацией гласных квазифонем. Эта единица была введена на X Конгрессе фонетических наук в Утрехте (Kirov 1983), и таких звуков в русской речи встречается предостаточно. В теории Московской фонологической школы нет такого понятия, как и в классической версии Пражской фонологии Н. С. Трубецкого. Однако справиться с фонологической трактовкой русских редуцированных звуков без логических потерь не удалось ни одной фонологической школе. На наш взгляд, введение особой фонемной единицы – квазифонемы и особой позиции для нее – сверхслабой – позволит избежать этих логико-теоретических трудностей.

Теперь перейдем к рассмотрению сверхслабой синтаксической позиции, которая обнаруживается в высказывании с нейтрализованными признаками субъекта действия. Итак, в такой единице сохраняется только общая базовая модель, позволяющая предполагать субъектную роль в потенции, поскольку актер действия в принципе возможен в пропозиции, однако он не присутствует как таковой в качестве выраженной единицы. Рассмотрим высказывание: *У Ивана построен дом*. Данный пример подобен тому, который приводит Б. Ю. Норман, но интерпретируется нами этот пример совсем по-иному: Б. Ю. Норман считает, что в данном случае мы встречаемся со слабой синтаксической позицией (с концепцией сверхслабой позиции Б. Ю. Норман не знаком). Итак, как свидетельствует приведенное высказывание, в общем контексте понятно, что Иван – возможный участник строительства дома, а может, только заказчик, хотя в целом это не важно. Из данного высказывания следует только то, что кто-то построил дом, и Иван как-то с этим связан, он даже потенциально может быть связан с ролью актора данного предиката *построен*. В итоге, как Иван связан с этой ролью, для говорящего и слушающего в данном случае не важно. В таком высказывании на глубинном уровне пропозиции можно выделить квазисубъект действия *?НЕКТО?* В подобных предложениях-высказываниях мы имеем дело с имплицитным выражением собственно

грамматического субъекта в структуре предложения, при этом семантика и функции актора пропозиции потенциально сохранены в логико-семантической структуре предложения, пониманию которой способствует также и окружающий контекст.

Совершенно очевидно, что парадигма позиций внутри предложения может распространяться и на другие синтаксические роли. Подобный анализ может быть проведен и по отношению к другим актантам и сирконстантам пропозиции, которые могут попадать в сильные – слабые – сверхслабые позиции, принимая в каждом случае соответствующую роль: актанта – архиактанта – квазиактанта или сирконстанта – архисирконстанта – квазисирконстанта.

Теперь обратимся к рассмотрению синтаксической позиции целого предложения в рамках текста. Важно отметить, что основной функцией единиц синтаксического уровня является образование текстов, и при этом синтаксические единицы обязательно употребляются в разных позициях (сильной, слабой, сверхслабой) в зависимости от их местонахождения в информативной или малоинформативной зоне текста [Киров, 1989: 46-47]. Существенным для синтаксической позиции предложения-высказывания при этом является то, каким образом в тексте складываются условия для его употребления. Мы исходим из общепринятого в лингвистике постулата, что предложение – это структурная схема (Русская грамматика 1980 и др.), т.е. это языковой образец, который может быть воплощен в речи при формировании высказывания, но не обязательно в полном объеме, что обеспечивает экономию языковых средств. Важно подчеркнуть, что воплощение структурной схемы-образца в речи без наличия в языке в целом универсального типового образца невозможно. При этом следует предполагать, что при использовании языка в речи существующие схемы предложений могут попадать в разные по силе внутритекстовые позиции, что неминуемо будет приводить к нейтрализации элементов структурной схемы предложения. В таком случае мы можем рассматривать варианты структурной схемы предложения в соответствии с позициями: предложение обнаруживается в сильной текстовой позиции, архипредложение в слабой позиции, квазипредложение в сверхслабой позиции, опираясь на вышеприведенную технологию анализа языковой единицы.

Предложение – это образец / модель / схема, которая реализуется в речи в полном объеме и содержит все структурные

показатели в соответствии с общеязыковым образцом. Архипредложение, в нашем понимании, в отличие от предложения представляет собой структурную схему (по аналогии с архифонемой), в которой нейтрализованы некоторые структурные признаки типовой модели. Архипредложение используется для производства высказывания, которое понимается в речи только в определенном контекстном окружении. Квазипредложение – это схема еще более упрощенного и абстрактного уровня, которая лишь в самых общих чертах соответствует общепринятому пониманию модели предложения (в такой схеме нет даже структурной синтаксической роли субъекта, предиката, объекта и т. д.). Рассмотрим функционирование высказываний в тексте в соответствии синтаксической позиции.

1. Если схема предложения полностью совпадает с общеязыковой схемой предложения и порождает высказывание, обладающее полным набором ролей (т. е. состав сказуемого и состав подлежащего максимально полон), то высказывания, базирующиеся на такой полной схеме, находятся в **сильной синтаксической позиции** в тексте, поскольку в их структуре не происходит нейтрализации элементов полной схемы предложения. Например, предложение «Сегодня хорошая погода» и высказывание «Сегодня (нулевой предикат бытия) хорошая погода» в беседе о погоде совпадают, вызывая в сознании слушающего пропозицию соответствующего смысла, что означает – высказывание как реализация предложения не редуцировано. Можно говорить в данном случае о сильной синтаксической позиции также постольку, поскольку высказывание, реализующее наиболее полную схему предложения, менее всего зависимо от контекста, т. е. оно автосеманлично.

2. О слабой синтаксической позиции уместно говорить в том случае, если в высказывании имеются синтаксические лакуны, возникающие в результате нейтрализации некоторых синтаксических ролей. Следовательно, высказывание на базе такой структурной схемы, будет находиться в **слабой синтаксической позиции**. Например, архипредложению, порождающему высказывание по схеме «**некое Состояние в некое Время**», т. е. «**КС+темп.**» (*так-то* есть *тогда-то*), в котором нейтрализована роль пациента «*кому-то*», может соответствовать высказывание «Сегодня хорошо». Это высказывание без контекста однозначно понято быть не может. Такое высказывание вообще может использоваться в разных контекстах и порождать разные смыслы:

«Сегодня хорошо на улице», «Больному сегодня стало хорошо», «У меня сегодня рука не болит», «Студент сегодня ответил хорошо» и т.д. – и все это может быть выражено конструкцией «Сегодня хорошо». Иными словами высказывание, реализующее архипредложение вне контекста, синсеманлично. Таким образом, в подобных высказываниях мы имеем дело с нейтрализацией некоторых синтаксических элементов структурной схемы предложения языка, т.е. с неполным насыщением данной синтаксической единицы различительными признаками, что отражается в самой модели архипредложения.

3. Если в тексте складывается ситуация почти полного «смыслового безразличия» к тому, что сказано, то в речевой ситуации для построения высказывания используется квазипредложение как простейшая схема, порождающая высказывание без ролей актора, объекта, инструмента и даже предиката. Такое высказывание представлено в сверхслабой синтаксической позиции в тексте, которая требует чрезвычайного вмешательства контекста для того, чтобы из такого высказывания извлечь какой-либо смысл (чаще – эмоциональный). При этом уже в структуре квазипредложения нейтрализованы все основные синтаксические признаки предложения. К подобного рода квазипредложениям можно отнести синтаксические структуры, в основе которых лежат ругательства (*Чтоб тебе!*), пустые сентенции (*Елки-палки!*), междометия или местоимения категории состояния, образующие слова-предложения (см. статью Е. Ф. Кирова «Местоимения категории состояния в русском языке»): типа *Брр! Ух ты!* и т.д. Высказывания, реализующие такие квазипредложения, выступают в сверхслабой синтаксической позиции, являясь абсолютно зависимыми от своего контекстного окружения, и в силу нейтрализации основных синтаксических признаков структуры высказывания (предиката, субъекта, объекта действия и т.д.) могут быть поняты реципиентом в зависимости от контекста. Приведем пример – это фрагмент разговора из одной пьесы по записным книжкам Гоголя: - *Комиссия приехала.* - *Ну так цо?* – *То-то - цо. Курицу слопали. Еще хотят.* – *А, пустое...* *Сват. А нам бы того?* – *Я бы, сват, очень того. Женка-то тае. Так уж и ну.* – (*сокрушенно*) *Так уж и ну!* (Аринин, 1999: 209). Данный фрагмент примечателен тем, что в значительной мере состоит из высказываний в слабой и сверхслабой синтаксической позиции. Без более широкого контекста смысла высказываний в полном объеме понять затруднительно.

Таким образом, в тексте представлены высказывания в разных позициях, образующих в целом парадигму. Так, в сильной синтаксической позиции высказывания несут основную смысловую нагрузку, являясь информативно значимыми компонентами текста (образуют кристаллическую решетку текста). Высказывания в слабой или сверхслабой синтаксической позиции, безусловно, могут интегрироваться в текст (прежде всего – диалогический или разговорный), при этом их употребление обуславливается как стремлением к экономии языковых средств, так и речевой экспрессией. Такие высказывания построены по синтаксической схеме с нейтрализованными признаками – актора, объекта, пациенса и др. Для систематизации подобных синтаксических построений можно применить понятие парадигмы синтаксических позиций, предлагаемое в данной работе. Очевидно, синтаксические позиции (сильная, слабая и сверхслабая) образуют позиционную модель будущего высказывания, на которые параллельно и в режиме «on line» накладываются структурные схемы предложения. Фундамент модели высказывания строится из цепочки позиций, ограниченной схемой интонационного контура планируемой фонофразы. На этот фундамент одновременно накладываются синтаксемы, т. е. морфолого-синтаксически взаимосвязанные словоформы, обладающие синтаксической семантикой (Золотова, 1982). В результате выбора из позиционно-структурной парадигмы порождается высказывание, построенное по схеме предложения, архипредложения или квазипредложения – в зависимости от синтаксической позиции.

ЛИТЕРАТУРА

- Аринин В. И. Неразгаданные тайны Пушкина. – М.: Современник, 1999. – 269 с.
- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наук, 1982. – 367 с.
- Киров Е. Ф. Теоретические проблемы моделирования. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1989. – 256 с.
- Киров Е. Ф. Фонология язык. Ульяновск: Ульяновский ун-т, 1997. – 451 с.
- Норман Б. Ю. Грамматика говорящего: От замысла к высказыванию. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 232 с.
- Русская грамматика. Т. 1. – Москва: Наука, 1980. – 784 с.
- Kirov E. Ph. Gradational phonology of the language. Proc. Of Tenth Int. Congr. Of Phon. Sciences. Netherlands: Utrecht, 1983. – P. 161.

On Syntactic Positions

Summary

In the article the concept of a strong, weak and super-weak syntactic position borrowed from phonology is considered. It is possible to see two directions in interpretation of a syntactic position: studying syntactic positions of units in the sentence and studying syntactic positions of the sentences in the text. The type of a syntactic position is thus caused by the degree of realization of the basic signs of the corresponding syntactic unit.

Keywords: *strong, weak and super-weak syntactic positions, syntactic unit.*

С. В. Власова*Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)*

КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, НАЗЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛ, В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ И ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКАХ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Как известно, категория определенности / неопределенности (далее – О / НО) оказала большое влияние на становление в славянских языках прилагательного как части речи.

Местоименные прилагательные – общая особенность, унаследованная балтами и славянами из индоевропейского языка. Употребление древней индоевропейской местоименной основы получило в балтийских и славянских языках черты явного формального сходства: местоимение стало употребляться только с адъективами, постпозитивно (Зинкевичюс 1958: 54–56). Тот факт, что и у балтов, и у славян определенный член присоединился не к самому существительному, а к прилагательному, оказался роковым: между значением определенности и собственной семантикой разных групп прилагательных возникли сложные взаимодействия. Тесная связь между употреблением полной или краткой формы и принадлежностью прилагательных к разным лексическим группам для славянских языков была отмечена впервые Л. П. Якубинским (1953: 209–216) и детализирована Н. И. Толстым (1957: 62–95).

Судьба местоименных прилагательных в балтийских и славянских языках сложилась по-разному. Балтийские языки до сих пор сохранили местоименные прилагательные как определенную грамматическую категорию наряду с простыми прилагательными. В славянских языках формы сильно фонетически упростились, и со временем перестали осознаваться как двухкомпонентные образования.

Возникает вопрос, какие же причины, кроме вышеупомянутых фонетических предпосылок, привели к тому, что со вре-

менем в русском языке именно полные¹ формы стали выразителями категории прилагательных вообще, а в литовском языке, наоборот, преобладающими являются простые формы, хотя в языке по-прежнему местоименные формы прилагательных сохраняют значение определенности. Ответить на этот вопрос может помочь сопоставление данных литовского языка и ранних славянских текстов.

Ранние памятники древнерусского книжного языка, например тексты Успенского сборника XII–XIII вв. (далее – Усп. сб.²), хороши для исследования тем, что в них еще можно наблюдать остатки былой зависимости распределения форм прилагательных от выражения ими категории О / НО существительного, к которому они относятся (Власова 2006b). Анализ прилагательных в контексте позволяет установить некоторые закономерности в употреблении форм, что может помочь приблизиться к разгадке их первичного значения, а также причин такого направления в развитии.

Оппозиция форм прилагательных – черта в первую очередь именно книжно-литературных текстов, обусловленная во многом книжными традициями того времени. Считается, что в живом древнерусском языке формы согласуемых слов значениями О / НО не обладали, а в письменных памятниках были всего лишь результатом искусственно усвоенных древнерусскими книжниками норм церковнославянского языка (Кузнецов 2000). Немаловажно, что даже в этом проявляется близость между литовским языком и церковнославянским (древнерусским): для обоих языков оппозиция определенных / неопределенных форм в первую очередь является книжной чертой. Местоименные формы прилагательного функционируют прежде всего в литовском литературном языке. Во многих литовских диалектах местоименные формы по тем или иным причинам почти исчезли, хотя имеются их реликты, кроме того, местоименные формы широко представлены в фольклоре (Зинкевичюс 1958: 97–100).

¹ В работе мы используем пару терминов “полные” и “краткие” прилагательные, хотя они и не отражают особенностей исторического строения форм, но устраивают нас, так как будет анализироваться не формальное строение парадигмы, а семантика форм. Литовские прилагательные будем называть “местоименными” и “простыми” в соответствии с принятой в литовском языке терминологией.

² При анализе использовано издание: Успенский сборник XII–XIII вв., Котков С. И. (ред.), Москва, 1971. При цитировании примеров указывается лист, столбец и строка, в которой находится прилагательное.

В литовском разговорном языке мало используются местоименные прилагательные (за исключением обозначающих вид, сорт предмета), зачастую правильному использованию местоименных форм научаются в школе, через тексты-образцы художественной речи или правила грамматики. В древнерусский период оппозиция форм прилагательного в атрибуте как выражение О / НО тоже характерна в первую очередь для церковнославянских литературных текстов, а в деловых и бытовых памятниках ситуация может быть иной (Кузнецов 1983).

Доказательства непреходящей значимости данных литовского языка для исследований в области славистики содержатся в статьях Э. А. Балалыкиной (Балалыкина 2005, 2009). Во второй из них затрагивается и важная для истории языка проблема отношений между краткими и полными прилагательными русского и литовского языков. Исследовательница отмечает, что местоименные прилагательные литовского языка обладают выделительным значением, но слишком акцентирует внимание на том, что «Выделительное значение прилагательных литовского языка часто проявляется как более высокая степень качества, то есть имена существительные, определяемые местоименными прилагательными, обладают тем или иным качеством в большей степени, чем имена существительные, определяемые простыми прилагательными». Ниже отмечается, что «Когда-то местоименные прилагательные в древнерусском языке тоже обладали выделительным значением, которое заключалось в местоимении» (Балалыкина 2009: 54–55). Создается впечатление, что в литовском языке все дело в степени качества (более высокой или низкой), а в древнерусском – в местоимении.

Современные исследователи категории О / НО и оппозиции простых и местоименных форм прилагательных литовского языка, строящие свои выводы на новейших достижениях генеративной грамматики и когнитивной лингвистики, пришли к убеждению, что формы прилагательных в литовском языке являются выразителями О / НО существительного, к которому они относятся. Речь, таким образом, должна идти не об определенности прилагательного, а об определенности всей именной группы. Таким образом, формы прилагательного помогают решать проблемы коммуникации, так как первичной функцией категории определенности является координация референции (Holvoet, Tamulionienė. 2006; Mikulskas 2006; Spraunienė 2009). Несомненно, лексическое значение прилагательного играет свою роль в фор-

мировании значения определенности, но каков механизм этого процесса – пока открытый вопрос.

Уже Н. И. Толстой, анализируя старославянские тексты, заметил что все прилагательные можно разделить на две группы, не совпадающие с их делением на разряды. К первой группе он относит прилагательные, выражающие свойство предмета, которое «не содержится в самом предмете, а привносится извне», а ко второй группе те, «которые выражают внутреннее свойство (качество) предмета, присущее ему по самой природе» (Толстой 1957: 72). Интересно, что принадлежность к той или иной группе влияет на употребление прилагательного в полной или краткой форме: в первой группе преобладает полная форма, а для второй, в которую попадают наряду с качественными прилагательными и относительные прилагательные, обозначающие материал, характерна оппозиция О / НО форм. Н. И. Толстой замечает, что «из всех относительных прилагательных, прилагательные, обозначающие материал, по своему лексическому значению ближе всего примыкают к качественным. Этим, видимо, мотивировано преобладание краткой формы» (там же: 73–74). В чем именно заключается эта близость лексического значения, Н. И. Толстой не конкретизирует.

В Усп. сб. оппозицию именных / членных форм, связанную с категорией О / НО, сохраняют преимущественно качественные прилагательные. Интересно, что и группа относительных прилагательных, обозначающих материал или вещество, из которого сделан предмет, тоже в этом смысле очень близка качественным и имеет в Усп. сб. корреляцию полных и кратких форм, соответствующую основным закономерностям категории О / НО, хотя у большей части остальных относительных прилагательных полная форма в это время преобладает (о причинах этого см.: Власова 2006b: 73–98.). Вполне естественно, что далеко не все тексты Усп. сб. в силу их жанровой принадлежности (житийная или церковно-учительная литература) изобилуют прилагательными этой группы из-за преимущественно «бытовой» семантики данных прилагательных.

В Усп. сб. это прилагательные **трьмѣданъ**, **костанъ**, **мраморанъ**, **ръжанъ**, **златъ**, **древанъ** (употреблены в сборнике только в краткой форме), а также **власанныи**, **желѣзнии**, **безжелѣзнии**, **деревянии**, **мѣданыи**, **глиньнии**, **каманыи**, **каменьнии**, **льнаныи**, **кожьнии**, **олованыи**, **серебрьнии** (употреблены как в краткой, так и в полной форме).

Исключительность этих прилагательных отмечает и А. М. Кузнецов: «В разряде относительных прилагательных именные формы долее всего сохранялись у прилагательных со значением материала и вещества» (Кузнецов 2006: 176). Ценность этой группы прилагательных для изучения, по нашему мнению, высока потому, что многим книжным относительным прилагательным в живой речи могла соответствовать конструкция с существительным. То есть в литературном языке того времени некоторые прилагательные вполне могли быть плодом творчества славянских книжников, так как «славянские переводчики и книжники воспользовались относительными и притяжательными прилагательными для выражения новых понятий и отношений» (Кузнецов 2006: 21). Скорее всего, к исследуемой группе прилагательных, обозначающих материал или вещество, из которого сделан предмет, это положение не относится, так как они, по-видимому, были характерны и для живой древнерусской речи. Эти прилагательные функционируют в современном русском языке и современном литовском (хотя и с другим суффиксом).

При образовании этих прилагательных суффикс **-ан-**, имеющий специализированное значение 'состоящий из того материала, какой называется существительным', конкурирует с универсальным суффиксом **-ын-**. Поскольку суффикс **-ын-** имеет более общее относительное значение, в текстах Усп. сб. полная форма с ним более частотна. Начнем с примеров с краткой формой прилагательного: **ничьсо же не сътажа на земли · тъкъмо ризоу єдиноу и стихарь власанъ** 293г29; **моши въложиша въ ракоу каміаноу** 20г8; **бывъше на мѣстѣ єтерѣ оузрьѣ ракоу мрамораноу лежацию · многа лѣта** 83г22. Здесь во всех случаях предмет представлен как неиндивидуализированный представитель класса предметов, обладающий неким признаком. Слушатель (читатель) не в состоянии идентифицировать данные предметы, они известны говорящему, но не слушающему. Краткая форма выражает неопределенность предмета, данными предложениями предмет только вводится в поле зрения реципиента.

Невозможно идентифицировать предмет, который еще не существует (нереферентное употребление существительного), поэтому в таких случаях тоже видим краткую форму: **и образъ ти сътворю златъ по вса грады поставити** 98в18; **стославъ снъ карославль оумысли създати цркъвь каміаноу стѣима ... и съвршию всю · и тако бысть съвршена · и абие на тоу ношь върюти сѧ кѧи врхъ и съкроуши сѧ всѧ** 22г14; ниже в тексте, при повтор-

ном упоминании, вышеописанная разрушившаяся сама собой церковь уже преподносится как однозначно идентифицируемая, об этом сигнализирует полная форма прилагательного (анафорическая определенность): **шльгъ снѣ сѣославль оумысли въздвигнути цркви сѣкроушивъшую сѣ вышегородѣ каманую** 24г23. Аналогичный случай анафорической определенности: **и спѣхумъ на гробъ идоша · и желѣзны печати възложиша на гробъ** 241в11; и **англѣ отъвали камень отъ двѣрии гробоу · и сѣде на немъ роугаа сѣ желѣзнымъ печатемъ** 242г21 (анафор и антецедент – идентичные существительные, во втором предложении речь идет о тех же печатях, которыми был запечатан гроб Христа).

Крайне редко относительные прилагательные могут оказаться в предикативной функции, для которой в текстах Усп. сб. тоже характерна краткая форма: **първѣти бо цркви древанѣ соущи и малѣ на приятие братии** 60в29-30.

Полная форма может использоваться как средство индивидуализации, выделения сорта, вида предмета – оливковое, льняное масло: **и маслъмъ древянымъ помажуть ѿ роукоу** 22б2; **маслоу же не соущю дрѣваномоу въ кандила на влиание въ тѣ днѣ · помысли строитель цркъвыны въ сѣмени льнанѣмъ и зби(т)и масла** 53а25-26,30.

Примеры из текстов Усп. сб. подтверждают выводы А. М. Кузнецова о том, что в раннем древнерусском языке «семантическая дифференциация разрядов прилагательных слабо выражена при помощи суффиксов и других аффиксов, здесь намечались только тенденции. Одним из новых средств, используемых для дифференциации разрядов, оказались и членные формы прилагательных» (Кузнецов 2006: 30). В случаях, когда прилагательное, образованное от существительного, обозначающего материал, выступает в других значениях (не материала, из которого сделан, состоит предмет, а, например, в значении качественном или заполняет лексическую валентность существительного), используется только полная форма, ср.: **црь · повелѣ ю за власы повѣсити и възложити на ню · в камыка насобѣ · и шп таготы каменныа оутрѣба юа оурываше сѣ** 98б22; прилагательное в этом примере заполняет лексическую валентность существительного – от тяжести камней. Существует мнение, что подобные конструкции N→A являются исконно праславянскими, а конструкции N→N появились под влиянием греческого языка [Урысон 1980,128]. Аналогично в примере: (Адам и Ева сначала) **не имѣаста одѣжда пльтныа · нѣ бѣаше има одѣжда нетьлѣннаа ...** (со времени гре-

хопадения) отъсюдоу въ кожныя ризы одѣ са 177в3,г14-15. Здесь кожныя ризы – не сделанные из кожи, а кожей и являющиеся. Такого же типа полная форма в примере понѣ да поздѣ нѣколи шплжшьє златьнадоо желаниа 215г32-216а1 (желание золота). Полная форма в качественном значении: не бои са оубо петре ... на каменьнѣи бо ти вѣрѣ съзиждю цркъв 248а6-7 (твердой, непоколебимой).

Тем не менее следует отметить, что здесь для дифференциации разрядов прилагательных используется и формальное средство: суффикс **-ан-** последовательно заменяется универсальным суффиксом **-ин-**.

Таким образом, в Усп. сб. относительные прилагательные, обозначающие материал, имеют и полные, и краткие формы. В современном литовском языке местоименными формами обладают только качественные прилагательные. Относительные прилагательные, в том числе и с суффиксом **-inis**, которые называют материал и вещества, местоименных форм не имеют. Напр.: *Aguoninis aliejus gardesnis už sėmeninį* “Масло из мака вкуснее льняного”; *Avižinis kisielius* “Овсяный кисель”; *Cinkinis viedras* “Цинковое ведро”; *Statisime akmeninius diendaržius* “Будем строить каменные загоны”. Причина этого в том, что в функциональном отношении эти прилагательные очень похожи на местоименные. Они тесно связаны по смыслу с определяемым словом и обозначают свойство, выделяющее предмет или образующее значение вида предмета (Valeckienė 1957: 259–260). То есть литовский язык избегает избыточной маркировки: если значение выделительное уже передано суффиксом, нет необходимости в местоименной форме (аналогичная ситуация была в древнерусском языке с притяжательными прилагательными).

То есть мы видим в группе прилагательных, обозначающих материал, несоответствие между современным литовским языком и древнерусским, которое, однако, имеет историческое объяснение. Дело в том, что суффикс **-inis** является производным от более древнего суффикса **-inas**, который не имел выделительного значения. По данным А. Валецкене, сейчас прилагательные с суффиксом **-inas** в литовском языке малоупотребительны и встречаются только в старинных песнях и сказках, напр.: *Atlėkė juodas varnas, atnešė baltą ranką ir a uksiną žiedelį* “Прилетел черный ворон, принес руку белую и колечко золотое”; *Būsi nebūsi mano, mergele, tik pardėvėsi auksinąjį žiedelį* “Будешь ли моей, или нет, девушка, только поносишь золотое колечко”. Ср. *A uksinį žiedelį*

perpus perlaužiau „Золотое колечко я напололам переломил“. Для нашего вопроса особое значение имеет тот факт, что в древних литовских письменных памятниках XVI в. (М. Даукши, Й. Бреткунаса) прилагательные с суффиксом **-inas**, обозначающие материал (*auksinas* “золотой”, *sidabrinas* “серебряный”, *varinas* “медный”, *drobinas* “холщовый”), по наблюдениям литовской исследовательницы, были широко употребительны и имели и краткие, и местоименные формы (Valeckienė 1957: 270).

По данным С. Амбразаса, в современном литовском языке отыменные прилагательные с суффиксом **-inas** являются непродуктивным типом. В памятниках XVI–XVII вв. из интересующей нас группы широко используются *áuksinas* “золотой”, *sidābrinas* “серебряный”, в диалектах встречены *geležinas*, *gėlžinas* «железный», *ąžiolinas* «дубовый», *molinas* «глиняный», *drobinas* “холщовый”. Существуют и другие прилагательные с этим суффиксом, но, как отмечает С. Амбразас, если в XVI–XVII вв. прилагательные с суффиксом **-inas** обозначали как внешние, так и внутренние или видовые признаки, позже, когда расширилось употребление прилагательных с суффиксом **-inis**, значение словообразовательного типа **-inas** сузилось. В современном литовском языке большинство отыменных прилагательных с суффиксом **-inas** обозначает внешние, наружные признаки, например, в диалектах *alyvinas* имеет значение «испачканный маслом», *āvižinas* «облипший овсом», *drūskinas* «в соли» и другие, см. подробнее (Ambrasas 2011: 66–71).

Исследование функциональных особенностей древнерусских суффиксов **-ьн’**-и **-ьн-**, проведенное исследовательницей Н. П. Зверковской (1978), позволяет объяснить способность прилагательных, образованных при помощи того или иного суффикса, к образованию именных и местоименных форм. Функциональные особенности суффикса **-ьн’** обусловлены самим его составом, расширением суффикса **-ьп’** древнейшим формантом **-*jo**. Н. П. Зверковская определила то общее значение, которое содержится в производных с суффиксом **-ьн’**- как «отнесенность определяемого именно к данному члену из целого ряда подобных, объективно сопоставленных (и противопоставленных) членов», причем, что существенно для нашего вопроса, «определяемый предмет характеризуется и выделяется на основе сопоставления, причем сопоставление выражается производящей основой, а сам суффикс имеет прежде всего конкретизирующую, указательно-выделительную функцию» (Зверковская 1978: 87).

См. также (Балалыкина 2005: 19–20). То есть изначальная определенность заложена уже в самом значении суффикса, поэтому закономерно, что все прилагательные, образованные при помощи суффикса **-ьн'** (кроме притяжательных) имеют в Усп. сб. только полную форму.

Остается пока без ответа вопрос, почему “в своем функционировании указанные морфологически близкие форманты в славянских и балтийских языках как бы поменялись местами, т. е. из данной пары суффиксов основным, продуктивным, полисемантическим в славянских языках в большинстве случаев оказался **-ьн-**, а в литовском — производный суффикс **-inis**, что свидетельствует о глубокой древности этих формантов, которые прошли долгий путь развития в каждой группе языков” (Зверковская 1978, 75).

Таким образом, наличие связи между способностью прилагательного образовывать местоименную форму и его семантикой можно считать общей чертой, характерной и для текстов Усп. сб., и для современного литовского языка. Однако зависимость эта, по нашим наблюдениям, оказывается прямо противоположной. В текстах Усп. сб. мы видим стремление к оформлению определенности полными формами даже тогда, когда она уже была выражена другими средствами (в том числе лексическим значением прилагательного). В современном литовском языке наоборот – в тех случаях, когда определенность выражена морфологическими или лексическими средствами, местоименные формы не используются. В частности, семантика прилагательных и их морфологическое оформление оказывались важными факторами при оформлении значения определенности у относительных прилагательных.

ЛИТЕРАТУРА

- Балалыкина Э. А. Роль сопоставительно-исторического метода в изучении адъективного словообразования в родственных языках / Э. А. Балалыкина // Ученые записки Казанского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2005. – Том 147, кн. 2. – С. 11–22.
- Балалыкина Э. А. К вопросу о значении литовского языка для исследований в области истории русского языка. / Э. А. Балалыкина // Ученые записки Казанского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2009. – Том 151, кн. 6. – С. 50–59.

- Власова С. Роль категории определенности / неопределенности в развитии прилагательного в древнерусском и литовском языках / С. Власова. // Acta Baltico Slavica. – Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. – 2006a. – № 30 – С.181–198.
- Власова С. Формы прилагательного как средство выражения категории определенности / неопределенности в церковнославянском языке (на материале Успенского сборника XII–XIII вв.) / С. Власова. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006b. – 210 p.
- Кузнецов А. М. Краткие и полные формы прилагательных в деловых и бытовых памятниках Северо-Западной Руси XI–XIV вв. / А. М. Кузнецов. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. № 4, 1983. – С. 46–53.
- Кузнецов А. М. Усвоение церковнославянских именных и членных форм согласуемых слов русскими книжниками XI–XII вв. / А. М. Кузнецов. // Функции и взаимодействие языковых единиц в тексте: Материалы девятого осеннего семинара, Арбавере, 11–13 октября 1997г. – Таллинн, 2000, ТПУ. – С. 95–104.
- Кузнецов А. М. Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В. Б. Крысько. Т. III. А. М. Кузнецов, С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько. Прилагательные. Москва: Азбуковник, 2006. – 496 с.
- Зинкевичюс З. П. Некоторые вопросы образования местоименных прилагательных в литовском языке / З. П. Зинкевичюс // Вопросы славянского языкознания. – Москва, вып. 3, 1958. – С. 50–100.
- Толстой Н. И. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке / Н. И. Толстой // Вопросы славянского языкознания, вып. 2. – Москва, 1957. – С. 43–122.
- Урысон Е. В. Относительное прилагательное в парадигме древнерусского имени (На материале Успенского сборника XII – XIII вв.) / Е. В. Урысон. // Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. – Москва, 1980. – С. 110–132.
- Успенский сборник XII-XIII вв. Изд. подг. О. А. Князевская и др. – Москва, 1971. – 751 с.
- Якубинский Л. П. История древнерусского языка. / Л. П. Якубинский. – Москва, 1953.
- Ambrasas S. Būdvardžių darybos raida / S. Ambrasas. / Sudarė D. Mikulėnienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. – 272 p.
- Holvoet A., Tamulionienė A. Apibrėžtumo kategorija / A. Holvoet, A. Tamulionienė // Daiktavardinio junginio tyrimai / Red. A. Holvoet, R. Mikulskas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – P.11–32.
- Mikulskas R. Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva / R. Mikulskas // Daiktavardinio junginio tyrimai / Red. A. Holvoet, R. Mikulskas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – P. 33–65.
- Spraunienė B. Paprastųjų ir įvardžiutinių būdvardžių opozicija lietuvių kalboje kaip apibrėžtumo sistema / B. Spraunienė. // Acta Linguistica Lithuanica. – 2008, t. 59. – P. 109–139.

Valeckienė A. Dabartinės lietuvių kalbos įvardžiutinių būdvardžių vartojimas / A. Valeckienė // Literatūra ir kalba. – 1957, t. 2. – P. 159–355.

Category of Definiteness / Indefiniteness and the Form of the Adjectives Naming a Material in the Church Slavonic and Lithuanian Languages (Historical Aspect)

Summary

In this article the adjectives with the meaning of a material and substance of which a thing is made are considered from the comparative and historical aspects. The research is based on the material of the Church Slavonic language of the 12th–13th centuries and the Lithuanian language. The capacity of the given adjectives to the formation of nominal and pronominal forms is analyzed as well as their connection with the category of definiteness / indefiniteness. The connection of these forms with the lexical meaning of the adjective is also discussed in the article. The development of these adjectives in the languages is specific: they retained their short forms longer than other relative adjectives in the Old Russian language and had opposition of forms in the Lithuanian language a long time before that, though they lost this capacity later, having acquired some other word-formation suffix.

Keywords: *category of definiteness / indefiniteness, relative adjectives, the Church Slavonic language, Uspensky codex of the 12th–13th centuries, the Lithuanian language.*

Л. П. Гарбуль

*Вильнюсский университет
(Вильнюс, Литва)*

К ВОПРОСУ О МЕЖСЛАВЯНСКОЙ МИГРАЦИИ ЛЕКСИКИ (О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

В современной славистике не вызывает сомнений утверждение, что наблюдаемое в настоящее время и в более ранние периоды большое сходство славянских языков лишь отчасти обусловлено их генетическим родством, в значительной же мере общность лексического состава этих языков является следствием их активного культурного взаимодействия, не прервавшегося и после распада праславянского единства и прослеживаемого в разных направлениях и с разной интенсивностью на протяжении всей их письменной истории.

В свое время еще Н. С. Трубецкой (1990а: 139; 1990б: 120) обратил внимание на то, что при формировании западнославянских и восточнославянских литературных языков фактор взаимного влияния играл очень большую роль, причем в XVII в. западнославянская, в частности польская, литературно-языковая традиция оказывала воздействие на русский язык как непосредственно, так и через посредничество „простой мовы“.¹

Эти положения указанного выше автора, а также других ученых-славистов находят подтверждение и в проводимых нами исследованиях польского влияния на дипломатическую корреспонденцию Московского государства (далее МГ) первой половины XVII в. (см. Гарбуль 2009а). Полученные результаты достаточно убедительно свидетельствуют о том, что польское влияние не только способствовало изменению языковой ситуации в Московской Руси XVII в., что создавало предпосылки для формирования русского литературного языка нового типа, но и обогащало словарный состав языка. При этом особый интерес для нас представляют заимствования из польского, являющиеся

¹ По определению М. Мозера (2002: 221), „простая мова“ — это литературно обработанная, надрегиональная разновидность белорусского и украинского языков среднего периода, возникшая на основе общего русского (= украинско-белорусского) делового языка. В XVI–XVII вв. она выступала в роли одного из письменных языков Великого княжества Литовского (далее ВКЛ).

внутриславянскими дериватами, то есть межславянские заимствования, которым до сих пор уделялось, на наш взгляд, недостаточно внимания (см. Гарбуль 2004а; 2004б; 2005а; 2005б; 2008; 2010а; 2010б; 2011). Объясняется это тем, что выявление такого рода заимствований сопряжено с определенными трудностями ввиду отсутствия у анализируемых лексем формальных признаков их неисконности в русском языке. Из чего следует вывод, что при изучении межславянской миграции лексики применение формальных (строго лингвистических) критериев для идентификации заимствований, как правило, мало пригодно.

Решить проблему установления межславянских заимствований, по мнению большинства исследователей, занимающихся этим вопросом, можно лишь путем привлечения свидетельств культурно-исторического плана, применяя следующие критерии: хронологический (наиболее ранняя фиксация слова), с которым тесно связан текстологический критерий, то есть учет характера памятников, где обнаружены наиболее ранние употребления анализируемой лексики. Кроме того, применяется так называемый сравнительный критерий, включающий такие показатели, как история лексемы в контактирующих языках, ее распространенность в заимствующем, а также в других славянских языках.

Опираясь на приведенные выше критерии, попытаемся в данной публикации доказать, что отмеченные нами в документах Посольского приказа первой половины XVII в. лексемы *помѣстити*, *признавати*, *признати* являются межславянскими заимствованиями-полонизмами в русском языке.

ПОМѢСТИТИ(1)² *глагол. сов. и несов. (?) Поместить (помещать), разместить (размещать); устроить (устраивать); поселить (сидеть): А в Смоленску б... тѣх людей, которые будут ис Польши и из Литвы, в порубежных городѣх помѣстити не велѣль* [Сб. РИО142: 148, 1610–1611 гг.].

Эта лексема является префиксальным дериватом от имеющего общеславянское распространение глагола, восходящего к праслав. **mĕstiti*, 1 л. ед. ч. **mĕščŏ* 'помещать, размещать, располагать', производного от имени **mĕsto* 'место, пространство', в этимологическом отношении трудного слова, трактуемого как образование с суф. *-to* (**mĕt-to*) от незасвидетельствованного гла-

² Здесь и далее цифрой в скобках указано количество употреблений анализируемой лексики в наших материалах.

года с и.-е. базой **mejt(h)*- 'местопребывание', 'питание, пропитание' (см. Borys 2005: 327, 321; Фасмер 1967, II: 607–608; ЭСлРЯ 10: 162; ЭССЯ 18: 202, 203, 205–206).

По данным исторического словаря, анализируемый глагол впервые фиксируется в деловом памятнике 1614 г. (СлРЯ XI–XVII вв. 17: 11). В этом источнике утверждается, что *помѣстити* в XVII в. употреблялось в значении 'наделять поместьями', однако из двух приводимых примеров только второй, датированный 1649 г., иллюстрирует указанное выше значение, а первый (1614 г.), на наш взгляд, демонстрирует интересующее нас значение. В значении 'наделять поместьями' *помѣстити* представляет собой имперфект, а в анализируемом нами значении, вероятнее всего, перфект (там же). В значении 'наделять поместьями' история глагола пока не прослеживается далее середины XVII в.

Мы обнаружили *помѣстити* в исследуемом значении, по-видимому, в перфектном употреблении в дипломатическом документе 1610–1611 гг. по сношениям МГ с Польшей и ВКЛ, что позволяет несколько уточнить время появления глагола в русской письменности. В этом значении лексема продолжала бытовать в русском языке XVIII–XX вв., и до настоящего времени она в значениях 'предоставить помещение для жилья, поселить; дать расположиться, предоставить место кому-л.' и 'определить, устроить куда-л.' входит в активный словарный состав языка (САР IV: 1493; Даль 1980, III: 278; ССРЯ 10: 1179–1180; НСлРЯ II: 213). Заметим, что с XVIII в. анализируемый глагол используется только в форме перфекта.

Наше внимание слово *помѣстити* привлекало по ряду причин. Во-первых, характером памятника, на который приходится наиболее ранняя на данный момент его регистрация. Во-вторых, тем, что в древнерусском языке с 30–60-х гг. XIII в. был известен глагол *мѣстити* 'помещать, сажать' (СлДРЯ V: 107; СлРЯ XI–XVII вв. 9: 110), которым могло быть мотивировано *помѣстити*, однако временной промежуток между появлением этих лексем в письменных источниках составляет около трех с половиной веков. Кроме того, в *Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.)* (VII: 161) представлено единичное употребление постфиксального глагола *помѣститиса* 'вместиться, поместиться', датированное 1406 г. В связи с этим можно было бы предположить возможность обратного образования (редеривации) в русском языке, но пока эту версию следует, видимо, отвергнуть, потому что в *Словаре русского языка XI–XVII вв.* постфиксальный глагол вообще не фиксируется.

Как видим, попытка аргументации возникновения *помѣстити* в самом русском языке наталкивается на определенные трудности. Если же учесть обстоятельства появления глагола в русской письменности начала XVII в., то не исключена возможность его заимствования из польского языка. Так, в старопольских памятниках *pomieścić* 'umieścić, posadzić' известно с конца XIV–XV вв. (Boryś 2005: 327; SlStp VI(5): 369) и бытовало на протяжении XVI–XIX вв. (SlP XVI, XXVII: 127, 128; Linde IV: 894; Długosz-Kurczabowa 2008: 421–422; Karłowicz IV: 566). В словарях современного польского языка интересующий нас глагол в значении 'dać czemuś miejsce gdzieś; ulokować, umieścić; zapewnić komu mieszkanie, lokum' сопровождается пометой „przestarz.“, в других же значениях он продолжает активно употребляться до сих пор (SlJP VI: 937–938; USJP 3: 333).

В письменности ВКЛ интересующий нас глагол пока не выявлен, здесь с 20-х гг. XVII в. в сильно полонизированных текстах на „простой мове“ отмечается только постфиксальная форма *поместитися* 'змясціцца' (ГСБМ 26: 259). Тогда как в украинском языке (*помістити*) XIX–XXI вв. и в современном белорусском языке (*памясціць*) рассматриваемый глагол представлен в анализируемом значении (Гринченко 1924, II: 296; СУМ VII: 129; ВТССУМ 2005: 1042; ТСБМ 3: 657).

Итак, исторические данные позволяют, по нашему мнению, выдвинуть предположение о возможном заимствовании *помѣстити* в русский письменный язык начала XVII в. из польского. В другие восточнославянские языки эта лексема могла попасть уже из русского языка.

В заключение остановимся на акцентуации глагола в русском языке: на суффиксе в отличие от ударения на корне в польском языке. Место ударения в русском языке можно объяснить как результат закономерной фонетической адаптации на восточнославянской почве, поскольку здесь большая часть префиксальных глаголов имеет ударение на том же слоге, что и мотивирующие их бесприставочные глаголы (РГ I: 374). Кстати, *помѣстити* 'надевать поместьями', то есть в имперфектном употреблении, в XVII в., очевидно, имело акцентуацию, совпадающую с местом ударения в польском языке. То же, видимо, относится и к *помѣстити* в интересующем нас значении в случае его использования в форме имперфекта.

ПРИЗНАВАТИ (1) *глагол. несов.* Соглашаться считать что-л. законным, существующим, действительным; признавать за кем-

чем-л. право, власть и т.п.: *И люди будто Московские изо многихъ мѣсть и городовъ приезжали и збиралися к нему признаваючи его быти прямымъ царевичемъ Дмитреемъ Углицкимъ, и честь и службу всякую ему чинили, какъ есть государю своему прямому...* (Сб. РИО 137: 429, 1607–1608 гг.).

Эта лексема является суффиксальным производным от префиксального глагола, восходящего к имеющему общеславянское распространение праслав. *znati, 1 л. ед. ч. *znajǫ ‘знать’ (о его происхождении см. ниже: лексема *признати*).

Мы обнаружили *признавати* в дипломатическом документе по сношениям МГ с Польско-Литовским государством в начале XVII в. Этот случай на данный момент следует считать наиболее ранней фиксацией глагола в русской письменности, так как в историческом словаре самое раннее его употребление в значении ‘считать что-л. истинным, действительным; принимать за что-л., считать чем-л.’ датируется 1650 г. и иллюстрируется выдержкой из *Прений с греками* (с приложением статейного списка посольства в Молдавию и Валахию), автором которых является А. Суханов (СлРЯ XI–XVII вв. 19: 154–155).

Характер памятников, в которых *признавати* было выявлено нами и представлено в историческом словаре, а также то, что мотивирующий его глагол *признати* в русских письменных источниках отмечается в более позднее время (см. ниже), наводит на мысль о возможной неисконности рассматриваемой лексемы в русском языке.

Поскольку *признавати* является внутриславянским дериватом, то наиболее вероятным его источником в русском может быть польский язык. В старопольских памятниках *przyznawać* ‘uznawać, uwazać za co, potwierdzać coś, godzić się z czymś’ известно с 70-х гг. XV в. и в этом значении бытовало на протяжении XVI–XIX вв. (SłStp VII(5): 386; Reczek 1968: 404; SłPaska II: 290; Linde 1811, IV: 1259; Karłowicz 1912, V: 407). В польской лексикографии XX–XXI вв. *przyznawać* в значении ‘uznawać coś za słuszne, uznawać czyjaś rację, zgadzać się z czymś’ снабжено пометой „książk.“, а словосочетание *przyznawać za kogo* ‘uznawać za kogo’ — пометой „daw.“ (SłJP VII: 677–678; USłJP 3: 830).

Результаты сопоставления приведенной выше информации об истории анализируемой лексемы в русском и польском языках, по нашему мнению, достаточно убедительно свидетельствуют в пользу лексического заимствования в русский письменный язык начала XVII в. из польского.

В связи с тем, что в XVI–XVII вв. заимствования из польского в русский язык довольно часто осуществлялись благодаря деловой письменности ВКЛ и/или „простой мове“ [см. Гарбуль 2009б], попытаемся проследить историю *признавати* в памятниках ВКЛ. Здесь глагол наблюдается с конца 70-х гг. XVI в. и первоначально – именно в интересующем нас значении в документах и текстах на „простой мове“, язык которых сильно полонизирован (ГСБМ 28: 273). В этом значении лексема регистрируется и в лексикографических источниках украинского (*признавати*) и белорусского (*прызнаваць*) языка до сих пор (СУМ VII: 667; ВТССУМ 2005: 1116; ТСБМ 4: 432). Эти данные дают определенные основания для вывода о том, что в письменности ВКЛ последней четверти XVI в. *признавати* также является лексическим полонизмом. В таком случае деловой язык ВКЛ и „простая мова“ могли выступать в роли посредников при заимствовании этого глагола в русский письменный язык XVII в.

Что касается дальнейшей судьбы *признавати* в русском языке, то в анализируемом значении оно продолжало употребляться в XVIII–XIX вв. и представлено в лексикографии XX–XXI вв. (САР V: 312; Даль 1980, III: 414; ССРЛЯ 11: 483; НСлРЯ II: 302). При этом объяснения требует акцентуация лексемы в восточнославянских языках, отличающаяся от польского. Место ударения в этих языках можно объяснить как результат закономерной фонетической адаптации: глаголы с морфем *-ва-* имеют ударение на этом морфеме, если они мотивированы глаголами с ударением на конечном слове инфинитива (РГ I: 352–353).

ПРИЗНАТИ (1) *глагол, сов.* Согласиться счесть что-л. законным, существующим, действительным; признать за кем-, чем-л. право, власть и т.п.: *И люди ваши, повтерив ему, государем его признали* (Сб. РИО 142: 392, 1613 г.).

Анализируемая лексема является префиксальным производным от глагола, восходящего к праслав. **znati*, 1 л. ед. ч. **znajǫ* ‘знать’, имеющего общеславянское распространение и соответствия в балтийских и германских языках, с и.-е. базой **g'en-*/**g'nō-* ‘знать’, ‘узнавать’ (см. Boryś 2005: 742; Фасмер 1967, II: 100–101; ИЭСРЯ I: 326–327; ЭСБМ 10: 86).

До сих пор считалось, что появление слова *признати* в русской письменности в значении ‘счесть истинным, действительным что-л.’; признать справедливость чего-л.’ следует отнести к 50–м гг. XVII в., а в значении ‘признать за кого-л., счесть кем-л.’ – к 70–м гг. того же столетия (СлРЯ XI–XVII вв. 19: 155). Причем язык

памятников, из которых в историческом словаре приводятся иллюстрации указанных выше фиксаций глагола, насыщен заимствованиями, в том числе и польскими [там же]. По нашим данным, рассматриваемая лексема проникает в памятники письменности на четыре десятилетия раньше и представлена в дипломатической корреспонденции, отражающей контакты МГ с Польско-Литовским государством. В связи с этим мы, как и в случае с *признавати*, склонны считать *признати* лексическим заимствованием из польского, а не самостоятельным образованием в русском языке.

Так, в старопольских источниках *przyznać* 'uznać, potwierdzić' было известно уже с начала XV в. и бытовало в польском языке на протяжении XVI–XIX вв. (SlStp VII(5): 385; Linde 1811, IV: 1259; Karłowicz 1912, V: 407). Что касается характера бытования перфектной формы глагола в интересующем нас значении в XX–XXI вв., то оно полностью совпадает с употреблением имперфекта в том же значении (см. выше: история *przyznawać* в польском языке). Итак, сведения об истории *przyznać* в польском языке могут служить подтверждением о заимствовании глагола в русский письменный язык первой четверти XVII в. именно из этого источника.

В письменности ВКЛ, которая могла играть роль посредника в процессе заимствования *признати* в русский язык, единичные употребления этого глагола в значении 'ствердити, визнати, посвідчити' засвидетельствованы в документах 30-х гг. XV в., язык которых отражает польское влияние (ССМ 2: 239). Однако более широкое распространение данная лексема получает лишь с начала XVI в., а в анализируемом значении — только со второй половины того же столетия, причем в это время она наблюдается в документах, язык которых испытал сильное польское влияние (ГСБМ 28: 276). Дальнейшая история анализируемого глагола в украинском и белорусском языках полностью совпадает с судьбой имперфекта в том же значении (см. выше: история лексемы *признавати* в украинском и белорусском языках, а также: (ТСБЛМ 2002: 512). В русском языке так же, как и в других восточнославянских языках, история *признати* в XVIII–XXI вв. аналогична истории *признавати* (см. выше).

Приведенная выше информация дает определенные основания для заключения о том, что в письменности ВКЛ *признати*, видимо, также является лексическим заимствованием из польского, а в интересующем нас значении это, возможно, уже семан-

тический полонизм. Но в любом случае деловая письменность ВКЛ и „простая мова“ могли выступать в роли посредников при проникновении *признати* в русский письменный язык XVII в.

Завершая обзор истории глагола *признати* в контактировавших языках, остановимся на таком моменте, как его акцентуация в восточнославянских языках. Место ударения в этих языках можно объяснить как закономерную фонетическую адаптацию на восточнославянской почве (см. выше: акцентуация глагола *помъстити*).

Обобщим результаты анализа представленных выше лексем:

1. Все три рассмотренные лексемы, являющиеся внутриславянскими дериватами, по нашему мнению, попали в русский письменный язык первой четверти XVII в. благодаря процессу межславянской миграции слов и являются лексическими полонизмами.

2. В двух случаях (*признавати*, *признати*) роль посредника в процессе заимствования могла играть деловая письменность ВКЛ и „простая мова“.

3. Для всех трех анализируемых лексем было установлено более раннее время появления их в русской письменности, чем это предполагалось до сих пор. Причем для *признавати* и *признати* уточнение хронологии было существенным, что весьма важно, так как именно хронологические данные позволяют установить направление влияния при контактировании генетически родственных языков.

4. Что касается судьбы рассматриваемых лексем в языке-реципиенте, то все три глагола продолжают активно употребляться в современном русском литературном языке.

ЛИТЕРАТУРА

- ВТССУМ = Великий тлумачальний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун“, 2005. –1728 с.
- Гарбуль Л. К вопросу о межславянских лексических заимствованиях в русском приказном языке XVII века / Л. Гарбуль // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*. –2004а. – Vol. 49. – Fasc. 1–2. – С. 27–43.
- Гарбуль Л. К истории некоторых полонизмов в русском языке / Л. Гарбуль // *Respectus Philologicus*. – 2004б. – № 6(11). – С. 45–55.

- Гарбуль Л. П. К вопросу о происхождении лексем *жадность, заочно, заочный, заслуга, злость* в русском языке / Л. П. Гарбуль // Slavistica Vilnensis 2004 (Kalbotyra). – 2005a. – № 53(2). – С. 53–67.
- Гарбуль Л. Межславянские заимствования-полонизмы в русском приказном языке XVII века / Л. Гарбуль // Respectus Philologicus. – 2005b. – № 8(13). – С. 110–121.
- Гарбуль Л. История лексем *затруднить, налгать, пограничье, родовитый* в русском и других восточнославянских языках / Л. Гарбуль // Respectus Philologicus. – 2008. – № 13(18). – С. 180–191.
- Гарбуль Л. Семантические полонизмы в русском приказном языке первой половины XVII века / Л. Гарбуль. – Вильнюс: Издательство Вильнюсского университета, 2009a. – 481 с.
- Гарбуль Л. П. „Простая мова“ как проводник польского влияния на русский приказный язык второй половины XVI – первой половины XVII в. / Л. П. Гарбуль // Slavistica Vilnensis 2005–2009 (Kalbotyra). – 2009b. – № 54(2). – С. 192–198.
- Гарбуль Л. П. История лексем *дознаться* и *заслышать* в русском и других восточнославянских языках / Л. П. Гарбуль // Slavistica Vilnensis 2010 (Kalbotyra). – 2010a. – № 55(2). – С. 140–148.
- Гарбуль Л. Отражение результатов межславянских языковых контактов в русской деловой письменности первой половины XVII века (синхронный и диахронический аспекты) / Л. Гарбуль // Respectus Philologicus – 2010b. – № 18(23). – С. 179–190.
- Гарбуль Л. Отражение результатов межславянских языковых контактов в русской деловой письменности первой половины XVII века (синхронный и диахронический аспекты). Часть 2/ Л. Гарбуль // Respectus Philologicus – 2011. – № 19(24). – С. 168–178.
- Грінченко Б. Словарь української мови. Українсько-російський словарь: В 2-х тт. / Б. Грінченко. – Т. II. – Берлін: Українське слово, 1924. – 1073 с.
- ГСБМ = Гістарычны слоўнік беларускай мовы. – Т. 26, 28. – Мінск: Беларуская навука, 2006, 2008. – 444 с., 477 с.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х тт. / В. Даль. – Т. III. – М.: Русский язык, 1980. – 555 с.
- ИЭСРЯ = Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2-х тт. / П. Я. Черных. – Т. I. – М.: Русский язык, 1999. – 560 с.
- Мозер М. Что такое „простая мова“? / М. Мозер // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae – 2002. – Vol. 47. – Fasc. 3–4. – С. 221–260.
- НСЛРЯ = Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: В 2-х тт. / Т. Ф. Ефремова. – Т. II. – М.: Русский язык, 2001. – 1088 с.
- РГ = Русская грамматика: научные труды: В 2-х тт. / Репринтное издание. – Т. I. – М.: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2005. – 784 с.

- САР = Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный: В 6-и чч. / Вновь пересмотр., испр. и доп. изд. – Ч. IV, V. – СПб., 1822. – 1536 стлб., 1142 стлб.
- Сб. РИО 137 = Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством, т. 4 (1508–1608 гг.) // Сборник Русского Исторического Общества. – Т. 137. – М., 1912. – 797 с.
- Сб. РИО 142 = Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством, т. 5 (1609–1615 гг.) // Сборник Русского Исторического Общества. – Т. 142. – М., 1913. – 801 с.
- СлДРЯ = Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). – Т. V, VII. – М.: Азбуковник, 2002, 2004. – 645 с., 505 с.
- СлРЯ XI–XVII вв. = Словарь русского языка XI–XVII вв. – Вып. 9, 17, 19. – М.: Наука, 1982, 1991, 1994. – 360 с., 296 с., 272 с.
- ССМ = Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.: В 2-х тт. – Т. 2. – Київ: Наукова думка, 1978. – 591 с.
- ССРЛЯ = Словарь современного русского литературного языка: В 17-и тт. – Т. 10, 11. – М.; Л.: Издательство АН СССР, 1960, 1961. – 1774 стлб., 1842 стлб.
- СУМ = Словник української мови: В 11-и тт. – Т. VII. – Київ: Наукова думка, 1976. – 723 с.
- Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре / Н. С. Трубецкой // Вопросы языкознания. – 1990а. – № 2. – С. 122–139.
- Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре / Н. С. Трубецкой // Вопросы языкознания. – 1990б. – № 3. – С. 114–134.
- ТСБЛМ = Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / 3-е выданне. – Мінск: „Беларуская Энцыклапедыя“ ім. Петруся Броўкі, 2002. – 784 с.
- ТСБМ = Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: В 5-і тт. – Т. 3, 4. – Мінск: Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, 1979, 1980. – 672 с., 768 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. и доп. О. Н. Трубачева: В 4-х тт. / М. Фасмер. – Т. II. – М.: Прогресс, 1967. – 672 с.
- ЭСБМ = Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. – Т. 10. – Мінск: Беларуская навука, 2005. – 325 с.
- ЭСлРЯ = Этимологический словарь русского языка / Под ред. А. Ф. Журавлева и Н. М. Шанского. – Вып. 10. – М.: Издательство МГУ, 2007. – 399 с.
- ЭССЯ = Этимологический словарь славянских языков. – Вып. 18. – М.: Наука, 1992. – 255 с.
- Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego / W. Boryś. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. – 861 s.

- Długosz-Kurczabowa K. Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego/ K. Długosz-Kurczabowa. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008. – 884 s.
- Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego: T. I–VIII. / J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.). – T. IV, V. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1908, 1912. – 1036 s., 827 s.
- Linde S. B. Słownik języka polskiego: T. I–VI./ S. B. Linde. – T. IV. – Warszawa, 1811. – 1286 s.
- Reczek St. Podręczny słownik dawnej polszczyzny / St. Reczek. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Ossolineum, 1968. – 934 s.
- SłJP = Słownik języka polskiego: T. I–XI. – T. VI, VII. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, 1965. – 1479 s., 1499 s.
- SłPaska = Słownik języka Jana Chryzostoma Paska: T. I–II. – T. II. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Wydawnictwo PAN, 1973. – 795 s.
- SłP XVI = Słownik polszczyzny XVI wieku. – T. XXVII. – Wrocław: Ossolineum, 1999. – 499 s.
- SłStp = Słownik staropolski: T. I–XI. – T. VI(5), VII(5). – Warszawa: Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1970–1973, 1973–1977. – 574 s., 560 s.
- USłJP = Uniwersalny słownik języka polskiego: T. 1–4 / Pod red. S. Dubisza. – T. 3. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. – 1612 s.

On the Problem of Interslavonic Migration of Lexemes (On the Origin of Some Words in the Russian Language)

Summary

The article examines the origin of the following words found in the Russian chancery language (diplomatic correspondence) of Muscovite Russia of the first half of the 17th century: *pomestiti* ‘place, locate; lodge, accommodate, put up’, *priznati*, *priznavati* ‘recognize, vote’ and retraces their further fate in the Russian and other East Slavonic languages as well as in the Polish language. The author aims at proving that these interslavonic derivatives are interslavonic lexical loanwords – Polonisms – in the Russian language.

The following conclusions are made: all the examined words, according to the author, are lexical loanwords – Polonisms – in the Russian language. The written language of the Great Duchy of Lithuania, evidently, appeared to be the mediator, when words *priznati* and *priznavati* were being borrowed in the Russian written language of the first quarter of the 17th century.

Keywords: *interslavonic migration of words, interslavonic derivatives, interslavonic loanwords – Polonisms, the chancery language of the Great Duchy of Lithuania, ‘prostaja mova’.*

А. В. Жаркова

*Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)*

РУССКИЕ ЗООМОРФИЗМЫ – НАЗВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (НА ФОНЕ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА)

Названия животных используются для обозначения и характеристики человека в разных языках. В русском литературном языке такие слова используются для характеристики человека в бытовой речи, в художественных текстах и в публицистике. В постсоветский период все большее распространение в бытовой речи и в публицистике получают зооморфизмы, переходящие в обиходную речь из жаргона (напр., бык, тёлка, конь). Они еще более расширяют поле зоонимов, используемых в речи для обозначения и характеристики человека. Так, в русском литературном языке *быком* называют мужчину с крепким здоровьем, положительно-оценочное, в контексте иногда с иронией (*Здоров как бык* – это устойчивое сочетание). В разговорном стиле быком называют человека, родившегося в год, включающий в своё обозначение этот знак: *По восточному гороскопу глава ОНЭКСИМ-банка Бык* (пример взят из «Толкового словаря современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия» под редакцией Г. Н. Складаревской) (Складаревская, 2001: 98). На криминальном жаргоне *быками* называют представителей криминальных структур и преступных группировок, занимающихся вымогательством и осуществляющих разборки: *Бандиты не трогали меня два месяца. Однажды в офис опять нагрянули «быки».* *У меня похолодело в груди* (АиФ 1998: №4). На жаргоне финансистов быком называют брокера, играющего на повышение акций: *На стороне «быков» играют в основном биржевые спекулянты и посредники* (Московские новости 1.03.1993).

Рассмотренные примеры отражают омонимию между разными сферами русского национального языка – сферой литературного языка и сферой жаргона.

Среди всего этого многообразия зооморфизмов, бытующих в русском национальном языке, названия домашних животных, служащих для характеристики человека, несомненно, часто используются в бытовой речи, потому что домашние животные для каждого народа – это объект каждодневного наблюдения и сопоставления с их хозяином – человеком.

Цель данной статьи – рассмотреть значение в литературном языке русских слов-зооморфизмов – названий некоторых домашних животных, их стилистическую окраску, затем сравнить с литовскими соответствиями, а также проанализировать знание студентами коннотативных значений русских зооморфизмов избранной группы на основе письменных ответов студентов-филологов 3 курса филологического факультета Вильнюсского педагогического университета русской и национальных групп. Метод исследования – сопоставительный, а также стилистический и отчасти лингвострановедческий анализ, что помогает рассмотреть национально-культурные значения зооморфизмов – названий домашних животных, а также их коннотации. Коннотация – «эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы узуального (закреплённого в языке) или окказионального характера» (Большой энциклопедический словарь. Языкознание 1998: 236), на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, мировоззренческим знанием говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отношением говорящего к обозначаемому. По общему наблюдению Д. С. Сетарова, «сравнение зооморфизма в русском и литовском языке свидетельствует, что переносы с положительной характеристикой в зооморфизмах литовского языка составляют 13%, а в зооморфизмах русского языка 26 %, то есть в русском языке выражен более положительный взгляд на животных, чем в литовском» (Сетаров 1993: 72).

Для изучения были выбраны следующие названия домашних животных и их детёнышей: конь, жеребец, лошадь, кобыла, кляча, жеребёнок, бык, корова, телёнок, кабан, боров, свинья, поросёнок, пёс, собака, щенок, кобель, сука, кот, кошка, котёнок, баран, овца, ягнёнок, козёл, коза, козлёнок, козочка. Переносные значения и стилистическая окраска слов уточнялись по словарям, указанным в списке литературы к статье. Для проверки знания студентами-филологами коннотативных значений русских зооморфизмов – названий домашних животных – были проанализированы 100 письменных работ студентов третьего курса русской и национальных групп филологического факультета Вильнюсского педагогического университета.

Сопоставление зооморфизмов начнём со слова *лошадь*. Лошадь воспринимается русскими как сильное и здоровое животное. С трудовой жизнью лошади сравнивается и жизнь человека: *работает, как лошадь* – говорят о много и без отдыха работающем

человеке. В цитате из стихотворения Владимира Маяковского «Друг мой, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь...» содержится намёк на то, что переносное значение слова – названия животного, используемого для характеристики лица, может быть разным. В русском литературном языке *рабочей лошадкой* называют трудолюбивого человека, безотказного работника (Ожегов 1984: 292). В русском арго слово «лошадь» выражает негативную оценку внешности женщины – большая некрасивая женщина (Михайловская, У Хао 2002: 89). В последнем издании «Толкового словаря русского языка» (Ожегов, Шведова 2010) отмечено переносное значение рассматриваемого слова, совпадающее с бытующим в арго – о крупной и нескладной женщине – *Ну и лошадь эта баба!* (Там же, 333). Указанная стилистическая окраска – разговорное, неодобрительное. Помета “разговорное” означает, что «слово свойственно обиходной, разговорной речи, служит характеристикой явления в кругу бытовых отношений; оно не выходит из норм литературного словоупотребления, но сообщает речи непринуждённость» (Там же, 8).

Литовцы зооморфизмом *arklys* называют высокого крупного человека или вещь: *Toks arklys už kelis suėda; žiurėk kad tos arklys tau neužliptų ant kojos. Eik tu, arkly (netikeli)!* (Lietuvių kalbos žodynas 1968, T.1: 307).

Чаще вместо слова *лошадь* в речи военных, в коннезаводческой практике, а также в поэтической речи используется слово *конь* – самец лошади. Русский народ воспел коня, упоминает его в пословицах и поговорках. Конь – верный спутник былинных персонажей – русских богатырей. Владимир Иванович Даль в своём словаре указал на различие между лошадью и конём: «Кляча воду возит, лошадь пашет, конь под седлом».

В русском литературном языке, в отличие от арго, где *конём* называют стройную высокую девушку, характеризующее значение лица у слова *конь* не отмечено (Ожегов 1984; Ожегов, Шведова 2010). В литовском языке у слова *žirgas* – красивый, верховой жеребец – тоже не отмечено переносное значение (Lietuvių kalbos žodynas 2002, T. 20: 15). Русские *жеребцом* (самец лошади, достигший половой зрелости) называют рослого, сильного мужчину, по стилистической окраске это слово просторечное: *Вон ты какой жеребец стал!* (Ожегов, Шведова 2010: 192). В литовском языке слову *жеребец* соответствуют слова *eržilas, kumelys*. Словом *eržilas* – породистый жеребец – называют неженатого мужчину (Lietuvių kalbos žodynas 1969: T. 2, 1152), а словом *kumelys* ру-

гают непоседу (Там же, 1962: Т. 6, 69). *Кобылой* (самка лошади) называют рослую, нескладную женщину (Ожегов, Шведова 2010: 279) (просторечное, неодобрительное). В литовском языке соответствующим словом *kumelė* презрительно называют крупную девушку (Lietuvių kalbos žodynas 1962: Т. 6, 867). *Кобылкой* русские называют безответного и трудолюбивого работника, трудягу; по стилистической окраске это слово просторечное: *Всю жизнь был серой кобылкой* (Ожегов, Шведова 2010: 280). У литовского соответствия – *kumelaitė* – переносное значение не отмечено (Lietuvių kalbos žodynas 1962: Т. 6, 866). *Клячей* (плохая, старая, заморенная лошадь) пренебрежительно называют изнурённого, физически слабого человека, не способного к работе, просторечное (Словарь современного русского литературного языка 1956: Т. 5, 1066). У литовского соответствия – *kuinas, arkliapalaikis* – переносное значение не отмечено. Не выделено в толковых словарях переносное значение слова *жеребёнок* и литовского соответствия *kumeliukas*.

Перейдём к рассмотрению слов-характеристик *бык, корова, телёнок*. Русские говорят: «*Здоров как бык!*» – о человеке с очень крепким здоровьем (Ожегов, Шведова 2010: 65). В литовском языке словом *jautis* (*бык*) презрительно называют человека неумного, невежливого, необузданного (Lietuvių kalbos žodynas 1956, Т. 4, 324). *Коровой* (просторечное, пренебрежительное) русские называют толстую, неуклюжую женщину (Ожегов, Шведова 2010: 297). Несмотря на огромную пользу, которую приносят коровы, обеспечивая людей мясом и молоком, у русских они считаются довольно глупыми животными (Россия. Большой лингвострановедческий словарь 2007: 272). Литовцы *коровой* называют неловкого, непроторного человека или животное, отрицательно-оценочное: *Jeigu, Juozai, šitiek neperšoksi, ta karvė* (Lietuvių kalbos žodynas 1959: Т. 5, 354). Для русских как *телёнок кто-нибудь*, то есть простоват и доверчив (Ожегов, Шведова 2010: 794), а в литовском телёнком (*veršis*) пренебрежительно называют ни на что не годного человека (Lietuvių kalbos žodynas 1997: Т. 18, 869). Мы видим, сопоставляя примеры, что обозначения-характеристики человека для слов *бык, телёнок* в русском и литовском языках не совпадают, совпадает лишь одно из значений у зооморфизма *корова* – в русском языке – «неуклюжая», а в литовском языке – «неловкая женщина» и совпадает отрицательно-оценочная окраска у зооморфизма *корова-karvė*.

Следующая группа зооморфизмов – это слова *свинья, кабан, боров, поросёнок* и их литовские соответствия.

В русском литературном языке *свиньей* называют того, кто поступает низко, подло, а также грубо говорят о грязном человеке, неряхе; по стилистической окраске это слово разговорное (Ожегов, Шведова 2010: 704). В бытовой речи используется глагол *насвинячить*, то есть запачкать что-то, напачкать где-то. *Жить по-свински* – значит в грязи, некультурно, а *поступить по-свински* – значит поступить подло, низко. Эмоционально-экспрессивная окраска этого слова очевидна – отрицательно-оценочная. В литовском языке *свиньей* (*kiaulė*) презрительно называют бессовестного, невежливого, грязного человека: *Nebūk toks kiaulė* (Lietuvių kalbos žodynas 1959: Т.5, 690). В русском литературном языке *кабаном* (бранное) называют толстого, грузного мужчину. Для литовцев зооморфизм *кабан* (*kuilys*) является бранным (*plūdimosi žodis*): *Eik, kuilī, ko čia man mišies!* (Там же, 1962: Т.6, 780). *Поросёнком* (разговорное) русские называют человека неряшливого, замарашку, а литовцы (в лит. *paršelis, paršiukas*) – презрительно называют незрелого человека (Там же, 1973: Т. 9, 431]; а словом *paršėlė*, что соответствует русскому свинка, хрюшка, презрительно называют незрелую, молодую девушку: *Šitokia paršėlė dar čia mane ramokys!* (Там же, 430). *Боровом* (кастрированный самец свиньи) русские называют толстого, неповоротливого человека [Ожегов, Шведова 2010: 56), по стилистической окраске – просторечное, пренебрежительное: *Ну и боров!*

Значение, характеризующее человека, у слова «свинья» в русском и литовском языках почти совпадают, хотя в других языках может быть по-другому. Англичане *свиньей* называют обжору. Совпадает стилистическая окраска этого слова в сопоставляемых языках – отрицательно-оценочная, разговорная. Для многих мусульманских народов сопровождающая слово *свинья* коннотация религиозного плана превращает это слово в резко бранное.

Перейдём к рассмотрению зооморфизмов *баран*, *овца*, *ягнёнок* (=барашек, разговорное) и их литовских соответствий, используемых для характеристики человека.

Русский фразеологизм *уставиться, как баран на новые ворота* возник из наблюдения, что если летом, когда баранов угоняют пастись далеко от дома, перекрасить забор, то баран не узнает ворота хозяйского дома. Поэтому и говорят: *Глуп как баран!* Русские *баранами* называют людей, слепо следующих за кем-чем-л.; разговорное, пренебрежительное (Ожегов, Шведова 2010: 36), а литовцы *бараном* (*avinas*) называют глуповатого, дураковатого человека (Lietuvių kalbos žodynas 1959: Т. 5, 527). Отрицатель-

но-оценочная окраска этого слова в сопоставляемых языках очевидна. В русском литературном языке : *не будь овцой!* – значит не будь бессловесным, чересчур покорным, а в литовском овцой (*avis*) называют, во-первых, нехитрого человека, преимущественно женщину, а во-вторых, религиозного, верующего человека. *Барашком* (в литовском *avinėlis*) литовцы называют медлительного, глуповатого человека (Там же, 1968: Т.1, 527). Переносное значение у слова *ягнёнок* в толковых словарях русского языка не отражено, однако отмечено выражение *прикинулся ягнёнком*, то есть притворился кротким, незлобивым (Ожегов, Шведова 2010: 919).

В русском литературном языке *козлом* называют проигравшего в карточной игре. Отрицательно-оценочная окраска этого слова очевидна – *как от козла молока* (разговорное, неодобрительное) – говорят о человеке бесполезном; *пустить козла в огород* – значит допустить кого-нибудь туда, где он может навредить или поживиться, разговорное; *козёл в капусте* говорят о том, кто допущен туда, где ему хорошо, но где он принесёт только вред – разговорное, шутовское (Ожегов, Шведова 2010: 281). *Козой* или *козочкой* шутовски называют резвую, бойкую, вертлявую девочку или девушку (Словарь современного русского литературного языка 1956: Т. 5, 1119). В литовском языке *козлом* называют упрямого человека: *Su tuo ožiu tu vis tiek nesusikalbėsi* (Lietuvių kalbos žodynas 1962: Т. 8, 1027), а *козой* – несерьёзную, легкомысленную девушку: *Su šita ožka ilgai negalėsi sugyventi, geriau paieškok sau kitos* (Там же, 1032). Как видим, при несовпадении обозначения-характеристики у слова *козёл* в русском и литовском языках, совпадает эмоционально-экспрессивная окраска этого слова – она является отрицательно-оценочной. У слова *коза* в сопоставляемых языках не совпадает ни обозначение-характеристика, ни эмоционально-экспрессивная окраска.

Группа зооморфизмов – названий домашних животных – была избрана для сопоставления потому, что эти животные, их повадки – объект постоянного вольного или невольного наблюдения для человека. Кошка и собака всё время рядом с человеком. В основу фразеологизма *живут как кошка с собакой* (то есть всё время ссорятся, ругаются) легло наблюдение, что эти животные враждуют друг с другом. Тем удивительнее было обнаружить, что не все из слов-названий домашних животных используются в русском и литовском языках для характеристики человека. У зоонимов *кот*, *кошка* и *котёнок* (*katinas, katė; katitis, kačiukas*)

общее, характерное для литературного языка, переносное, характеризующее человека значение в толковых словарях не зафиксировано. В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» отмечено бытующее в воровском жаргоне значение слова *кот* – сутенёр (Словарь современного русского литературного языка 1960: Т. 5, 1534). В «Большом лингвострановедческом словаре» отмечено, что *котом* или *мартовским котом* называют похотливых, сластолюбивых мужчин (Россия. Большой лингвострановедческий словарь 2007: 274). Как *котёнок*, то есть весел, игрив, говорят обычно о ребёнке.

Словам *пёс, собака, щенок, кобель, сука* «повезло» больше, чем зоонимам *кот, кошка, котёнок*. – *Собака!* – говорят о злом, грубом человеке – разговорное, отрицательно-оценочное. Существует довольно много выражений, в которых собака выступает как носитель негативных качеств – грубости и злости (*злой, как собака*), хотя русские считают собаку другом человека, потому что это животное используется для охраны и на охоте. *Псом* называют человека, готового на любые низкие поступки, дела – презрительное, бранное (Ожегов, Шведова 2010: 517). В литовском языке словом *šuo* – собака, *пёс* – презрительно называют злого, бесчестного, мстительного, коварного человека (Lietuvių kalbos žodynas 1991: Т.15, 384). Для русских *щенок* – это мальчишка, *молокосос* – просторечное, бранное: *И ты ещё смеешь спорить со старшими, щенок!* (Ожегов, Шведова 2010:906). Литовцы словом *šuniokas* презрительно называют угодливого человека, слугу (Lietuvių kalbos žodynas 1991: Т.15, 384). В русском литературном языке *кобелём* (самец собаки) называют здорового похотливого мужчину и стилистическая окраска этого слова – грубо просторечное, бранное. Слово *сука* (самка домашней собаки, а также других животных из семейства собачьих) по стилистической окраске грубо просторечное, употребляется как бранное, обычно по отношению к женщине. Вообще этим словом называют бесчестного, подлого человека (Словарь современного русского литературного языка 1963: Т.14, 1175). В литовском языке словом *kalė* презрительно называют женщину-сплетницу (Lietuvių kalbos žodynas 1959: Т.5, 129).

В курсе «Стилистика» при изучении темы «Стилистические ресурсы лексики» студенты-русисты третьего курса филологического факультета ЛЭУ должны были письменно выполнить такое задание: «Определите, какие особенности человека имеются в виду, когда его называют одним из приводимых слов». Далее

следовал список слов-зооморфизмов – названий домашних животных, тождественный перечисленному в начале данной статьи. Знаком плюс студенты должны были отметить зооморфизмы с положительной коннотацией, а знаком минус – зооморфизмы с отрицательной коннотацией. Дополнительно студенты могли указать функционально-стилевую и эмоционально-экспрессивную окраску рассматриваемых слов.

Студенты-русисты, как показал анализ письменных работ, в основном знают переносное значение и коннотации названий домашних животных и умеют использовать в речи слова-зооморфизмы, что проявилось в устных ответах. Студенты-русисты, окончившие национальные школы, в некоторых случаях в ответах испытывали затруднения при рассмотрении характеризующего значения слов *кабан, боров, кобыла, кобель, жеребец*. Интересно то, что в студенческих работах были указаны характеризующие человека значения слов *кот, кошка, котёнок*, отсутствующие в указанных в статье словарях русского и литовского языков. Вот типичные ответы. *Кот* – человек, живущий на содержании у проститутки (такое переносное значение у слова «кот» есть в русском жаргоне); ленивый человек; отмечено знаком минус, то есть отрицательно оценочное. *Кошка* – хитрая женщина; женщина лёгкого поведения. В некоторых работах – о худой, жалкой на вид женщине. Слова эти были помечены знаком минус. *Котёнок* – о милom, приятном, любимом человеке; ласкательное обращение. Это слово было помечено знаком плюс. В работах студентов-литовцев было отмечено, что слова *кот, кошечка, котёнок* могут использоваться как ласкательное обращение, особенно к детям, то есть отмечена особенность использования этих слов в литовском языке, зафиксированная и в словаре литовского языка (Lietuvių kalbos žodynas 1959: T.5, 406, 410).

Выводы

Названия домашних животных в русском литературном языке и в литовском языке используются в функции слов со значением лица. Во всех случаях реализуется метафорический перенос. В основе подобных переносов лежат внутренние и внешние качества, присущие животным, а также их эстетическое восприятие человеком (козочка, кляча). В русском национальном языке наблюдается омонимия значений зооморфизмов – названий некоторых домашних животных в литературном языке и в жаргонах (бык, кот) и случаи перехода значения зооморфизма

из жаргона в литературный язык (лошадь). При сопоставлении выясняются соотношения коннотативных значений зооморфизмов в двух языках: совпадение (тождественность) (свинья), пересечение (корова, лошадь), лакунарность (кляча) и несовпадение (бык, коза). Среди зооморфных характеристик, основанных на названиях взрослых домашних животных, преобладают пейоративные. Анализ письменных работ студентов выявляет некоторые региональные особенности использования зооморфизмов в русской речи.

ЛИТЕРАТУРА

- Большой энциклопедический словарь. Языкознание. 2-е изд. – М.: «Большая Российская энциклопедия», 1998. – 685 с.
- Михайловская Н. Г., У Хао. К проблеме межстилевой омонимии («люди» и «животные» в литературном языке и в аргю) / Н. Г. Михайловская, У Хао // Русский язык в школе. – 2002. – №4. – С.87–91.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. – 15-е изд. – М.: Рус. яз., 1984. – 816 с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российской академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А Темп», 2010. – 944 с.
- Россия. Большой лингвострановедческий словарь. / Под общ. ред. Ю. Е. Прохорова. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – 736 с.
- Сетаров Д. С. Зооморфизм и его роль в изучении языка. / Д. С. Сетаров // Проблемы формирования языковой личности учителя-русиста. / ВГПУ – Волгоград: Перемена, 1993. – С. 71–72.
- Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17, М.–Л.: Наука, 1940–1965. Т. 5, 1956. – 1918 с. Т.14 М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 1390 с.; Т. 15, 1963. – 1286 с.
- Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. Т.1–4. – М.: ОГИЗ, 1935–1940.
- Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / ИЛИ РАН; под ред. Г. Н. Складчиковой. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2001. – 894 с.
- Lietuvių kalbos žodynas. – Т.1–20. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1941–2002. Т.1: А–В. 1968. –2-asis leidimas. – Vilnius: Mintis, 1968. – 1230 p.; Т. 2: С–F. 1955. – 1186 p.; Т.4: I–J. 1957. – 448 p.; Т. 5. – Vilnius: Mintis, 1959. – 1008 p. Т. 6. – Vilnius: Mintis, 1962. – 1106 p.; Т. 8 – Vilnius: Mintis, 1970. – 1036 p.; Т. 14. – Vilnius: Mokslo, 1986. – 1099 p.; Т. 15. – Vilnius: Mokslo, 1991. – 1186 p.; Т. 16. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. – 1086 p.; Т. 17. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 1079 p.; Т. 18. – Vilnius: Mokslo ir enciklo-

pedijų leidykla, 1997. – 984 p.; T. 19. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999. – 1119 p.; T. 20 – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. – 1158 p.

Russian Zoomorphism – the Names of Domestic Animals (Against the Background of the Lithuanian Language)

Summary

The article describes the meanings and connotations of Russian zoomorphism (the names of domestic animals) that are included in the lexical-semantic group 'Human Characteristics' and play an important role in the formation of the Russian linguistic worldview. Such words are frequent in daily language, artistic literature and journalism. Zoomorphism is used in different ways in literal and non-literal forms of the Russian language. Thus, there is homonymy of meanings. The results of the comparison of the Russian zoomorphism which is carried against the background of the Lithuanian language include examples of identity, intersection, lacunarity and non-identity of connotative meanings. Students' written works identify characteristics of zoomorphism in the Russian language and show some peculiarities of using them in speech.

Keywords: *zoomorphism, meaning, connotations.*

С. В. Лихачев*Московский городской педагогический университет
(Москва, Россия)*

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ ЭПИТАФИИ

*Многим все вообще эпитафии кажутся
смешными, но мне нет, особенно когда вспомню
о том, что под ними покоится.*

М. Ю. Лермонтов.

Эпитафия – жанр связанный с темой смерти, а значит, с одной стороны, ограниченный известными с античных времен этическими запретами, например «*De mortuis aut bene, aut nihil*», а с другой стороны, вызывающий философские размышления о жизни и смерти. Эпитафии, главным образом не надмогильные, а литературные, изучаются как жанр в литературоведении (Царькова 1999, Веселова 2006). В коммерческих целях эпитафии изучают представители ритуального бизнеса, утверждающие, что «русская традиция эпитафий возвращается» (Ржанникова 2003). Некоторые исследователи вопреки требованиям этики обращают внимание в первую очередь на курьезные эпитафии, например: «*В этом доме не платят налогов на печные трубы, Стоит ли удивляться, что старая Ребекка не смогла устоять против такого жилища*» (Рязанцев 2011), но такие эпитафии могут оказаться не надмогильными, а литературными, апокрифическими. Однако неизвестны исследования эпитафии как акта речевой коммуникации, с учетом интенций и мировоззрения автора и предполагаемой реакции адресата. В настоящем разделе предпринимается попытка исследовать концепции мировоззрения автора эпитафии в связи с моделью представленных в ней коммуникативных отношений.

Наличие в эпитафии строгой организации уже было отмечено: «Эпитафия – формульный жанр. Разумеется, встречаются исключения, но основные образцы, которым следуют авторы надгробных (такова этимология слова «эпитафия» – от *ἐπί* «над» и *τάφος* – «гроб»¹), сформировались еще в древних греческой и римской культурах» (Веселова 2006: 134). Однако нельзя утверж-

¹ Точнее «могила» – С.Л.

дать, что все эпитафии построены по единой композиционной модели, поскольку разнообразие их велико: литературные эпитафии; исторические надгробные надписи; современные тексты для надгробий, предлагаемые ритуальными агентствами; шуточные эпитафии; а также особый новый тип – эпитафии как продукт аутопсихотренинга.

Надписи в некрополях (надмогильные) делаются на памятниках или выполняющих роль памятника надгробных плитах, при этом само расположение в некрополе несколько обособляет эти надписи от текстов на городских памятниках. Имеются и функциональные различия между текстами на памятниках на улицах города и в некрополях. Во-первых, памятник в городе представляет собой скульптурное изображение или символическую композицию, которую поясняет текст, сообщая, кого изображает скульптура и что символизирует композиция, а текст в некрополе сообщает, чей прах покоится здесь. Во-вторых, адресат текста городского памятника – случайный прохожий или развлекающийся турист, в то время как получатель сообщения памятника в некрополе – человек, специально пришедший поклониться праху дорогих ему людей, проникнутый благоговейным чувством. При этом использование слова «утилитарный» по отношению к текстам в некрополе все-таки возможно, поскольку именно текст позволяет найти могилу среди сотен надгробий.

Эпитафия – чрезвычайно сложный речевой жанр: в центре внимания покойный человек, который не ответит автору, но несмотря на это, эпитафия обращена в первую очередь к усопшему как соадресату, поэтому автор вынужден искать особые языковые модели, позволяющие писать об усопшем, имея в виду и живого получателя сообщения (второго соадресата), но коммуникативная структура сообщения требует обращаться к усопшему как слушателю или по крайней мере концентрировать внимание на его фигуре. Именно эти языковые модели и представляют интерес для лингвистического исследования мировоззренческой концепции своеобразной коммуникации посредством эпитафий.

Некрополи дают огромный текстовый материал, который относится, главным образом, к ушедшим эпохам, но и к нашим дням также имеет отношение. Следует отметить, что на памятниках в некрополе чаще всего теперь пишут фамилию, имя, отчество и две даты: рождения и смерти, т.е. коммуникация не включает в себя эпитафию. Пространные, приукрашенные тексты эпитафий делались в основном в XIX веке, и уместно будет

привести здесь несколько примеров для сравнения с современными.

Начнем изучение эпитафий с получившего широкую известность текста на памятнике-надгробии поэту А. В. Кольцову, не сохранившегося до наших дней, однако упомянутого И. А. Буниным в повести деревня: «Побывав на могиле Кольцова, (Кузьма) с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: *“Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алексея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию просвещеннаго безнаук природою...”*». Эпитафия Кольцова обратила на себя внимание И. А. Бунина, который сделал фразу «просвещенный без наук природою» девизом своего героя. Итак, эпитафия может не только сообщать, чей прах здесь упокоен, но давать читателю наставление в его жизненном пути, т. е. каким путем следовать за кумиром. Поскольку первоначальный текст не сохранился, следует подтвердить тот факт, что текст не является плодом творчества И. А. Бунина. В «Воронежских губернских ведомостях» № 46 за 1853 год воспроизведен текст эпитафии: *«1842 г. ноября 3 подсим паметником погребено тело мещанина Алексея Васильевича Кольцова сочинителя и поэта воронежского / Просвещенный без наук природою награжден монаршею милостию, скончался 33 года и 26 дней в 12 часу брака не имел. / Рожден от родителей, Василья Петрова и Прасковии Ивановой Колцовой жителей воронежских. / Покойся любезный сын стеньящи родители приклонной старости молим всещедрова упокоить душу твою в недрах авраамовых»* (дореформенная орфография заменена современной там, где не было ошибок). Хотя орфографические ошибки и не те же, что в тексте И. А. Бунина, но текст содержательно схожий, и безграмотность в нем присутствует, что и доказывает существование исходного для обеих версий прецедентного текста эпитафии.

Надгробие А. В. Кольцова (взятое до слов *жителей воронежских* включительно) иллюстрирует одну из существовавших в XIX веке моделей текста эпитафии, которую можно было бы назвать фактологической, в которой сообщается от третьего лица официальная информация: сословная принадлежность, род занятий, семейное положение, официальные награды. В приведенном примере автор руководствовался именно текстовой моделью, планом, иначе не появилось бы информативно излишнее сообщение об усопшем: «брака не имел». Такая композиция эпитафии не отражает трагичности смерти, автор эпитафии представляется человеком, безразличным к усопшему.

В XIX веке автоэпитафия – произведение, нарушающее каноны жанра тем, что посвящается не усопшему, а самому себе, пока еще живому – также могла быть построена по фактологической модели, то есть автор (отправитель) текста сообщает факты о себе, называя себя в третьем лице. Такова автоэпитафия А. С. Пушкина.

*Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, ленью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей богу, добрый человек.*

В XX веке литературные автоэпитафии изменяют третье лицо на первое, например так написано стихотворение М. Цветаевой «Идешь на меня похожий», завершенное словами: «И пусть тебя не смущает Мой голос из-под земли».

Эпитафия, построенная по фактологической модели, может быть украшена риторическим обращением к Господу, как в следующем примере: «Под сим камнем погребено тело ученика воронежского училища Михаила / Господи, прими дух его с миром». Несмотря на неуместное пристрастие к деталям, в фактологической модели проявлено и внимание к усопшему и мировоззренческая позиция в отношении к смерти: к усопшему не обращаются, поскольку его уже нет с живыми. Фактологическая модель лишена лиризма и трагизма, поскольку близкие усопшего не сообщают о личной скорби, не обращаются к покойному, не пишут о невозможности смириться со смертью. Фактологическая эпитафия отражает сдержанное, философски взвешенное отражение к смерти, в чем следует искать мировоззренческую концепцию, суть которой будет выяснена в результате анализа всех моделей.

Другую существовавшую в XIX веке модель, в которой скорбящий по усопшему любящий человек обращается непосредственно к нему, назовем трагической модель. Иллюстрировать такое строение эпитафии можно следующим текстом из того же Воронежского некрополя:

*Незабвенному моему другу
В страданьях любящей тебя души
Ты памятник воздвиг себе нетленный
Прости, о друг! Твои мольбы и ими утоли
Скорбь лютую твоей подруги верной.*

Трагическая модель предполагает в первую очередь глубокие личные чувства, но в ней имплицированы и некоторые

факты: у усопшего была большая любовь, его (ее) возлюбленный (возлюбленная), пережив его, хранит это чувство. Об этом чувстве, запечатленном в камне, сообщается возможному читателю, который, однако, в тексте эксплицитно не упоминается. С мировоззренческой точки зрения трагическая модель отражает веру в загробную жизнь, поскольку оформляет эпитафию как диалог с усопшим.

С точки зрения языковых форм, трагическая модель маркирована указывающими на усопшего формами второго лица местоимений и глаголов, лексикой с негативным значением, указывающей на чувства, лексикой тематических полей, связанных с мистикой и любовью. В содержательном плане трагическая модель отличается наличием художественного вымысла: автор (отправитель) общается с усопшим, как с живым, в чем отражается то состояние автора, в котором чувства берут верх над разумом, отражая мировоззренческую концепцию, отличающуюся от концепции фактологической модели.

По причине утраты в советские времена традиции художественной эпитафии на массовых кладбищах возникли три новых явления: эпитафии с ошибками, вызванными отсутствием жанровых канонов; автоэпитафии юмористического и абсурдного содержания; коммерческие эпитафии на заказ. В результате контаминации фактологической и трагической модели, лишенной прямого обращения, стала возможной такая двусмысленная синтаксическая конструкция: «Здесь покоится NN / безвременно погибший / от родных и близких» (имя скрыто по этическим соображениям). Первые две строки вполне укладываются в фактологическую модель, а третья строка имплицитно «памятник тебе», поскольку в сочетании со словом *ему* слова *родные* и *близкие* выглядели бы двусмысленно. Однако, первые две строки формально (грамматически) объединяются в единый текст с третьей по «он-модели», поскольку импликатура «памятник» выпадает из поля восприятия читающего, в результате возникает неверное прочтение. Смешанная модель, возникшая в результате, говорит об отсутствии концептуального видения смерти, о внутренних сомнениях и попытке разрешить их с помощью механистического следования произвольно избранным образцам.

Чтобы избежать подобных ошибок, современный человек может, заказывая памятник близкому человеку, выбрать из предлагаемого изготовителями памятников списка эпитафию,

главным образом, построенную по трагической модели. Среди предлагаемых текстов достаточно вполне достойных, например: «Как много нашего / Ушло с тобой, / Как много твоего / Осталось с нами» или «Как трудно подобрать слова, / Чтоб ими нашу боль измерить, / Не можем в смерть твою поверить, / Ты с нами будешь навсегда». Однако выбор текста, предлагаемого на продажу, свидетельствует все о тех же мировоззренческих сомнениях:

– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

В результате реакции на ошибки в эпитафиях и неподобающую штампованность стиля в наше время возрождается как нечто необычное автоэпитафия, но уже не в литературной форме, а в форме текстов-проектов надмогильной надписи самому себе. Причем авторы сообщают, что сочинение или подбор себе такого текста служит, чтобы глубже познать себя, обрести спокойствие и равновесие. Молодые, далекие от смерти люди обсуждают в социальной сети {xx-знак любой из них}, какую надпись хотели бы видеть на своем памятнике.

Автоэпитафии, созданные в форме проекта, следует признать скорее не литературным, а именно эпиграфическим творчеством, во всяком случае так представляют их себе авторы. В современных автоэпитафиях часто встречается слово «я»: «Я видел так много. Я понял так мало» {xx}, а также «Наконец-то я выплюсь» {xx} – или формы первого лица глагола «А вот ща возьму и воскресну» {xx}. Реже встречается «мы»: «Мы странно встретились... и странно разойдемся...» {xx}. Здесь реализуется третья модель эпитафии – фантастическая модель, в которой автор говорит от лица усопшего, то есть живой примеряет на себя роль мертвого, у которого появляется будущее время: «выплюсь», «воскресну», причем грамматическое время и лицо для автора может стать вопросом принципиального противостояния с теми, кто исполнит его волю и начертает эпитафию, что видно в примере автоэпитафии: «“пытаюсь понять” над гробом, видимо, напишут “пытался понять”» {xx}. Обращение к настоящему и будущему времени глаголов первого лица формально похоже на декларацию веры в загробную жизнь, но содержательно отражает страх и отчаяние живого автора, представившего себя мертвым. Такая модель, возможно, впервые появилась у Вяземского в литературной эпитафии, написанной себе, – в момент сочинения текста, то есть еще не усопшему:

*Эпитафия себе заживо
Лампадою ночной погасла жизнь моя,
Себя, как мёртвого, оплакиваю я.
На мне болезни и печали
Глубоко врезан тяжкий след;
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.*

6 января 1871 Висбаден

Сделанные формальные наблюдения можно резюмировать следующим образом: существует три модели эпитафии, а именно: 1) фактологическая, в форме третьего лица, написанная об усопшем, не участвующем в общении, 2) трагическая, в форме второго лица, адресованная усопшему как собеседнику, 3) фантастическая, в форме первого лица, написанная от лица усопшего, роль которого берет на себя живой.

С концептуальной точки зрения, фактологическая модель, в которой проявляется спокойствие автора, свидетельствует о наличии у него системы верований и твердого убеждения в реальности загробной жизни, поэтому и в таком микротексте не возникает тема невозвратимости утраты. Трагическая модель отражает материалистическое представление о смерти как о бесповоротном конце бытия, которое становится причиной экзальтированной всепоглощающей скорби. Фантастическая модель отражает поиск мировоззренческой концепции, где смерть может восприниматься как сон, как переход в новое состояние, как обратимый конец бытия. Фантастическая модель отражает отсутствие сформированного мировоззрения и о жизни: поскольку границы между жизнью и смертью размыты, то сама жизнь воспринимается как нечто нереальное, иллюзорное, «матрица» – под которой имеется ввиду виртуальная модель, создающая иллюзию реальности.

Не углубляясь в решение гипотетического вопроса о том, станут ли когда-нибудь фантастические эпитафии реальными, отметим, что они интуитивно отражают постмодернистскую концепцию бытия (Лопатина 2010), где мир видится нестабильным и хаотичным, а традиционные понятия, такие как *жизнь* и *смерть* теряют привычное восприятие, а вместе с ним и прежний смысл.

ЛИТЕРАТУРА

- Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX–XX веков: Источники. Эволюция. Поэтика. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. – 198 с.
- Веселова В. Эпитафия – формульный жанр. // Вопросы литературы: Журнал критики и литературоведения. – 2006. № 2. – С. 133–145.
- Рязанцев С. Танатология – наука о смерти//Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/ryazantzev/16.php – дата публикации не указана, дата обращения 17.11. 2011.
- Лопатина К. В. Субстанциально-экзистенциальная архитектура онтологии постмодернизма. Дис. ... канд. филос. наук 09. 00. 01 Омск, 2010. – 146 с.

The Conceptual World Outlook of the Epitaph

Summary

This article is devoted to the epitaph in its two forms, i. e. as monumental inscriptions, and as a literary genre. Attention is drawn primarily to personal pronouns and verb forms that indicate the perception of the author of the epitaph idea of death. The article identifies three models of the epitaph: factual, tragic and fantastic. In terms of the outlook are opposed both structurally and substantively.

Keywords: *epitaph, outlook, pronoun, author, addressee.*

В. В. Макарова

*Вильнюсский университет
(Вильнюс, Литва)*

КОНЦЕПТ «РОССИЯ» В ДИСКУРСЕ Б. АКУНИНА (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА ОБ Э. ФАНДОРИНЕ)

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», – сказал классик. Как отзовется слово известного современного беллетриста Бориса Акунина, – хотелось бы предугадать, и для этого было решено исследовать один из аспектов творчества этого писателя, а именно: содержательное наполнение имени «Россия» в его романах-детektивах, объединенных главным действующим лицом – сыщиком Эрастом Фандориным.

Мотивацией для исследования послужила мысль о том, что сочинения, которые издаются массовыми тиражами (например, 500 тыс. экз.), не могут не повлиять на сознание массового читателя. Или, говоря языком когнитивной лингвистики, индивидуальные составляющие авторских концептов могут повлиять на концептосферу анализируемой культуры.

О проблеме России в творчестве Акунина уже было высказано немало мнений (в основном, публицистическом дискурсе). Наиболее радикальные мнения на этот счет облечены в форму обвинений в русофобии и приверженности так называемым либеральным ценностям. Например, известный российский публицист и писатель Елена Чудинова пишет: «Книги Б. Акунина соответствует западному стандарту представлений о России, этаким особом монстре, жандарме народов. (...) Акунина изрядно русофобит (...)». В подтверждение Е. Чудинова цитирует главного героя одного из романов: «Вечная беда России. Все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, злу служат мученики и г-герои» (Чудинова 2000).

В критическом отзыве Павла Басинского утверждается, что Б. Акунин – «стопроцентный западник, стопроцентный глобалист и стопроцентный праволиберал. Все его романы (...) насквозь идеологичны. (...) Дело в том, что есть большая-большая страна Россия. С особым своим путем, как бы над этим ни издевались те самые либерал-интеллигент-западники. С особенным самосознанием народа, которое вышеназванным людям ужасно не нравится» (Басинский 2003).

Защитники свободы творчества художника отвечают: «Идейные взгляды Григория Чхартишвили (вероятно, и вправду либеральные) – его частное дело. Но главный герой, предмет авторских и читательских симпатий, который служит в полиции или в жандармском управлении?! И ревностно защищает интересы Отечества! И борется с революционерами! Это что, плохо? ... Нет, скорее уж Фандорин – ответ на “запрос” далеко не либерального Василия Розанова, когда-то обвинившего великую русскую литературу в том, что та не представила ни одного честного и благородного чиновника, ни одного положительного полицейского» (Ранчин 2004).

В нашей статье внимание сосредоточено на результате концептуального анализа имени «Россия» в столь неоднозначно оцениваемых и чрезвычайно популярных романах-детективах Бориса Акунина-Григория Чхартишвили.

Материалом для исследования послужили тексты трех последних (на сей день) романов из так называемого фандоринского цикла: «Алмазная колесница» (2003), «Нефритовые четки» (2007), «Весь мир театр» (2009).

Под термином концепт в сообщении понимается «сгусток знаний субъекта о некоей сущности, раскрывающихся в ... текстах, этим субъектом построенных» (Лассан 2008: 31). Чтобы подчеркнуть разницу между понятиями «значение» и «концепт», приведем дефиницию Элеоноры Лассан: «Определим значение как знание об условиях употребления слова для названия определенной референтной ситуации и передачи информации о ней слушателю с целью диалогического общения, а концепт – как знание о некоторой сущности, сформированное в результате размышления (автокоммуникации) над соответствующей референтной ситуацией и передаваемое слушателю с целью раскрытия собственных установок и влияния на его установки» (Лассан 2008: 34–35).

Нас при исследовании содержания имени «Россия» в анализируемом материале интересовало именно размышление-знание-ценностная установка, т. е. концептуальное содержание предмета анализа, а не набор дифференциальных сем лексемы «Россия».

Вторая теоретическая посылка анализа заключалась в представлении о том, что концепт имеет сложную структуру, которую можно называть «фреймовой организацией концепта» (Хрусталева 2007), и, следовательно, описывать ее посредством фреймов и элементов фреймов, называемых слотами.

Анализ имени «Россия» в дискурсе Акунина показал, что фрейм «Россия» состоит из следующих элементов (или слотов): 1) жители России, 2) характеристика страны России, 3) характеристика российской власти, 4) бизнес в России, 5) российская армия, 6) перспективы развития российского государства.

1) Слот «Жители России»

Как явствует из высказываний как главного героя, так и второстепенных персонажей, среди российского люда слишком много хамов: *Но он (интеллигент) совершенно не умеет побеждать в борьбе с хамом и мерзавцем, которые у нас так многочисленны и сильны. // Помяните мое слово, если Россия от чего-то погибнет, то исключительно от хамства! Хам на хаме сидит и хамом погоняет! Сверху донизу сплошные хамы!*

В России умные и трудолюбивые люди есть, но воспользоваться результатом труда они не в состоянии: *У вас тут умных много, трудящихся много, даже честные попадают. Но сонные все, келье. Придумал что-нибудь толковое и сидит себе на заднице, как медведь. //Ведь сколько у нас в России прекраснотушных бездельников с гимназическим образованием! Сейчас они проживают жизнь безо всякой пользы... Какой ущерб для государства и общества.*

Характерные черты российского (русского?) народа – это свинство и разгильдяйство: *Провернул хорошую сделку – и скорей отмечать. // Свинство наше российское.... Вот в Японии, говорят, сортиры на каждом шагу. // Я тут двух вещей страшусь: японских диверсий и российского разгильдяйства.*

Особо подчеркивается отношение российского народонаселения к закону и мздоимству:

...законы российским человеком воспринимаются как досадная условность, придуманная некоей враждебной силой в собственных интересах. Название этой враждебной силы – «государство». Ничего разумного и доброжелательного в действиях государства не бывает. Чудище сие «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяц». Единственное спасение в том, что оно к тому же слеповато и туповато, а каждый отдельный его «зев» поддается прикармливанью. Без этого жить в России было бы совсем невозможно. Наладил хорошие отношения с ближней к тебе зубастой пастью, и делай что хочешь.

Примеры того, чтобы герои анализируемых романов отмечали положительные черты российского народонаселения, нам не повстречались.

2) Слот «Характеристика России»

Во-первых, Россия характеризуется как объект, достойный сочувствия (как со стороны главного героя, так и других): *Россию жалко, // бедную Россию могло спасти только одно.*

Во-вторых, Россия определяется как страна *вечно несвободная и дурацкая*. Дурацкой Россия именуется иронически в таком контексте: *– А что по-японски значит «Россия»? – встревожился за отечество титулярный советник. – Ничего хорошего. Пишется двумя иероглифами: Ро-коку, «Дурацкая страна». Наше посольство уже который год ведёт сложную дипломатическую борьбу, чтобы японцы использовали в документах другой иероглиф «ро», означающий «роса». Тогда получилось бы красиво: «Страна росы». Пока, увы, не удастся.*

России дается также и положительная характеристика. Главный герой детективов Э. Фандорин, например, высказывает мысль (мысленно) о том, что «если у нас дошли до аббревиатур, значит, Россия и в самом деле устремилась в ХХ век, когда все будут решать быстрота и экономичность». И один из второстепенных персонажей характеризует Россию как страну *огромных, неограниченных возможностей: Как здесь можно развернуться, если не боишься работы! В каком еще государстве человеку моего возраста доверили бы дело такого масштаба?*

3) Слот «Характеристика власти»

Российские власти характеризуются исключительно негативно: *Америка – отличная страна. Дел прорва, не меньше, чем в России, но власть не ставит предпринимателю палки в колеса // всякому известно, на какие пакости способна российская власть, // вряд ли в России когда-нибудь появятся правители, понимающие, что царствование – Крестный Путь, а золотая корона – Терновый Венец // гибель России в её правителях. Как сделать, чтоб правили те, у кого к этому талант и призвание, а не те, у кого амбиции и связи?*

Таковы безликие российские представители власти. Пример конкретного представителя властной элиты также непригляден и смешон: *Он был совсем не похож на стандартное российское превосходительство: ни пышной растительности на лице, ни чванности в повадке, ни велеречивого краснобайства. Энергичен, современен, скуп на слова.*

Самое главное, неверным в дискурсе Акунина представляется само государственное устройство в России. Иной раз оно иронически представляется случайно выжившим динозавром: *империя превратилась в анахронизм, в зажившегося на свете динозавра*

с огромным телом и слишком маленькой головой. То есть по размерам-то голова была здоровенная, раздутая множеством министерств и комитетов, но в этой башке прятался крохотный и неотягощенный извилинами мозг.

Иногда в терминах, выбранных для характеристики российского государственного устройства более чем столетней давности, угадывается российская действительность, критикуемая за то, что в ней, возможно, имеют место быть следующие явления: *твердая вертикаль власти, государственное управление основными отраслями промышленности, никаких игр в демократию.*

4) Слот «Бизнес в России»

Один иностранец из мира акуниных романов утверждает: *«Мы деньги на пустяки не тратим, у нас каждая копейка должна работать. Идея для российского предпринимательства экзотическая, почти небывалая». Россия именуется неуклюжим и неудобным для бизнеса государством, в котором сотрудничество с подпольным воротилой совершенно необходимо.*

В данном случае также напрашивается параллель с сегодняшним днем: мы не беремся утверждать, что в России сложно заниматься предпринимательской деятельностью, но жалобы предпринимателей на то, что налоги и коррупция не дают развивать бизнес, являются общим местом.

5) Слот «Армия»

Российский солдат *хуже японского – уступает и выносливостью, и обученностью, и боевым духом. Генералы наши жирны и безынициативны, японские поджары и нахраписты. Констатируется извечный проигрыш России в сражениях и достижение победы косвенными способами, один из которых – уклонение от больших сражений – и победа в кармане.*

Примеры положительной характеристики российской армии в анализируемом нами корпусе текстов не обнаружены.

6) Слот «Перспективы развития российского государства»

Периодически главный герой детективов Эраст Фандорин делает неутешительные выводы о будущем России: *Прогнозы Эраста Петровича относительно российской будущности были неоптимистичны, но как славно было бы ошибиться. // Состояние дел на родине Эраст Петрович оценивал пессимистично.*

В интервью 2011 г. Борис Аукнин дал такой комментарий относительно образа России, конструируемого в дискурсе его романов: «Я стараюсь в своих книжках писать о России без сиропа, без сахарности, но в то же время, прошу прощения за пафос, – с любовью. Потому что любовь, с моей точки зрения, – это не когда ты восхищаешься предметом, а когда ты думаешь, как бы тебе сделать его лучше. Поэтому в моих книжках очень много написано о трудных моментах истории страны, обо всех ошибках, которые были сделаны. Я пишу об ошибках не для того, чтобы расчесывать больное место, а для того, чтобы читатели об этом задумались и чтобы ошибки не повторялись в будущем» (О России без сиропа 2011).

Подводя итог сказанному, остановимся на следующем моменте. Считается, что результат анализа концептуального наполнения анализируемого имени должен дать нам ответ на следующие вопросы: 1) Что думал некогда или думает сейчас X, когда он думает о референтной ситуации Y? 2) как связан этот концепт с другими концептами? 3) Что мы можем думать о X на основании того, что он думает об анализируемой сущности? (Лассан 2008: 35).

Очевиден ответ на первый вопрос (что думает X об Y). Россия – это страна с хамоватым населением, неэффективной властью и проч. Именно это обстоятельство провоцирует оппонентов обвинять Б. Акунина в русофобии (а вернее – россиефобии). Ответ на второй вопрос (о связи концептов) мы в рамках данной статьи не приводим, т. к. для этого требуется провести отдельное исследование. Третий вопрос – что мы можем думать о X на основании того, что он думает об анализируемой сущности? – по-видимому, остается открытым. Один из вариантов ответов таков: возможно, акцент на негативных аспектах содержательного наполнения имени «Россия» может быть обусловлен не идеологическими воззрениями субъекта дискурса, а приверженностью его к определенному типу риторического идеала. Риторического образца, модели поведения, которая диктует говорящему, в частности, следовать правилу «во имя благих целей – не хвалить, а порицать».

ЛИТЕРАТУРА

- Басинский Павел. Космополит супротив инородца. / Павел Басинский // Русский журнал. – 2003. – 31 декабря 2003 г. – http://old.russ.ru/krug/kniga/20031231_pb.html
- Лассан Элеонора. Лингвокультурология. Очерк русской концептологии. / Элеонора Лассан. – Вильнюс: Изд-во Вильнюсского пед. ун-та, 2008. – 140 с.
- О России без сироба. Интервью с Борисом Акуниным. // Радио «Голос России». – 2011. – 11 апреля 2011 г. – <http://rus.ruvr.ru/2011/04/11/48750734.html>
- Ранчин Андрей. Романы Б. Акунина и классическая традиция: повествование в четырех главах с предуведомлением, лирическим отступлением и эпилогом. / Андрей Ранчин // НЛО. – 2004. – № 67. – <http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/ran14-pr.html>
- Хрусталева Мария. Синонимия в методическом дискурсе: когнитивный аспект. Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. / Мария Хрусталева. – Пермь, 2007.
- Чудинова Елена. Смерть статуи Ахиллеса (Фандорин Б. Акунина — разоблачение одной подмены). / Елена Чудинова // Елена Чудинова. Личный сайт писателя. Литературоведение. – 2000. – 14–28 декабря 2000 г. – <http://www.chudinova.info/articl.php?KProizvName=7>

The Concept of “Russia” in the Discourse of Boris Akunin (Based on the Cycle of E. Fandorin)

Summary

This article analyzes the concept of “Russia” in the discourse of the famous Russian novelist Boris Akunin. The motivation for the study was the idea that the individual components of the author’s concepts can affect the analyzed culture’s conceptosphere. Research has shown that the concept of “Russia” in the discourse of Boris Akunin consists of the following elements: 1) residents of Russia, 2) characteristics of the country of Russia, 3) characteristics of the Russian government, 4) business in Russia, 5) the Russian army, and 6) prospects of the Russian state. Moreover, the emphasis is on the negative aspects of their substantive content.

Keywords: *concept, frame, slot, Boris Akunin, Russia.*

ЛИТОВСКИЕ И РУССКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ВКРАПЛЕНИЯ В ПОЛЬСКОМ РЕГИОЛЕКТЕ В ЛИТВЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Вводные замечания

Понятие интерференции в структурной лингвистике связано с языковыми явлениями в условиях многоязычия. Расширение лингвистических исследований, включение в поле зрения современной лингвистики речевой деятельности и коммуникативного сознания, подчеркивание взаимосвязи языка и культуры правомерно приводит к «растяжению» понятия интерференции. Цель нашего доклада – показать на примере польского региолекта в Литве, что в условиях межкультурного взаимодействия лексические вкрапления из других языков исполняют определенные коммуникативные функции и являются отражением социокультурной интерференции.

Интенсивное языковое контактирование в Юго-восточной Литве, которую диалектологи определяют как литовско-польско-белорусское пограничье, наблюдается на протяжении нескольких столетий¹. Однако социальный статус и функции контактирующих языков неоднократно подвергались изменению даже в XX веке.

¹ Русские и поляки – это наиболее многочисленные национальные меньшинства, проживающие в Литве. По данным переписи населения, проведенной Департаментом статистики Литовской Республики в 2001 году (обработка данных проведённой в этом году переписи населения завершится только в июне 2012 г.), поляки составляли 6,74% всех жителей Литвы, а русские – 6,31%. Белорусы составляют 1,23%, а все другие национальности вместе взятые – только 1,32%. Важно отметить, что для расселения как русских, так и поляков характерна территориальная неравномерность. Большинство русских – 89,7% - проживает в городах: в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй, Клайпеде и Висагинасе. Поляки же являются наиболее компактной, учитывая их расселение, национальной группой в Юго-Восточной Литве; около 43% всех поляков живут в столице, остальные в основном проживают в сельской местности в районах, прилегающих к городу Вильнюсу, в так наз. Вильнюсском крае (пол. *Wileńszczyzna*). Как следует из статистики, в двух районах – вильнюсском и шальчининкайском – они даже составляют большинство, соответственно 61,3% и 79,4%. Согласно статистическим данным, родной язык жителей Литвы в основном соответствует национальности, отклонения от этого правила колеблются в границах 5%.

Последнее перераспределение функций разных языков произошло в 1990 г., когда литовский язык обрёл статус государственного, усилилось его изучение в польских и русских школах, был установлен обязательный выпускной экзамен по государственному языку (до сих пор его программа немного отличалась от аналогичной в литовских школах, но согласно принятому в 2011 г. закону в ближайшее время она должна быть унифицирована). Русский же язык из средства межнационального общения на территории бывшего СССР, из преобладающего в общественно-политической жизни, в высшем образовании и науке стал языком одного из национальных меньшинств. В меньшей степени эти события коснулись польского языка, который после второй мировой войны функционировал в сельской местности в форме чистых и смешанных говоров, а также в литературной и разговорной форме с многочисленными региональными особенностями, подвергаясь сильному влиянию русского языка. Демократизация общества, установление близких дипломатических и культурных отношений между Польшей и Литвой, международная защита прав национальных меньшинств – все это привело к увеличению престижа польского субстандарта, который стал восприниматься как один из иностранных языков.

Сферы распространения русского и польского языков в современном литовском обществе во многом схожи – это прежде всего семейно-бытовая, школьная, религиозная (что более характерно для поляков). Расхождения, однако, наблюдаются в численности и тираже средств массовой информации на русском и польском языках: например, в Литве выпускаются только 3 польских газетных издания и 8 русских, среди которых есть также русские варианты литовских газет². Это можно объяснить довольно хорошим знанием русского языка³ представителями нерусского населения и популярностью в этой среде русской массовой культуры (телевидение, фильмы, развлекательная музыка, компьютерные игры), доступ к которой с помощью интернета

² Стоит также заметить, что тираж русских газет значительно превышает тираж польских, а в своей популярности среди читателей они не уступают литовским изданиям. См. <http://www.impressteva.lt/index.php?id=7318>

³ Перепись 2001 года показала довольно большое распространение русского языка: его знание подтвердило 60,3% нерусского населения страны, в то время как знание английского – только 16,9% всех жителей. Надо предполагать, что результаты проведённой в этом году переписи изменят эти пропорции и отразят произошедшую за последнее десятилетие смену установок на знание языков у молодого поколения, которое лучше владеет английским, чем русским.

стал всеобщим. Таким образом, хотя в Литве наблюдается официальная установка на следование западноевропейскому образу жизни, в менталитете жителей Литвы довольно выразительно проявляется тяготение к русской культуре, «зависимость от русской ценностной картины мира» (Лихачёва 2005: 237).

В такой социокультурной общественной среде, в которой большинство населения, кроме родного, знает ещё 2-3 других языка, повседневным и повсеместным является переключение с одного языка на другой. Кодовые переходы обычно обусловлены изменением какого-нибудь компонента речевого акта, прежде всего адресата, иногда – темы разговора или коммуникативной ситуации. Однако мы сталкиваемся и с другим явлением – сознательным использованием в непринужденной разговорной речи полилингвов на одном языке лексических элементов других языков, которые принято называть лексическими вкраплениями.

Объектом анализа послужил материал собранный в 2008-2009 г. на читательском форуме интернетного издания ежедневной газеты «Курьер виленски» (пол. *Kurier Wileński*), выходящей на польском языке. На этом форуме высказываются не только местные читатели, но и читатели из Польши. Высказывания первых из них можно узнать по содержанию, некоторым языковым особенностям и использованию вкраплений из русского и литовского языков. По своим стилистическим свойствам эти комментарии представляют собой свободную разговорную речь, зачастую насыщенную экспрессивной окраской.

Формальная характеристика иноязычных вкраплений

В устной речи иноязычные вкрапления маркируются прежде всего оригинальным произношением, сохраняя характерные для чужого языка фонологические черты. Для их маркировки в письменном виде можно использовать графические средства: оригинальный алфавит, кавычки, метаязыковые выражения, изменение шрифта. Поскольку переключение алфавита на клавиатуре – занятие требующее времени, то среди собранных иллюстраций мы наблюдаем только один пример использования кириллицы (см. прим. 2), которое, кстати, становится причиной разных ошибок. В основном вкрапления маркируются с помощью кавычек. Иногда вводятся метаязыковые выражения *jak po rosyjsku mówią* «как говорят по-русски», *rosyjskie powiedzenie* «русская поговорка», *rosyjskie przysłowie* «русская пословица» (см. прим. 5, 14, 15), в одном случае применяются прописные буквы (см. прим. 4).

Анализируемый материал показывает, что объём иноязычных вкраплений выходит за рамки лексической единицы. Это могут быть не только отдельные лексемы и фразеологические единицы, но также паремии и другие свободные словосочетания. Как вкрапления часто используются крылатые слова и другие прецедентные тексты, например, слова из популярных фильмов, произведений, стихов или песен. Причём они могут приводиться в канонической форме или подвергаться перефразированию. Перефразирование может быть неосознанное – как в примере 1 – в котором по аналогии с польским языком предлог *po* после подменён предлогом *po*, срав.:

[1] *Zapomniałeś o Szttyrlicu. A oglądałeś „Balladę o żołnierzu” albo „Los człowieka”?* ***Ja tożе pa pierwom nie zakusywuaju*** (русс. *после первого стакана не закусываю* – крылатая фраза из фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека»)

Чаще всего однако – как в примере 2, в котором мы имеем дело с фразеологической инновацией – перефразирование является сознательным творческим процессом, своего рода языковой игрой, срав.:

[2] ***„С грязи в князи, с князи в грязь”*** – *poziom życia na Litwie ostatnich 20 lat* (русс. *из грязи в князи*)

Так как литовские поляки являются полилингвами, то в их речи на родном языке можно наблюдать одновременное использование вкрапления из двух разных языков, например:

[3] *Poprzez tę dygresję chciałem powiedzieć, że w całej tej hecy nie ma „pażeidimo įvykio ir sudėties”, tu w ogóle nie było żadnego naruszenia prawa. A wszystko poszło od przewrażliwionych „wysoko postawliennych czynowników” i nacisku politycznego* (лит. род. падеж *pažeidimo įvykio ir sudėties* «факта и состава нарушения», русс. род. падеж *высокопоставленных чиновников*)

Процесс адаптации чужого слова в языке-реципиенте зависит от факторов экстралингвистических – от его номинативности, частоты его употребления, его коммуникативной функции и чисто лингвистических – от морфологических различий между языками. Прежде всего его освоение обусловлено возможностью включения иноязычного слова в парадигматические отношения заимствующего языка.

Поскольку типологически польский, русский и литовский языки очень близки, включаемые в польскую речь русские и литовские слова, хотя часто сохраняют исходную морфологическую форму, обычно однако вписываются в синтаксические связи польского текста, срав.:

[4] *Brawo Litwo! Tyś pierwsza zrozumiałaś, że bez NAUCZNOGO KOMMUNIZMA nam nie ma przyszłości* (русс. род. падеж *научного коммунизма*)

Следующий этап освоения иноязычного слова – это его включение в соответствующую флексийную парадигму. Как показывает практика, такой адаптации чаще подвергаются имена существительные, а реже прилагательные и глаголы. В классе существительных – те слова, которые можно включить в парадигматические отношения польского языка, а именно русские и литовские существительные женского рода с окончанием –а и русские мужского рода с нулевым окончанием, например *шланг* в прим. 5, срав.:

[5] *Nie wiem, w jaki sposób z panem rozmawiać, do tego jak widzę chyba udaje, jak po rosyjsku mówią prikidywajetsia szlangiem* (русс. *прикидываться шлангом*)

Гораздо сложнее происходит процесс грамматического освоения литовских имён существительных мужского рода с окончаниями –as, –us, –is, –ys. В славянских языках в этом случае можно используют два различных приёма. Первый – это замена литовского окончания соответствующим польским, второй – включение литовской грамматической морфемы –as, –us, –is, –ys в основу слова⁴. В рассматриваемом материале мы имеем дело с сохранением литовских окончаний именительного падежа во всей парадигме. В результате появляются гибридные формы с двойными грамматическими морфемами, например:

[6] *Oł, po prostu naszym sejmunasom właśnie 1940 wydaje się najwygodniejszy. A czy to ma sens?* (лит. *seimūnas* «член сейма»)

[7] *Pozostaje wiara, że nauczą się nastawiać uszy we właściwym kierunku, większość manifestantów to poczciwi ludzie, i tylko imbecyl do kwadratu by ich nie zauważył – będąc głuchym na wołanie kochającego swój kraj tautietis'a* (лит. *tautietis* «земляк»)

Функциональная характеристика иноязычных вкраплений

Вопросы, связанные с функциональной характеристикой иноязычных слов, по-разному решаются в разных лингвистических школах. В польской контактной лингвистике, изучающей польский

⁴ В литовском склонении эти окончания в косвенных падежах переходят в другие, к примеру лит. И. – Valdas Adamkus, Р. – Valdo Adamkaus. При склонении литовских собственных имён в славянских языках литовское окончание становится частью основы, ср. русс. И. – Валдас Адамкус, Р. – Валдаса Адамкуса, или пол. И. – Valdas Adamkus, Р. – Valdasa Adamkusa.

язык зарубежья, принято выделять: а) вкрапления, мотивированные потребностью номинации местных реалий, не имеющих названия в родном языке; б) вкрапления, мотивированные социокультурными факторами, доминирующей языковой средой; они касаются обычно социального и культурного пространства, в котором преобладает государственный язык, язык большинства; в) вкрапления, мотивированные стилистически (Sełowska 1994: 70–71). В русской лингвистике, рассматривающей те же вопросы, выделяются три основные функции иноязычий: а) номинативная, с привлечением прагматических коннотаций; б) функция самовыражения, самоутверждения; в) экспрессивно-стилистическая (Земская 2001: 184–199). Как показывают исследования русской речи в Литве мотивация включения в родную речь иноязычных вкраплений может быть ещё более разнообразной (Авина 2006: 102–105).

В анализируемом материале мы выделяем следующие три функциональных вида иноязычий. Первая группа вкраплений удовлетворяет **номинативную** потребность языка. Это касается безэквивалентной лексики, так называемых экзотизмов – лексики, связанной с реалиями быта, этнографическими и национально-культурными особенностями, социально-политической жизнью, – которые не имеют точных аналогов в иной культуре и ином языке, например:

[8] *Pamiętam, jak w czasach harcowania **sajudisu**, spawano koła wagonów kolejowych do kolei z mięsem i innymi towarami, ażeby nie trafiły do Rosji. Była to tak zwana "blokada" Rosji* (лит. *Sajūdis* «национальное движение, которое появилось в Литве в 1988 г. накануне провозглашения независимости»)

Это также в широком смысле собственные имена: не только топонимы и антропонимы (имена и фамилии), но также названия радио- и телепередач, газет и других периодических изданий, учреждений, праздников, мероприятий и др., например:

[9] *Jednak niech mi ktoś wytłumaczy, czym różni się poziom takiej pisaniny od np. programu w naszym słynnym **Ruskoe Radio*** (русс. *Русское радио* «название радиостанции»)

Сфера функционирования иноязычных собственных имён очень широка – они характерны не только непринужденной устной речи, но и более официальной сфере общения (Sokołowska 2004: 113–118), а также средствам массовой информации.

Когда в ситуации многоязычия в какой-то сфере преобладает один язык, кажется, что именно слово этого языка помогает говорящему и адресату быстро и однозначно осуществить референ-

цию к конкретному объекту или явлению. В обоих случаях – и когда перевод представляет собой затруднение, и когда он очевиден, в непринужденной устной речи первенство отдаётся иноязычиям. Лингвисты, изучающие двуязычие, обращают внимание на то, что вкрапления из другого языка имеют добавочный семантический компонент (Wierzbicka 1995: 148). Литовское слово содержит сему «литовский, свойственный литовцам или литовской среде», русское же – «русский/российский, свойственный русским и русской среде». Поэтому литовские вкрапления сигнализируют – в прим. 10, что речь идёт о агентствах занимающихся недвижимостью именно в Литве, в прим. 11 – что это литовские языковеды, а русские вкрапления в прим. 12 переносят нас в Литву советского периода, когда в общественной сфере доминирующим был русский язык, ср.:

[10] *Oszukano tych najbiedniejszych, szczególnie młodych. Watpie, że od bogaciuchów wywrą forszę. Lobiści firm „nekilnojamas turtas” nie pozwolą* (лит. *nekilnojamas turtas* «недвижимое имущество»)

[11] *Problem w tym, że i Miłosz, i Mickiewicz są dla Litwy według koncepcji lituanistów (...) nie do przyjęcia. Bo tworzyli po polsku, identyfikowali się z Polską, nie wiadomo, czy znali litewski (pod tym względem nawet Piłsudski jest koncepcji Litwina według „kalbininkasów” bliższy) i tak dalej* (лит. *kalbininkas* «языковед»)

[12] *Widać jesteś młodym człowiekiem, że nie pamiętasz tych czasów, że na cały dom był jeden **szczotczik w podwalie**. A w mieszkaniu tylko goła rura* (русс. *счётчик в подвале*)

Большое значение для закрепления иноязычного слова и его референциальной функции имеет его визуальность: литовские названия учреждений и их отделений, наименования употребляемые в профессиональной и официально-деловой сфере, с которыми поляки в Литве сталкиваются чаще всего в письменном виде на литовском языке, в их родной разговорной речи тоже обычно приводятся по-литовски, например:

[13] *No jeżeli znaki drogowe nie są napisami informującymi, to wtedy nazwy ulic są „wiešieji užrašai”* (лит. *viešieji užrašai* «городские наименования»)

Очень часто иноязычные вкрапления используются как средство экспрессии. Во-первых в этой роли выступают слова, имеющие экспрессивную стилистическую окраску уже в языке-источнике, например:

[14] *A w ogóle to do tej Twojej filozofii jak ulał pasuje rosyjskie powiedzenie: „bried siwoj kobyły”* (русс. *бред сивой кобылы*)

[15] *Może znasz takie rosyjskie przysłowie „golj na wydumku chitra”? Pasuje do Ciebie?* (русс. *голь на выдумку хитра*)

[16] *Młodzież, która nie chce, czy nie potrafi wysłowić się po polsku, nie rzadko ma rodziców, którzy ukończyli szkoły rosyjskie, a jabłko od jabłoni niedaleko pada, po rosyjsku „s kiem powiedzioszsia, od tego i nabierieszia”.* *Smutne, ale prawdziwe* (русс. *с кем поведёшься, от того и наберёшься*)

Некоторые из них могут восполнять стилистические лакуны польского языка, например, трудно подобрать польские идиомы соответствующие русским выражениям *бред сивой кобылы* (см. прим. 14) или *голь на выдумку хитра* (см. прим. 15). Даже в случае существования таких эквивалентов, они могут быть говорящим незнакомы или менее точны и закреплены в их речи. Поэтому иноязычные вкрапления могут использоваться вместо соответствующих фраз родного языка, например русская пословица *с кем поведёшься, того и наберёшься* вместо польской *kto z kim przestaje, takim się staje*. Пример 16, в котором автор сразу приводит образно выражающую его мысль польскую пословицу *jabłko od jabłoni niedaleko pada* (русс. *яблоко недалеко падает от яблони*), а потом близкую по смыслу русскую, может свидетельствовать, что в его сознании имеенно вторая является более выразительной⁵.

Во-вторых, даже стилистически нейтральные иноязычные слова, в силу своей контрастности, в польской речи обретают

⁵ Использование экспрессивных вкраплений характерно разговорной речи в целом, но – её субкультурным вариантам в особенности. Исследования показывают, что в условиях многоязычия использование словообразовательных средств в экспрессивных целях довольно непродуктивно. Отсутствие дериватов с экспрессивной окраской восполняет заимствование лексики из других языков. Материал представленный в магистерской работе М. Оленьской (M. Oleńska, *Słownictwo socjolektu młodzieżowego w Wilnie*. - 2007) свидетельствует, что в современном польском молодёжном жаргоне почти половину лексикона составляют заимствования из русского языка. На этом фоне литуанизмы и англицизмы играют в сленге очень незначительную роль – соответственно 2,3% и 2,5%. При чём сравнительный анализ показывает, что за последние 10 лет, в течение которых укрепилась позиция литовского языка в общественно-политической жизни, и – благодаря открытию западных границ – усилилась мотивация к изучению английского языка, в процентном отношении число сленгизмов литовского и английского происхождения совсем не увеличилось, зато русские заимствования представлены ещё большим числом. Это можно объяснить – о чём сказано было выше – большой популярностью и доступностью в Литве русскоязычной массовой культуры. Надо отметить, что это влияние в той же степени касается литовской среды и литовского жаргона, в котором широко функционируют такие слова, как *bazarinti* «разговаривать», ср. рус. *базарить*, *mobiliakas* «мобильный телефон», ср. рус. *мобиляк*, *pabarabanu* «всё ровно», ср. рус. *по барабану*, *tusintis/ tusavotis*, ср. рус. *тусоваться*, *benzokolonkė* «бензоколонка» (Zaikauskas 2007).

экспрессивную окраску. Отличаясь на фоне другого языка, они обращают на себя внимание, подчеркивают шуточный или иронический смысл выделенного слова, например:

[17] *Nie wierze... jeszcze się opłaci, bo „dobrodziejatieli” z naszego rządu coś wymyślą... by się opłaciło jechać tam* (рос. добродееатель)

[18] *Inni to [имеется в виду членство кандидатирующих в сейм Литовской республики до 1990 г. в КПСС] dyskretnie umalczowali ... [реплика следующего участника форума] A kto umalczal?* (русс. умалчивать)

[19] *Zawsze mamy pod ręką przykłady głupoty narodowej Lietuvisów. Emilia Plater zawsze się podpisywała E. Plater lub E. Platerówna* (лит. *lietuvis* «литовец»)

Иноязычия могут использоваться также для выражения других **прагматических** коннотаций. Б. Синочкина (2000: 93), исследующая язык русскоязычных средств массовой информации в Литве, показывает, что вкрапление из другого языка может быть скрытой цитатой, которая привносит в повествование голос «другого», давая тем самым основание для диалога или полемики, выражения авторского отношения к сообщаемому. Например, русское выражение *исконно русские земли* в прим. 20 отражает официальную российскую точку зрения, приводя её в оригинальном звучании, автор отстраняется от этого мнения, ср.:

[20] *Taka gadka o „iskonno ruskije ziemi” to raczej idzie od strony Moskwy. Tylko oni raczej nie chcą restaurować, ale czołgami pojeździć* (русс. *исконно русские земли*)

Введение в прим. 21 русских слов позволяет не только перенести читателя в российское пространство, но одновременно передать некоторые черты менталитета, свойственные определённой социальной прослойке русских, ср.:

[21] *Siedzi sobie chłopina w chałupie w powyciąganym dresie kupionym na baracholce i ogląda wiadomości w TV, jak to matuszka Rosja znówu dała bobu Litowcom, twarz jego rozjaśnia uśmiech i radość, niech się Litowcy mlekiem swoim udławiają i tęp stakan płynu rozwesalającego, bo Rosja mocarstwo...* (русс. *Вести* «название русской информационной программы», *матушка Россия*, *литовец*, *стакан*)

В комментарии к статье, которая рассказывает о том, что национализированная после войны собственность графа Тышкевича в независимой Литве во время приватизации перешла к другому собственнику, противопоставляя единые по смыслу слова *Litwin* и *Lietuvis*, автор выражает своё негодование по поводу этого факта, ср.:

[22] *Cóż, Lietuvis okradł Litwina z ojcowizny. Czemu tu się dziwić?* (лит. *lietuvis* «литовец»)

Выводы

Используя в своей польской речи лексические вкрапления из литовского и русского языков, жители Вильнюсского края, демонстрируя таким образом своё многоязычие, проявляют своего рода коммуникативную стратегию солидарности. Такое речевое поведение преобладает в свободной разговорной речи, является признаком раскованности общения.

В роли вкраплений появляются отдельные лексические единицы, а также свободные словосочетания и крылатые слова. Как русские, так и литовские иноязычия могут сохранять первоначальную форму или подвергаться морфологической адаптации.

Иноязычия исполняют определенные коммуникативные функции. «Инкрустация» ими высказываний происходит осознанно, имеет творческий характер. В анализируемом материале можно выделить их номинативную, референциальную и прагматическую, включая в неё и экспрессивную, функции.

Использование лексических вкраплений свидетельствует о межкультурном взаимодействии в многоязычном обществе, которое можно определить как социокультурную интерференцию. Использование в польском региолекте литовских слов, связанных с устройством политической и общественной жизни, показывает естественное в ситуации национального меньшинства влияние официальной государственной культуры. Многочисленные русские вкрапления, используемые чаще всего как средство передачи экспрессивного восприятия окружающего мира, указывают на связь с русским менталитетом. Хотя преобразования в разных сферах общественной жизни как в Литве, так и в польской метрополии, осуществляются по западноевропейским образцам, в коммуникативном сознании поляков, проживающих в Литве, довольно выразительно проявляется тяготение к русской культуре и к русскому юмору.

ЛИТЕРАТУРА

Авина Н. Родной язык в иноязычном окружении (на материале русского языка в Литве) / Н. Авина. – М.: ООО «Издательство „Эллис“», 2006. – 315 с.

- Лихачева А. Коммуникативное сознание жителей Литвы как отражение социокультурной интерференции / А. Лихачёва // Русский язык в культурно-коммуникативном пространстве Новой Европы / Ред. Ю. Е. Прохоров. – Рига: Балтийский Русский институт, 2005. – С. 234–242.
- Синочкина Б. О некоторых новых тенденциях взаимодействия лексики русского и литовского языков / Б. О. Синочкина // Русский язык для детей 3–10 лет: воспитание и обучение в ситуации двуязычия / Сост. Е. Ю. Протасова. Хельсинки, 2000. – С. 89–94.
- Земская Е. А. Общие языковые процессы и индивидуальные портреты / Е. А. Земская // Язык русского зарубежья. Общие процессы и речевые портреты / Отв. Ред. Е. А. Земская. – Москва–Вена: Языки славянской культуры : Венский славистический альманах. – С. 25–338.
- Sękowska E. Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słotwórcze / E. Sękowska. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. – S. 184.
- Sokołowska H. Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie / H. Sokołowska. – Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2004. – S. 296.
- Wierzbicka A. Indeksowanie cytatów z języka polskiego w tekstach angielskich i włoskich / A. Wierzbicka // Język polski w kraju i za granicą / Red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta – T. II. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, 1997. – S. 145–154.
- Zaikauskas E., Lietuvių žargono žodynėlis. Kalbos paribiai ir užribiai / E. Zaikauskas. – Vilnius: Alma Littera, 2007. – 192 p.

Lithuanian and Russian Lexical Parentheses in Polish Regional Dialect of Lithuania as Reflection of Socio-Cultural Interference Summary

The article analyses linguistic data collected from the reader forum of the online version of the Polish-language Lithuanian daily newspaper 'Kurier Wileński' in the period of 2008-2009. The forum presents a frequent usage of Polish and Lithuanian parentheses such as separate lexical items, free and idiomatic collocations, and familiar expressions. The article aims at demonstrating that in multilingual and polysemantic environment lexical parentheses fulfil certain communicative function (nominative, referential, pragmatic) and appear to be a reflection of socio-cultural interference.

Keywords: *the Polish language, regional dialect, lexical parentheses, socio-cultural interference.*

Ю. Юркенас*Литовский эдукологический университет
(Вильнюс, Литва)*

ЯВЛЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ

«В слове и, в особенности, в имени – все наше культурное богатство, накопленное в течение веков» (Лосев 1993: 628). Когда идет речь о далеком прошлом, все чаще акцентируется мысль о том, что об этом следует судить не только по сохранившимся предметам материального мира (раскопкам). Источником информации о прошлом должны служить также и духовные ценности. Знаками, содержащими закодированные духовные ценности, представляются древние собственные имена, ставшие своеобразными реликтами древней культуры. Ономастика – это своего рода «лингвистическая археология», которая может быть использована при изучении истории, стать источником некоторой информации при решении проблем этногенеза и т.д. (ср. Zinkevičius 2008: 27). Поэтому в ономастическом исследовании постоянно наблюдаются попытки использовать какие-то новые приемы изучения собственных имен, которые могли бы стать средством декодирования заложенной в них информации. Так, например, А. В. Суперанская указывает на возможность глобальных, ареальных и региональных исследований собственных имен.

«Глобальная ономастика занимается типологическим сходством собственных имен разных стран и народов, установлением общих закономерностей, свойственных именам, независимо от их языковой принадлежности, выведением ономастических универсалий...

Ареальная ономастика устанавливает ареалы отдельных ономастических явлений, которые обычно не совпадают с ареалами диалектологическими, отражая языковую картину, предшествующую современной. Выявленные в ономастических исследованиях ареалы помогают решению вопроса о субстрате, а вместе с тем и о расселении народов в предыдущие эпохи...

Региональная ономастика выявляет ономастические системы, в которые объединяются имена тех или иных территорий. Система известным образом влияет как на восприятие имен уже существующих, так и на создание новых» (Суперанская 1973: 11 – 12).

А. А. Белецкий пишет: «При классификации ономастической лексики в отношении времени, места, языка и культуры, мы дополняем созданную Ф. де Соссюром терминологию и наряду с противопоставлением (1) синхронии и диахронии вводим противопоставления: (2) синтопии и диатопии, то есть принадлежность элементов одному и тому же ареалу или разным ареалам, (3) синглотии и диаглотии, то есть принадлежность элементов одному и тому же культурному кругу или разным культурным кругам.

Таким образом, первой задачей исследователя ономастического материала должно быть хронологическое, географическое и циклическое расположение материала» (Белецкий 1972: 32). Сомневаться в рациональности данных соображений не приходится. Но если говорить о последовательности использования и эффективности исследовательских процедур, то на первом месте окажется диатопическое и диаглотическое изучение. Дело в том, что единственным доступным наблюдению признаком древней онимии, единственным надежным каналом получения информации о судьбах древних собственных имен является «география» их компонентов и функциональная их нагрузка в составе разных онимических систем. Иногда даже определение языковой принадлежности обусловлено географическим расположением антропонимов.

Диахроническое и диациклическое изучение древних антропонимов является делом весьма сложным. Определение абсолютных дат оказывается почти невозможным, так как в нашем распоряжении пока нет никаких источников для получения необходимой информации. Некоторые косвенные данные о культурных циклах может дать только диатопическое исследование древних антропонимов. А хотя бы самое общее представление о культурных циклах может быть использовано в целях определения относительной хронологии. Собственные имена, сохранившиеся почти во всех известных группах индоевропейских языков, с определенной степенью вероятности можем считать фактом «праиндоевропейского» культурного цикла, а хронологически – продуктом древнейшего периода. Единицы, характерные для какой-то замкнутой группы и.-е. языков, можно отнести к соответствующему культурному циклу, а хронологически – к эпохе контактов между данными народами.

Известный немецкий языковед Х. Краэ в результате ареального (= диатопического) изучения гидронимии делает вывод,

что на территории, которую занимают или когда-то занимали германские, кельтские, италийские (с венетским), иллирийские и балтийские племена, наблюдается некоторое количество аналогичных, общих по своей форме и, скорее всего, по происхождению так называемых «древнеевропейских» гидронимов; напр. *Ala* (Норвегия), *Allava* (Италия), *Alava* (Испания), *Alovè, Alanta* (Литва), *Ala, Alave* (Латвия), *Ола* (Верхнее Поднепровье) и т.д. (ср. Krahe 1964: 36; Pèteraitis 1992: 61, 334; Топоров, Трубачев 1962: 199). Эти названия, по мнению Х. Краэ, - продукт той эпохи, когда указанные языковые группы были еще сравнительно близки друг к другу. В. П. Шмид, продолживший исследование в том же направлении, также считает наличие так называемых «древнеевропейских» гидронимов бесспорным фактом. Однако суть данного явления у него представлена с привлечением некоторых новых аспектов анализа истории языков, а также с учетом некоторых интереснейших наблюдений. В. П. Шмид предлагает термины «древнеевропейский», «индоевропейский» и «праязыковой» (*voreinzelsprachlich*) использовать как синонимы. Гидронимы данного типа не поддаются истолкованию на материале какого-нибудь одного известного и.-е. языка. Где бы мы ни находили эти древние гидронимы – в Скандинавии, во Франции, на Балканах, – почти всегда обнаруживаем соответствия и в балтийском ареале. Это явление обусловлено сохранностью и непрерывностью передачи (*Kontinuität*) древних собственных имен, и эта непрерывность особенно ярко выражена в балтийских языках (Schmid 1972: 5; 1998, 152).

3. Зинкявичюс на основе своих наблюдений, а также с учетом имеющихся исследований других языковедов делает вывод, что большинство балтийских этнонимов представляет собой единицы гидронимического происхождения [Zinkevičius 2005: 72 – 77]. Можно, конечно, разделять или не разделять эту точку зрения, т.е. можно иметь в виду то обстоятельство, что рассуждения этимологического характера в большинстве случаев воспринимаются как положения, характеризующиеся большей или меньшей степенью вероятности. Однако бесспорным и заслуживающим внимания исследователей здесь является тот факт, что **почти все названия балтийских этносов отражены в другом разряде собственных имен – в гидронимии.**

В последней капитальной работе 3. Зинкявичюса по литовской антропонимии наблюдается своего рода расширение диапазона онимических исследований. Имеем в виду следующую

примечательную мысль автора. Довольно часто сам антропоним превращается в гидроним, который как бы персонифицирует объект. Такой перенос собственного имени из одного разряда в другой могли совершать только люди, которые поклонялись явлениям природы, т.е. люди, сознание которых еще было под влиянием дохристианского мировоззрения (Zinkevičius 2008: 350). Суть указанных соображений практически можно свести к тому, что в сфере собственных имен, как и вообще в языке, дает о себе знать явление антропоморфизма, т.е. и в онимической лексике не исключено уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы.

Немецкие языковеды, работающие под влиянием известных идей Х. Краэ и В. П. Шмида, обратили внимание на следующее обстоятельство: использование приемов сравнительного анализа в топонимическом исследовании ведет к выводу о том, что общие единицы наблюдаются не только в гидронимии, но и в топонимии (Casemir, Udolf 2006: 115).

В «Словаре русской ономастической терминологии» представлен термин *трансонимизация* – переход онима одного разряда в другой, а также некоторые названия, обусловленные указанным понятием: *антропотопоним, топоантропоним, этнотопоним, этногидроним, антропоэтноним* (Подольская 1988: 32, 118, 132, 138, 154).

Вышеприведенные мысли разных языковедов, а также наши наблюдения дают основание думать о том, что явление пересечения разных онимических рядов (=трансонимизация) в ономастическом исследовании заслуживает особого внимания. Имеем в виду целесообразность сравнения и соответствующей оценки случаев, когда то же собственное имя или его компонент выступает как этноним или его основа, как гидроним, как топоним, как антропоним или его часть и т.д. Явление пересечения нескольких онимических рядов приобретает особый смысл тогда, когда соответствующие собственные имена отражены в онимии нескольких родственных языков. В таком случае целесообразна постановка вопроса об определении ареала распространения пересекающихся единиц. Сам факт такого пересечения нескольких онимических рядов следует воспринимать как показатель архаичности соответствующего собственного имени или его основы.

В качестве иллюстрации, которая может восприниматься и как своего рода аргументация изложенных соображений, предлагаем анализ конкретных единиц.

GAL-. Этнонимы: *Galindo* 1231г., Γαλίνδαи (в «Географии» древнегреческого ученого Птоломея во II в. н.э.) – одно из древнепрусских племен; *Голядь* – племя восточных балтов, обитавшее на территории современной Московской области, упоминаемое в русских летописях XI–XII веков (Mažiulis 1988 I: 318); *Galli*, Γαλάται (Pokorný 1959: 351); фракийское племя Γαλαίοι (Detschew 1957: 98); кельт. *Gall-ityae*, *Gallo-vari* (Holder 1896 I: 1973, 1980).

Гидронимы: лит. *Gal-monas* (река), *Gálnis*, *Galōnas*, *Gálvis* (озера) (Vanagas 1981: 105), *Galiukas* (река), в древнепрусских источниках *Galanten*, *Galent* (нем. *Gehland – See*) (Péteraits 1992: 89).

Антропонимы: лит. *Gal-butās*, *Gal-ginas*, *Gal-kontās*, *Gal-manās*, *Gal-mantās*, *Gal-minās*, *Gal-vydis*, *Gala-vainis*, *Galeivis*, *Galenys*, *Galentas*, *Galys*, *Galius*, *Galkys*, *Galnius* (LPŽ 1985: 612–618); др.-прусск. *Clawsgal*, *Ey-gals*, *Mini-gal*, *Ny-gal*, *Tawte-gal*, *Way-gal* (Trautmann 1925: 136), герм. *Gala-man*, *Gali-man*, *Cale-man*, *Galindus* (!) (Fürstemann 1856: 462); кельт. *Gall-anus*, *Galli-ānus*, *Gallicus*, *Galli-o(n)*, *Gallionius*, *Gall-o(n)*, *Gallon-ius*, *Galo-minus* (Holder 1896 I: 1920, 1950–1980); фрак. Γάλυκος (Detschew 1957: 98) иллир. *Galaestes* (Krahe 1929: 142); польск. *Gal*, *Gallus*, *Gallo*, *Galic*, *Galik*, *Galon*, *Gala*, *Gatek*, *Gola*, *Golan*, *Golius*, *Gol-min*, *Golut*, *Goł*, *Gołas(z)*, *Golo-buta* (Słownik 1970: 75–78; 149–159), *Gol-ęda* 1458 (= др.-прусск. *Galindo* ?), *Gol-nia* (Rymut 1991: 124); др.-русск. *Голиков* 1540 г., *Голь* 1498 г., *Голядов* 1570 (Веселовский 1974: 81, 84); белор. *Голік*, *Голь-мант* (Гурская 2008: 358).

Топонимы: лит. *Gal-ginaĩ*, *Gal-kantaĩ*, *Gal-mančiai*, *Gal-miniai*, *Gal-vydiškė*, *Gal-vydziai*, *Galkaĩ*, *Galnė* (Žinynas 1976: 76–77); *Golynde* 133 (Восточная Пруссия), *Galinden* (Восточная Пруссия) (Būga 1961: 117); *Galēni* (Латвия), *Гальманцішкі* (Белоруссия), *Galiny* (Польша), *Galanta* (Словакия), *Галата* (Болгария), *Gallo* (Испания) (PV 2006: 136–137).

Можно обратить внимание на некоторые параллельные образования (сложные СИ или единицы с определителями корня).

1. Антропонимы: лит. *Gal-minas*, др.-прусск. *Mini-gal*, кельт. *Galo-minus*, польск. *Gol-min*.

2. Антропонимы: лит. *Gal-manas*, *Gal-mantas*, герм. *Gali-man*, *Cale-man*, белор. *Голь-мант*; гидроним: лит. *Gal-monas*; топонимы: лит. *Gal-mančiai*, белор. *Галь-манцішкі*.

3. Антропонимы лит. *Galnius*, польск. *Golnia*; гидроним: лит. *Galnis*; топоним; лит. *Galnė*.

4. Этнонимы: др.-прусск. *Galindo*; одно из племен, упоминаемое в русских летописях, обитавшее на территории современной

Московской области *Голядь*; антропонимы: др.-русск. *Голядов*, польск. *Gołęda*, герм. *Galindus*; топоним *Galinde* (Восточная Пруссия).

Если говорить об имеющихся попытках определить связи данного компонента СИ с апеллятивной лексикой, то целесообразно будет обратить внимание хотя бы на следующие толкования.

1. Этимонам соответствующих антропонимов и этнонимов следует считать единицы, возникшие на базе и.-е. корня **Gal-* или **Ghal-*: лит. *galėti* «мочь», *galiá* «сила, мощь», русск. диал. *голямо* «много, очень», болг. *голям* «большой», др.-ирл. *gal* «храбрый», кимр. *gallu* «мочь», брит. *gallout* «мочь» и т.д. (ср. Holder 1896 I: 1521 – 1522, 1971 – 1980; Schmidt 1957: 215; Detschew 1957: 98; Pokorny 1959: 351; Zinkevičius 2008: 88).

2. *Galindai* – это этноним, возникший на базе лит. слова *galas* «конец, край». Иначе говоря, это название племени, обитавшего на окраине балтийского ареала (Būga 1961 III: 117; Zinkevičius 2005: 75).

3. Этноним *Galindo* образован на базе исчезнувшего гидронима **Galindā* (Mažiulis 1988 I: 318 – 319).

4. Компонент *Gal-*, выделяемый в составе германских антропонимов, возник на базе д.-в.-н. *galan* «петь» (Förstemann 1856: 462). Следует обратить внимание на то, что лексема *galan* «петь» используется прежде всего для обозначения исполнения песен колдовства; ср. еще *bi-galan* «петь колдовскую песню, заговаривать», *gellen*, *galstern* «колдовать». А семантема *колдовать* может быть представлена как «стремление к использованию сверхъестественной силы» (ср. единицы вышеуказанного ряда: лит. *galia* «сила, мощь», брит. *gallout* «мочь» и т.п.).

Наш комментарий: **собственные имена с основой *Gal-* в своем составе – это единицы древней онимии европейского региона.** Не исключено, что существовал не один источник их возникновения, однако разграничение собственных имен, возникших в древности в результате онимизации омонимичных основ, в настоящее время вряд ли возможно. Кроме того, следует иметь в виду и то, что «корни, считавшиеся омонимичными, на самом деле таковыми не являются и исторически могут интерпретироваться как единый корень... Язык иногда уподобляют собранию давно забытых, мертвых метафор. И это не случайно: огромное количество слов, трудно поддающихся этимологическому анализу, в действительности оказываются старыми метафорами, давно

утратившими какие-либо семасиологические связи в языке» (Маковский 1989: 21, 32).

ТАУТ- (< и.-е. **teutā* / **toutā*). **Этнонимы:** *Teutoni*, *Teutones* (неясно, является ли собственное имя *teutoni* кельтским или только кельтизированным), *Teutonoari*, *Teutonovarii* (Schönfeld 1965: 224), *Tautī* (Holder 1896 II: 1773); ср. д.-в.-н. *diota* «народ» - *diutisk* «народный» - совр. *deutsch* / *Deutschland*.

Гидронимы: лит. *Tautinys*, *Tautinėlis* (реки), *Taūt-upis*, *Taūtesnis* (озеро) (Vanagas 1981:342).

Антропонимы: лит. *Taut-rimas*, *Taūt-vaišas*, *Taūt-vidas*, *Tautvydas*, *Bi-tautas*, *By-tautas*, *Bū-tautas*, *Bù-tautas*, *Dár-tautas*, *Gan-taūtis*, *Ga-taūtis*, *Geiš-tautas*, *Gēs-tautas*, *Gėš-tautas*, *Gē-tautas*, *Gìn-tautas*, *Girš-tautas*, *Góš-tautas*, *Gó-tautas*, *Jā-tautas*, *Jó-tautas*, *Kan-tautas*, *Kón-tautas*, *Kun-tautas*, *Man-tautas*, *Mās-tautas*, *Mìn-tautas*, *Miš-tautas*, *Mon-tautas*, *Nār-tautas*, *Nir-tautas*, *No-tautas*, *Nū-tautas*, *Rā-tautas*, *Ró-tautas*, *San-tautas*, *Sin-tauta*, *Sìr-tautas*, *Viėš-tautas*, *Vin-tautas*, *Vy-tautas*, *Zas-tautas*, *Zoš-tautas*, *Žù-tautas*, *Žū-tautas*, *Tautavičius*, *Tautelis*, *Tauterys*, *Tautkus* (LPŽ 1989: 1028–1031; Zinkevičius 2008: 148–149, 299); др.-прусск. *Tawte-gal*, *Taute-mille*, *Taute-narwe*, *Thawte-wille*, *By-taute*, *Gyn-thawte*, *Girs-tawte*, *Je-towte*, *Jos-taute*, *Kers-taut*, *Man-tawte*, *Nar-tawte*, *Santowte*, *Ways-taughte*, *Wil-taute*, *Thawte*, *Tautenne*, *Tawtike* (Trautmann 1925: 152); др.-герм. *Teut-bald*, *Teut-bard*, *Teuto-bod*, *Teut-frid*, *Theutegar*, *Teut-gaud*, *Teut-hard*, *Teut-har*, *Teut-man*, *Teut-mar*, *Teut-munt*, *Teude-rat*, *Theude-ricus*, *Teut-sind*, *Teudo-ald*, *Teud-wit*, *Teud-uin*, *Theudo*, *Theuto*, *Teut*, *Theudilo*, *Theutila*, *Theuter* (Förstemann 1856: 1158–1194), *Teuta-gonus*, *Teuto-bodus*, *Teuto-merus* (Schönfeld 1965: 123); кельт. *Teuta-matos*, *Teuto-bodius*, *Teuto-malius*, *Teuto-melius*, *Toutio-rīx*, *Toutio-dīvix*, *Con-touto-*, *Daco-toutus*, *Tri-touti*, *Viro-touta*, *Tautius*, *Tautonius*, *Tautātis*, *Toutennus*, *Toutillus*, *Toutius*, *Toutus* (Holder 1896: 1773 – 1900; Schmidt 1957: 277–280); фрак. *Tauto-medes*, *Тouta* (Detschew 1957: 495–507); иллир. *Tri-teuta*, *Teuda*, *Teuta*, *Teuticus*, *Teutomus* (Krahe 1929: 169); и.-е. языки Малой Азии *Тoutaс*, *Тoutиc*, *Тouto* (Zgusta 1964: 523).

Топонимы: лит. *Tautėnai*, *Tautgaīliai*, *Taūtginiai*, *Tautiniaĩ*, *Tautiškiai*, *Tautkūnai*, *Tautrimai*, *Tautūšiai*, *Tautvilaĩ*, *Jotautaĩ*, *Kantautai*, *Rataūtiškis*, *Sintautaĩ*; *Teutburger Wald* (Германия), *Taučii* (Румыния), *Тутин* (Сербия) (PV 2006:434–435, 447).

Еще в XIX в. в рамках праиндоевропейской антропонимии (Namensystem der proethnischen Spracheinheiten) А. Фик выделяет группу единиц, характерных для европейского ареала (Europäische Namengruppen) под рубрикой *Tauta* «народ». Сюда

относит СИ типа галльск. *Touto-bocio*, *Toutio-rîx...*, *Toutus*, *Con-toutus*, древние немецкие антропонимы *Diet-bert*, *Diet-rich...*, *Theudo*, *Teudila* и т.п. (Fick 1874: ССХV). Данных балтийской, фракийской и иллирийской онимии в то время, разумеется, у А. Фика не было.

В исследованиях онимии разных языков этимология соответствующей основы, как правило, сводится к единицам гнезда генетически родственных слов типа лит. *tautà* «народ», др.-прусск. *tauto* «страна», гот. *þiuda* «народ», д.-в.-н. *diot(a)* то же, др.-ирл. *tuath* «народ», хеттск. *tuzzi* «войско» и т.п. (из и.-е. **teutā* < **tēu-teh²*; этимологическое значение – «прирост, множество людей»; и.-е. **teu-/tū-* «увеличиваться, раздвигаться»).

Не всегда возможно определить, где использование соответствующего компонента СИ обусловлено лишь причинами типологического характера, и где в онимии разных языков сохранились реликты целых сочетаний общего происхождения; ср. лит. *Taut-vydas* || герм. *Teud-wit*; лит. *Tauterys* || герм. *Theuter*; лит. *Kan-tautas*, *Kón-tautas* || кельт. *Con-toutus*; иллир. *Tri-teuta* || кельт. *Tri-touti*; ср. также сочетания основ, напоминающие аналогичные структуры с перестановкой компонентов: лит. *Gan-taūtis* || герм. *Teuta-gonus*; лит. *Man-tautas*, др.-прусск. *Man-tawte* || герм. *Teut-man*; лит. *Vin-tautas* || герм. *Teud-vin*; лит. *Rā-tautas* || герм. *Teuderat*; лит. *Sin-tauta* || герм. *Teut-sind*.

Думается, что можно говорить, по крайней мере, о том, что использование того же компонента СИ (= той же основы) в ряде языков определенного ареала следует воспринимать как показатель архаичности этого элемента СИ. Онимизацию данной единицы можно отнести к периоду соприкосновения носителей соответствующих языков (относительная хронология). Наличие множества СИ, содержащих в своем составе основу **teut-*, следует воспринимать как факт, обусловленный продолжением древней индоевропейской традиции образовывать СИ на базе лексем с семантическим содержанием «племя, народ, люди; рождение, рост, увеличение» (ср. Юркенас 2003: 24–25).

Выводы

- 1) Онимия – это совокупность знаков особого типа. В этой совокупности немало единиц, возникших в глубокой древности.
- 2) Рамки выделяемого Х. Краэ и В. П. Шмидом слоя так называемой «древнеевропейской» гидронимии могут быть расширены. Наши материалы свидетельствуют о том, что целесообразно

говорить не только о древней гидронимии, представленной в разных частях европейского континента. Это явление (= общность некоторого количества идентичных СИ) отражено в онимии вообще – в антропонимии, топонимии, этнонимии и т.д. Наличие достаточно большого количества идентичных единиц в онимии определенного региона невозможно объяснить простой случайностью. Если в двух языках с целью обозначения какого-то явления или какой-то функции используются соотносительные выражения, то это или заимствование, или общее достояние данных языков. Только очень редко в такой ситуации можно говорить о случайности (Schmid 1978: 7). Древние СИ такого типа могут восприниматься как продукт явления, обозначаемого термином *языковой союз* (нем. Sprachbund). Имеем в виду наличие языков, обладающих общими признаками и расположенных в определенном пространстве. В настоящее время существует мнение, что выделение языкового союза возможно даже на основе одного признака (Sawicka 2007: 24–25). Таким признаком может быть и наличие некоторого количества общих единиц древней онимии. Иначе говоря, представляется возможным выделение **древнеевропейского онимического союза** как особой ареальной общности. Но онимия – это не просто особая группа лексики. Особенности и состав СИ обусловлены не только системой языка, но и культурно-историческими факторами. Поэтому явление, которое обозначается термином *древнеевропейский онимический союз*, следует понимать не просто как языковой союз, а в какой-то мере как феномен культурно-исторического и мировоззренческого характера.

ЛИТЕРАТУРА

- Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания (Ономастика) / А. А. Белецкий. – Киев: Издательство Киевского университета, 1972. – 210 с.
- Веселовский С. Б. Ономастикон / С. Б. Веселовский. – Москва: Наука, 1974. – 382 с.
- Гурская Ю. А. Имя собственное: Этимология, национально-культурный потенциал, концептуализация / Ю. А. Гурская. – Минск: Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук; на правах рукописи, 2008. – 545 с.
- Лосев А. Ф. *Бытие – имя – космос* / А. Ф. Лосев. – Москва: Мысль, 1993. – 958 с.

- Маковский М. М. Удивительный мир слов и значений / М. М. Маковский. – Москва: Высшая школа, 1989. – 200 с.
- Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – 2 изд. – Москва: Наука, 1988. – 187 с.
- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – Москва: Наука, 1973. – 366 с.
- Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья / – Москва: Наука, 1962. – 270 с.
- Юркенас Ю. Основы балтийской и славянской антропониими. Ю. Юркенас. – Вильнюс: Ciklonas, 2003. – 194 с.
- Būga K. Rinkiniai raštai: 3 t. / K. Būga. – T. 3. - Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961. – 1008 p.
- Casemir K., Udolph J. Die Bedeutung des Baltischen für die niedersächsische Ortsnamenforschung / K. Casemir, J. Udolph // Baltų onomastikos tyrimai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
- Detschew D. Die thrakischen Sprachreste (Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung, XIV) / D. Detschew. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1957.
- Fick A. Die griechischen Personennamen / A. Fick. – Göttingen: Vandenhoeck, 1874. – CCXIX, 236 S.
- Förstemann E. Altdeutsches Namenbuch: in 2 Bd. / E. Förstemann. – Bd. 1. – Nordhausen, 1856.
- Holder A. Alt-celtischer Sprachschatz: in 3 Bd. / A. Holder. – Leipzig: Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1896–1907.
- Krahe H Lexikon altillyrischer Personennamen / H. Krahe. – Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1929.
- Krahe H. Unsere ältesten Flussnamen / H. Krahe. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964.
- LPŽ Lietuvių pavardžių žodynas: 2 t. / A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė. – Vilnius: Mokslo, 1985–1989.
- Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas: 4 t. / V. Mažiulis. – T. 1. – Vilnius, Mokslo, 1988. – 428 p.
- Pėteraitis V. Mažoji Lietuva ir Tvanksta / V. Pėteraitis. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992. – 456 p.
- Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch: in 2 Bd. / J. Pokorny. – Bern: Francke, 1959–1969.
- PV Pasaulio vietovardžiai. Europa. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2006.
- Rymut K. Nazwiska polaków / K. Rymut. – Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1991. – 315 p.
- Schmid W. P. Indogermanistische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte / W. P. Schmid. – Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1978.
- Schmid W. P. Das baltische Zentrum in der alteuropäischen Hydronymie / W. P. Schmid // Baltistica XXXIII(2). – 1998. – P. 145–153.

- Schmidt K. H. Die Komposition in Galischen Personennamen / K. H. Schmidt. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1957. – 301 S.
- Schönfeld M. Wörterbuch dar altgermanischen Personen- und Völkernamen / M. Schönfeld. – Heidelberg: Carl Winter, 1965. – 309 S.
- Słownik staropolskich nazw osobowych: w 7 t. / red. W. Taszycki. – Wrocław – Warszawa – Kraków: Wydawnictwo polskiej Akademii nauk, 1965 – 1987. – 7 T.
- Trautmann R. Die altpreussischen Personennamen / R. Trautmann. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1925. – 204 S.
- Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas / A. Vanagas. – Vilnius: Mokslo, 1981. – 408 p.
- Zgusta L. Kleinasiatische Personennamen / L. Zgusta. – Praha: Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 1964.
- Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė / Z. Zinkevičius. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – 327.
- Zinkevičius Z. Lietuvių asmenvardžiai / Z. Zinkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 839 p.
- Žinynas... Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, II dalis / Parengė Z. Noreika ir V. Stravinskas. – Vilnius: Mintis, 1976. – 398 p.

The Phenomenon of Intersection of Onomastics Series

Summary

Proper names are a group of language signs with specific features of semantics and pragmatics which define their way of development and structure. The totality of proper names is a set of formations of different epochs. Different onomastics series are crossing quite often. It becomes the reason why identical stems are used as basic words in anthroponymy, toponymy, hydronymy and ethnonymy in different languages of a certain region. The article presents analysis of two onomastics series: a) units with the component *Gal-*, b) proper names with the base *Taut-* (< **teutā* / **toutā*). The existence of identical proper names in different languages is an indicator of archaism of language signs in these series. The corresponding facts should be perceived as a product of the phenomenon designated by the term of the language-union. This refers to the possibility of the existence of an old European onomastics union as a special community.

Keywords: *language union, old European onomastics union, onomastics series, proper name.*

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ / ABOUT AUTHORS

Авина Наталья (Avina Natalia) – доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской филологии и дидактики филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сфера научных интересов: словообразование, стилистика, языковые контакты, межкультурная коммуникация. nataljaa@takas.lt

Алпатова Татьяна Александровна (Alpatova Tatyana) – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и фольклора МГОУ. Сфера научных интересов: история русской литературы XVIII века, компаративистика. alpatova2005@rambler.ru

Андриевская Эрика (Andriyevskaya Erika) – магистр филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сфера научных интересов: языковые контакты, межкультурная коммуникация. erikaa@yandex.ru

Белошапкива Татьяна Владимировна (Beloshapkova Tatyana) – доктор филологических наук, профессор ГОУ ВПО МГПУ. Сферы научных интересов: когнитивная лингвистика.

Беляева Ирина Анатольевна (Belyaeva Irina) – доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы и фольклора ГОУ ВПО МГПУ. Сферы научных интересов: русская литература XIX века, компаративистика. belyaeva-i@mail.ru

Беляева Мария (Belyaeva Maria) – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры немецкого языка и современных технологий обучения института иностранных языков ГОУ ВПО МГПУ. Сфера научных интересов: дискурсивная лингвистика, синтаксис текста и речи. beljaeva-mv@mail.ru

Валюлис Светлана Алексеевна (Valiulis Svetlana) – доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской литературы и межкультурной коммуникации филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сферы научных интересов: философия, литература, искусство.
Svetlana.Valiulis@gmail.com

Власова Светлана Витальевна (Vlasova Svetlana) – доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской филологии и дидактики филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сферы научных интересов: историческая грамматика русского и литовского языков, компаративистика, церковнославянский язык.
vlasovasvetlana@gmail.com

Володина Татьяна Владимировна (Vologdina Tatyana) – доктор гуманитарных наук, руководитель Центра литовского языка и культуры Вроцлавского университета. Сферы научных интересов: литература, культурология, лингвистика.
tatjanavologdina@gmail.com

Гарбуль Людмила (Garbul Liudmila) – доктор гуманитарных наук, лектор кафедры романских языков Института иностранных языков Вильнюсского университета. Сфера научных интересов: историческая лексикология русского языка, межславянские языковые контакты и заимствования.
Liudmila.garbul@flf.vu.lt

Джанумов Сергей (Сейран) Акопович (Dzhanumov Seyran) – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы и фольклора ГОУ ВПО МПГУ. Сферы научных интересов: фольклор, литературно-фольклорные связи. DzhanumovSA@mail.ru

Дубинина Татьяна Геннадьевна (Dubinina Tatyana) – старший преподаватель кафедры русской литературы и фольклора ГОУ ВПО МПГУ. Сфера научных интересов: история русской литературы XIX века. DubininaT@mgpu.ru

Жаркова Анна Валентиновна (Zharkova Ana) – доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской филологии и дидактики филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сферы научных интересов: стилистика, культура речи, синтаксис. azarkova@gmail.com

Жигалова Мария Петровна (Zhigalova Maria) – доктор педагогических наук РФ, профессор кафедры теории и истории русской литературы Брестского Государственного университета им. А. С. Пушкина, действительный член АПСН РФ. Сферы научных интересов: литература, культура. zhygalova@mail.ru

Качеревская Ольга Станиславовна (Kacherevskaja Olga) – доктор гуманитарных наук, лектор кафедры русской литературы и межкультурной коммуникации филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сферы научных интересов: современная русская литература. ohty@yandex.ru

Киров Евгений Флорентович (Kirov Evgenij) – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. Сфера научных интересов: теория языка, общее языкознание, проблемы коммуникации. evg-kirov@mail.ru

Кундротас Гинтаутас (Kundrotas Gintautas) – доктор гуманитарных наук, профессор кафедры русской филологии и дидактики, декан филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сфера научных интересов: проблемы русской фонетики и интонации в сопоставлении с другими языками, преимущественно с литовским. gintautas.kundrotas@vpu.lt

Лоскутникова Мария Борисовна (Loskutnikova Maria) – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и фольклора ГОУ ВПО МГПИУ. Сфера научных интересов: история и методология литературоведения, история русской литературы, теория литературы, компаративистика. loskutnikova@umail.ru

Лихачев Сергей Владимирович (Likhachev Sergei) – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ГОУ ВПО МПГУ. Сферы научных интересов: коммуникативная лингвистика, лингвистическая прагматика. LihachovSV@rambler.ru

Макарова Виктория Владимировна (Makarova Viktorija) – доктор гуманитарных наук кафедры романских языков Института иностранных языков Вильнюсского университета. Сферы научных интересов: когнитивная лингвистика, политическая лингвистика, риторика. makarovavv@gmail.com

Масойть Ирена (Masoit Irena) – доктор гуманитарных наук; доцент кафедры польской филологии и дидактики Литовского эдукологического университета. Сфера научных интересов: социолингвистика, языковые контакты, межкультурная коммуникация. irena.masoit@vpu.lt

Неминуший Аркадий Николаевич (Neminushchij Arkadij) – доктор филологических наук, профессор кафедры русистики и славистики Даугавпилсского университета. Сфера научных интересов: история и поэтика русской литературы XIX века, творчество А.П. Чехова. arkadij05@inbox.lv

Петкевич Гендрик Станиславович (Petkevich Gendrik) – доктор гуманитарных наук, доцент, заведующий кафедрой русской литературы и межкультурной коммуникации филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сферы научных интересов: фольклор, культура Вильнюса, жанр авторской песни, компаративистика. gendrik.petkevici@vpu.lt

Юркенас Юозас (Jurkėnas Juozas) – доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и дидактики филологического факультета Литовского эдукологического университета. Сфера интересов: когнитивная лингвистика. lburenina@gmail.com

Русистика и компаративистика: сборник научных статей. Вып. VI. Научное издание. Вильнюс: Литовский эдукологический университет, 2011. – 254 с.

ISBN 978-9955-20-733-7

Сборник научных статей «Русистика и компаративистика» является результатом научного сотрудничества Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета и филологического факультета Литовского эдукологического университета. В сборнике представлены исследования в области фольклора, литературоведения и языкознания.

Для специалистов-филологов, преподавателей, аспирантов, студентов славянской филологии, учителей-словесников.

УДК 811.161.1

Редактировали Е. И. Белова, Д. Сабромене
Макетировал Доналдас Пятраускас

SL 605. Усл. печ. л. 31,75. Тираж 150 экз. Зак. № 012-015

Литовский эдукологический университет
Студенту 39, LT-08106, Вильнюс

Издательство «Эдукология»
Т. Шевченкос 31, LT-03111, Вильнюс